

БИБЛИОГРАФИЯ

< ИЗ № 1 «СОВРЕМЕННОКА» >

Основьяненко. *Сочинение Григория Данилевского. С портретом Квитки, снимком его почерка и домиком Основы.* СПб. 1856.

Задумав написать биографию Основьяненка, г. Данилевский обратился к лицам, знавшим покойника, с просьбою сообщить ему, г. Данилевскому, какие-нибудь известия о харьковском писателе. Некоторые из этих почтенных людей были так добры, что отвечали г. Данилевскому письменно; другие сообщили ему несколько писем, полученных или писанных Квиткою. Г. Данилевский напечатал в своей статье эти письма, которая таким образом украсилась несколькими хорошо написанными страничками, содержащими не лишние интереса и достоверные известия. Другие из бывших знакомых Квитки рассказали г. Данилевскому (по словам г. Данилевского) несколько анекдотов, в том числе два-три любопытные. Г. Данилевский пересказывает эти анекдоты. До какой степени соблюдена в его пересказывании точность, мы не знаем. Мы помним только, что когда-то г. Данилевский поместил в «Московских ведомостях» подробное описание Яновщины, хутора Гоголя, и что потом в «Отечественных записках» было доказано, что в этом рассказе единственным достоверным известием должно считать уверение г. Данилевского, что какой-то чумак, встретившийся ему на дороге, пел песню:

Ой, у кума пчолы булы...

а все остальное — сплетение недосмотров, обмолвок и анахронизмов¹. После этого нам кажется, что и новым рассказам г. Данилевского может верить только желающий. Впрочем, если и отбросим их, биография Квитки не потеряет многого, потому что анекдоты эти неважны, да и во всей статье интересны только пять-шесть не длинных писем Квитки, его супруги, Загоскина, С. Т. Аксакова, г. Плетнева и г. Костомарова. Затем остаются собственные изыскания г. Данилевского; они, повидимому, стоили ему некоторого труда. Если так, охотно похвалим давно уже пишущего юношу за трудолюбие; жаль только, что нельзя похвалить его за основательность. Каждая фраза его показывает,

что он не позаботился порядочно ознакомиться хотя с самыми главными фактами истории нашей литературы, о которой пишет. Вот, например, как он излагает историю малороссийской литературы до XVIII века:

Древнейшими памятниками степного наречия (?) были, с XI века, отрывки в сказаниях Нестора, Кирилла Туровского, Слова о Полку Игоря, Ефрема Сирина (что за набор имен!), в грамотах князей владимирских и галицких и в поучении Владимира Мономаха (что за хронология!). Организованным является оно в Литовском Статуте и в Словаре Памвы Берынды, в гетманских универсалах и в полных летописях, какова известная летопись Величко. Сюда же относятся: старинные акты Южной Руси, письма Мазелы к дочери Кочубея и два любопытные памятника: Хроника из летописцев стародавних, Феодосия Сафоновича, 1672—1681 года, и Изборник Святослава. (!)

Кому хотя сколько-нибудь знакомы эти имена, тот может подивиться безотчетности в их подборе у г. Данилевского и забавным анахронизмам, которыми наполнен его перечень. Укажем лишь один промах: «Изборник Святослава», памятник XI века, отнесен к памятникам XVII века. Отысканием других промахов предоставляем заняться самому г. Данилевскому. Это занятие даст ему случай хотя сколько-нибудь ознакомиться с главными фактами и с хронологиею русской литературы. Предупреждаем его только, что на каждой строке своего отрывка он найдет, по крайней мере, пять промахов. Когда г. Данилевский приступит к изданию «Полного собрания своих сочинений», в чем мы не сомневаемся, то мы рекомендуем ему, перепечатывая статью об Основьяненке, исключить из нее и этот отрывок, и все остальное, кроме писем Квитки, его супруги, Загоскина и гг. С. Т. Аксакова, Плетнева и Костомарова, как советуем ему исключить из этого будущего «Полного собрания своих сочинений» и все остальное, что было им написано и напечатано до сих пор. Рекомендуем ему также, прежде, нежели он приступит к составлению обещаемой им биографии Каразина², год или два употребить на то, чтобы основательно изучить «Руководство к истории русской литературы», изданное Департаментом народного просвещения: для начинающих эта книга очень хороша.

Когда г. Данилевский познакомится с этим полезным руководством, он, без сомнения, оставит намерение писать обширную статью «о малороссийском философе» Сковороде, потому что он убедится в совершенной незначительности этого «философа». А если бы г. Данилевский заглянул в «Историю русской литературы», нами ему рекомендуемую, прежде, нежели принялся за составление своей статьи об Основьяненке, то мы были бы лишены удовольствия читать письма об Основьяненке г. С. Т. Аксакова и других и забавы читать рассуждения самого г. Данилевского об этом предмете. Он узнал бы, заглянув в «Руководство», что Основьяненко вовсе не принадлежит к числу тех деятелей

литературы, которые заслуживают подробных монографий. Объяснимся подробнее, для пользы г. Данилевского, потому что, по меткому выражению одного из наших критиков, посредственные и слабые писатели разделяются на нуждающихся в порицании и на нуждающихся в назидании; г. Данилевский принадлежит к числу последних, и мы не можем отказать в полезном поучении юноше, которого г. Сен Жюльен — от кого слышал он это? — некогда называл учеником и преемником Гоголя³.

Основьяненко был человек добрый и почтенный по своей благонамеренности. Но, к сожалению, он был человек довольно ограниченный и вовсе не талантливый. Есть люди, которые, не имея ни особенного ума, ни таланта, пишут романы довольно сносные для своего времени, потому что имеют или образование, или наблюдательность. В пример укажем на автора «Семейства Холмских», автора романа «Дочь купца Жолобова»⁴. Если г. Данилевскому известны эти произведения, он согласится, что и по своему внутреннему достоинству они выше, и произвели в свое время на публику гораздо более впечатления, нежели «Пан Халявский» и «Похождения Столбикова»⁵. Следовательно, их авторы скорее Основьяненко имели бы право удостоиться подробных монографий. А между тем — не правда ли? — смешно и подумать, что может быть написано 128 страниц о Бегичеве или Калашникове. Следовательно, об Основьяненке писать статью во 128 страниц еще страннее. Для человека, знакомого с этими именами, тут не может быть сомнения. По всей вероятности, г. Данилевскому неизвестны имена Бегичева и Калашникова, и, если хотите, он очень мало теряет от того, как мало потерял бы и тот, кому было бы неизвестно имя Основьяненка. Но дело в том, что наше назидание, вероятно, еще не совсем убедительно для него; по неизвестности ему Бегичева и Калашникова, он не может быть уверен, что эти безвестные писатели более заслуживали бы прославления, нежели Основьяненко. Нечего делать, надобно изложить сущность дела, без всяких ссылок на факты, неизвестные автору исследования, и убедить его разбором фактов, ему известных.

Читал ли, например, г. Данилевский «Пана Халявского», значительнейшее из произведений Основьяненка? — Читал. — Прекрасно! Что же поражает вас в этом романе с первых же строк самым неприятным образом? Натянутое и нимало не острое остроумие, такого рода: ныне просвещения стало больше — вот, например, мой сосед прорубил в зале своей два новых окна, чтобы просвещения было больше; обхождения ныне нет, потому что, например, наш заседатель, когда у него обедают гости, не обходит вокруг стола с просьбами кушать и пить, как обходили в старину. И заметьте, что каждый из этих каламбуров растянут на целую страницу журнального формата. Можете вообразить, каково впечатление этих семимильных острот на читателя. Растя-

нутость у Основьяненка изумительная. Описав, как распространилось просвещение и вывелось обхождение, он говорит, что и воспитание детям ныне дают не такое, как прежде — разумеется, это опять острота — то есть ныне детей не набивают с утра до ночи ватрушками и пампушками, как в старину. Эта острота тянется на четыре страницы журнального формата. Так написан весь роман, так написаны все произведения Основьяненка. А какое правдоподобие! Начать хотя с того, что рассказчиком романа выведен старик, который, по пословице, в лесу вырос, а беспрестанно этот дикий степняк сбивается на тон, каким мог говорить только человек нынешнего века и порядочного образования; где на свете виданы глупцы, которые бы велели прививать детям натуральную оспу? Где на свете виданы фельдшеры, которые бы послушались такого приказания? Где на свете виданы дьячки-учители, которые доказывали бы зажиточным панычам пользу грамоты тем, что «вот как выучишься, паныч, грамоте, будешь писать поминальные записочки о покойниках и будешь получать за то хороший доход»? Ведь как бы ни был глуп учитель, все же он знает, что паныча этим не прельстишь. Какой малорусс — ведь они получше других народов знают толк в пении — станет хвалить певца «за скрипучий голос, от которого морозом по коже подирает»? Одним словом, на каждой строке у Основьяненка — несообразности, и, кроме несообразностей, нет ничего: все вяло, приторно, пересолено, жеманно, натянуто и растянuto. Но, быть может, г. Данилевскому известно, что некоторые хвалят «Сердечную Оксану»? ⁶ Не советуем ему слушать этих людей: «Оксана» во сто раз приторнее и натянутее «Пана Халявского». И нигде нет у Основьяненка ни тени самостоятельности: большая часть страниц его пропитана самым неловким подражанием Гоголю; на других страницах он подражает то Карамзину (в «Бедной Лизе»), то г. Далю, то Загоскину, то какому-нибудь второстепенному, ныне забытому романисту. В этой книжке мы высказали свое мнение о бароне Брамбеусе, как ценителе литературных произведений, и сказали, что, если он делал промахи, говоря о произведениях, имеющих художественное достоинство, то над произведениями решительно слабыми он умел подсмеиваться. И слова его об Основьяненке, которыми так возмущается г. Данилевский, совершенно справедливы:

Есть разного рода остроумия более или менее несносные: но самое несносное из всех — это провинциальное остроумие. Эти глубокомысленные наблюдения над человеческим сердцем, делаемые из-за плетня; эти черты нравов, подмеченные между маслобойнею и скотным двором; эти взгляды на жизнь, обнимающие на земном шаре великое пространство, пять верст в радиусе; этот свет, составленный из шести соседей; эти колкие сарказмы над борьбою изящества и моды с дегтем и салом; эти насмешки над новым и новейшим, которых даже и не видно отсюда, где позволяют себе подшучивать над ними, — весь этот дрянный, выдохлый губернский яд, которого не боятся даже и мужи; и эти остроты, точенные на приходском оселке; и эти

стрелы, пущенные со свистом и валящиеся наземь, в пяти шагах от носа стрелка; и эти смелые удары, с треском падающие, вместо общества, на лужу грязи, которая от них только распыскивается на читателей; раны и язвы, наносимые пороку с той стороны, которой порок никогда не видит у себя, если стоит прямо перед зеркалом. Все это может казаться очень замысловатым какой-нибудь ярмарке, какому-нибудь уезду, даже целой губернии, но не должно переходить за границы этого горизонта, под опасением быть принятым за пошлость и безвкусию...⁷

Напрасно г. Данилевский не принял в уважение этой верной характеристики: с рецензиями барона Брамбеуса о посредственных или плохих книгах не худо справляться; о дурных книгах он говорил почти всегда хорошо, — по крайней мере, лучше и нельзя говорить о них.

Но ведь Основьяненко пользовался уважением в своем кружке? Ну, да, и вполне заслуживал этого уважения, как человек добрый, приятный собеседник, радушный хозяин, как человек, занимавший, и не без пользы для общества занимавший, довольно почетное место в губернском кругу, наконец, как человек, искренно любивший свою родину и желавший успехов ее литературе.

Но ведь он считался одним из лучших писателей на малороссийском языке? Ведь его малорусские повести до сих пор имеют в Малороссии почитателей? Да можно ли полагаться на суждения их? Ведь это или такие люди, которые ничего лучше «Халявского» и «Оксаны» не читывали, или люди, готовые прощать все возможные недостатки книге, написанной на милом для них наречии. А что касается до значения Основьяненка в ряду авторов, писавших на малороссийском наречии, мы сказали бы, что не заслуживает внимания малорусская литература, если Основьяненко может в ней считаться, сравнительно с другими, хорошим писателем. Но, к счастью, это вовсе не так: малорусская литература имела писателей действительно замечательных, людей, которые занимают высокое место в русской литературе, и занимали б его и тогда, если бы писали и на обыкновенном литературном языке⁸; и когда кто-нибудь — только уже не г. Данилевский, надеемся — расскажет нам об этой малорусской отрасли русской литературы, — отрасли, достойной всякого сочувствия, то упомянет кстати, что в числе хороших знакомых того или другого замечательного малорусского писателя был Г. Ф. Квитка, добрый и почтенный человек, любивший литературу и писавший посредственные произведения под именем Основьяненка⁹.

Лейтенант и поручик, были времен Петра Великого.
Сочинение Константина Масальского. Две части. СПб. 1855.

Если вы старик, читатель, вы не обратите внимания на «быль из времен Петра Великого», сочиненную г. К. Масальским: имя этого писателя не соединено с вашими воспоминаниями; если вы

молоды, читатель, вы также не захотите читать «Лейтенанта и поручика», зная, по беглым упоминаниям в журналах о г. Масальском, только то, что он когда-то считался одним из самых посредственных наших романистов; но если вы ни стары, ни молоды, вы — хотя тоже не будете читать «Лейтенанта и поручика» — посмотрите на обертку этой «были» не без некоторого умиления: вы вспомните о том времени, когда вы, не только выучившись читать очень бегло, но и выучив четыре правила арифметики, две-три главы грамматики до глаголов или наречий, басни «Лисица и ворона», «Стрекоза и муравей», начали чувствовать, что в маленьком вашем сердце, в резвой вашей головке поселилась, после прежних потребностей в пряниках и конфектах, в детских играх, после неугомонной шаловливости, неутомимой беготни, новая страсть — читать, читать... не грамматику и не басни Крылова, не «Русскую историю» г-жи Ишимовой — все это скучно, потому что писано для детей — нет, читать книги, писанные «для больших». С какою жадностью бросались вы, десятилетний мальчик, на романы, и какое наслаждение доставляли вам эти увлекательные маленькие томики! Это высокое наслаждение доставляли вам не те романы, которыми восхищались ваши тетуски и старшие, «большие» братья: Марлинский, Пушкин, Лажечников, Зенеида Р-ва, Гоголь, Павлов, князь Одоевский, Вельтман, — все это было скучно для вас; но как занимательны были для вас «Леонид, или некоторые черты из жизни Наполеона»¹, «Юрий Милославский», «Рославлев, или русские в 1812 году», «Таинственный монах, или некоторые черты из жизни Петра I», «Паята, дочь Ледзейки, или литовцы в XIV столетии», и проч., и проч! Ах, как интересны были эти книжечки! Ныне уже не пишут таких книг, скажете вы с истинною грустью о нынешних десятилетних, двенадцатилетних мальчиках и девочках. Нет уже этой немудрой, но грамотной литературы; люди, не имеющие особенного таланта, но довольно начитанные и не лишенные некоторого умения сочинять складно, не пишут ныне в простоте души, как писалось в старину: нет! они пишут свысока, гонятся за художественностью, за психологическими тонкостями, за анализом, за юмором, как будто все это их дело, как будто все это им по плечу, — и пишут вещи бестолковые и скучные для взрослых, непонятные и скучные для детей.

Не так писали в старину: тогда, без всяких хитростей, половину страниц романа выписывали из какой-нибудь хорошей исторической книги — особенно богатый материал доставляла «История» Карамзина — а другая половина наполнялась незамысловатыми, но очень трогательными или до утомительности смешными приключениями каких-нибудь Владимиров, Анастасий и Киршей. «История» Карамзина написана прекрасно, стало быть, нет и спора о том, что одна половина романа была хороша; а другая половина была еще лучше! Припомните только удиви-

тельно забавную сцену, как, обиженный Копычинским, Юрий Милославский, чуть ли не с револьвером Кольта в руках и с папироской в зубах, в наказание, заставляет хвастливого пана Копычинского съесть, не переводя духа, огромного жареного гуся до последней косточки; пан Копычинский давится, задыхается от объедения, но ест, ест, ест, а Юрий торопит его, навешивая свой кольтовский револьвер прямо на лоб наглого труса... ах, как это смешно! А как трогательна судьба Леонида, который борется с своим личным противником Наполеоном и побеждает его! Ведь Леонид и Наполеон были влюблены в одну и ту же девушку, и Наполеон шел в Москву не с другою целью, как только отбить у Леонида невесту и жениться — злодей! от живой жены, Марии-Луизы, — на Полине или Надине, — не помним ее имени, но помним, что дело в 1812 году шло собственно о том, кому «обладать Надиною» или Полиною — Леониду или Наполеону! Помните ли, каким жалким человеком казался этот волокита Наполеон в сравнении с своим соперником, великодушным и храбрым Леонидом? Зато ведь Леонид и победил Наполеона, потому что, если вы помните, Наполеон был побежден никем другим, как именно Леонидом! Какие замечательные приключения! Прибавьте к этому чистый язык, чистую нравственность, и вы со вздохом скажете: «да, для нынешней малолетней публики уже нет таких прекрасных книжек, какими услаждали нас в детстве добрый Загоскин — гений этой литературы — и другие столь же добродушные и радушные деятели ее: г. Воскресенский, г. Р. Зотов, г. Масальский.

Да, вы не забудете г. Масальского, потому что и он доставил вашему детству столько же сладких часов, как г. Р. Зотов. Как занимательны были его «Стрельцы», «Регентство Бирона». Мы не можем теперь в точности припомнить содержания этих романов, знаем только, что они были хороши; но лучшим его произведением был, по нашим воспоминаниям, «Черный ящик»². Уж одно начало чего стоит! Какой-то молодой провинциал, Карп Силыч, целый век ходивший в чуйке, приехал в Петербург и начинает одеваться по моде, установленной Петром Великим (роман взят из эпохи Петра Великого). Ему принесли кафтан, брюки, жилет, галстук. Он не знает, как приладить эти немецкие штуки на свое туловище; особенно затрудняет его жилет. Уж подлинно, будет жалеть, кто станет надевать эту жалет! восклицает он, наконец решает, что жилет должен застегиваться на спине. После этого надобно, чтобы сюртук и брюки также застегивались на спине, и он надевает все принадлежности костюма задом наперед... Ах, как это смешно! Мы все — и братцы, и сестрицы, и десяток наших маленьких приятелей — целую неделю не могли без хохота вспомнить о том, как Карп Силыч шел по улице в платье, надетом задом наперед, как высокий воротник сюртука подпирал ему бороду, как мальчишки бежали за ним с хохотом

и насмешками, как он пришел к своему нареченному тестю — потому что Карп Силыч приехал в Петербург жениться — и как на вопрос хозяина: отчего все платье на нем надето задом наперед? отвечал: «ветром перевернуло на улице!»... Ах, как это смешно! А как страшно, когда — не помним уже кто, Карп Силыч или прекрасный юноша-офицер, влюбленный в красавицу, на которой хочет жениться Карп Силыч — ночью, при блеске молнии, отправляется на пустынный остров или в дремучий лес, — одним словом, в какое-то место очень страшное, выкопать из-под земли таинственный «черный ящик», в котором хранятся груды золота, с участью которого соединена судьба красавицы-невесты! Превосходно! Никогда не бывало и не будет лучшего, занимательнейшего романа для таких читателей, какими в то время были мы, нынешние люди средних лет.

И заметьте, что этот роман написан правильным, грамотным языком. Какая разница с «Совестдралом большим носом», с «Георгом, милордом аглицким», с «Франциском Венецианом», которыми в детстве воспитывался вкус наших дядей и дедов! ³ О, мы были детьми в счастливое для детей время! Вечную признательность должны мы хранить к гг. Р. Зотову, М. Воскресенскому, К. Масальскому!

Теперь уже не те времена! Что пишут и как пишут люди, nasledовавшие талант этих почтенных авторов? Они хотят раскрыть нам сокровеннейшие изгибы человеческой души, пишут психологические рассуждения в лицах, толкуют о развитии, о борьбе страстей; они хотят блеснуть остроумною ирониею, хотят прославиться знанием жизни и людей, хотят даже — о, ужас! — удивлять нас художественными совершенствами своих творений; они хотят быть Гоголями, Гончаровыми, Тургеневыми, Жорж-Сандами, Теккерейми, Диккенсами! Господа, будьте тем, чем создала вас природа; будьте преемниками г. Р. Зотова, г. К. Масальского, и вы принесете свою долю пользы, и вы будете иметь множество читателей, которые будут хвалить вас. А теперь кто читает и кто хвалит ваши психологические и художественные произведения?

Подумайте об этом совете: его исполнение принесет столько пользы вам, столько удовольствия тем читателям, которые еще не доросли до повестей с различными ухищрениями в психологическом и художественном роде. А как легко исполнить этот совет: подражать г. Р. Зотову и г. К. Масальскому гораздо легче, нежели подражать Гоголю, Теккерее или Жорж-Санду! И, если хотите, мы еще более облегчим для вас это дело, рассказав содержание и объяснив манеру романов, приносивших такую пользу в старину. Кстати же, перед нами лежит один из этих романов.

В 1710 году, в Петербурге, в бревенчатой избе сидели Александр (по фамилии Ветрин, по чину лейтенант) и Клавдий (по фамилии Ланов, по чину поручик). «Тому и другому собеседнику было около двадцати семи лет; оба считались редкими красавца-

ми. Все девушки влюблялись в них с первого раза». Они пьют венгерское и поверяют друг другу свои тайны. Клавдий говорит, что назначен поход к Выборгу; Александр, восхищенный этим, объясняет, что там найдет он свою невесту, шведку, которую узнал, когда она с отцом жила в плену в Петербурге, — теперь пленные отпущены на родину и живут в окрестностях Выборга. Друзья клянутся в вечной дружбе, сливают назад в бутылку остатки венгерского, которое уже было разлито в серебряные чаши, запечатывают бутылку и обещаются не разрывать дружбы, пока не будет ими выпита эта бутылка. Потом описывается очень подробно осада Выборга. Клавдий, фуражируя в окрестностях города, влюбляется в Элеонору, у отца которой покупает хлеб. Она влюбляется в Клавдия. Он везет к ней своего друга: оказывается, что Элеонора та самая пленная шведка, о которой говорил Александр. Таким образом оба друга влюблены в одну девушку, которая также равно любит их обоих, не зная, кому отдать преимущество. Друзья часто готовы поссориться, но вспоминают о запечатанной бутылке и мирятся, наконец, оба вместе, делают предложение отцу Элеоноры: «пусть она избирает из нас того, кого более любит». Элеонора говорит, что равно любит обоих. Друзья уезжают домой и решаются бросить жребий: по жребию достается Александру уехать, Клавдию — жениться на Элеоноре. Александр уезжает и, возвратясь через два года, встречает милого малютку — это сын Клавдия; сердечные раны Александра раскрываются. Но вот бежит навстречу другу Клавдий, ведет его насильно в свой дом, представляет его своей жене. Александр поднимает глаза — о, диво! о, восторг! это не Элеонора, а Лиза, о которой не было и помину во все продолжение романа. Элеонора плакала, когда Александр уехал, и Клавдий женился на Лизе, а Элеонору сберег для друга. Вот уж подлинно друг! Да, кстати, где же запечатанная бутылка? Она брошена в Иматру, и, следовательно, дружба Александра и Клавдия уже ненарушима.

Какая трогательная наивность в изобретении романа! Столько же милой наивности и в изложении; идея и форма совершенно гармонизируют между собою. Вот, например, сцена между друзьями, когда они, в приятном вечернем разговоре и в халатах, объяснились на сон грядущий относительно страсти, наводящей грусть на обоих. (Начинает речь Клавдий.)

— Саша, слушай, что я тебе скажу: я люблю тебя, это ты знаешь! Люблю и Элеонору! Я перемогу себя, чего бы мне это ни стоило, помня нашу давнюю, священную для меня дружбу! Я испытаю себя! Я уверен, что уступлю тебе Элеонору. Конечно, я буду много и долго страдать; да что за беда!

— Нет, Клавдий, мой благородный Клавдий! Я не хочу, чтоб ты из-за меня страдал! Ты первый полюбил Элеонору, ты на нее более меня имеешь права. Пусть буду я страдать, а ты будь счастлив. Ты достоин этого!

— А если я сам хочу страдать, если мне это нравится? Не обижайся;

Саша, если я тебе скажу, что я тверже тебя, что мне легче будет перенести страдание. Да что тут долго толковать? Я тебе уступаю Элеонору.

Ветрин засвистал какой-то марш и с мужественным спокойным лицом начал ходить взад и вперед по комнате.

— Ты мне уступаешь Элеонору... — мрачно проговорил Ланов. — Нет, это невозможно! Этого я не хочу! Разве я не такой же друг тебе, как ты мне? Я не должен уступать тебе в благородстве, Клавдий! Иначе ты перестанешь уважать меня, а тогда не можешь остаться мне другом! Пусть страдает, пусть разрывается мое сердце. Я забуду Элеонору! Будь счастлив с нею, мой великодушный, благородный друг!

Друзья заплакали и сжали друг друга в объятиях. От сильных чувств, которые их волновали, ни тот, ни другой не мог вымолвить более ни слова. Ветрин снял халат и сапоги и лег в постель. Ланов сделал то же.

Какая умилительная борьба великодушия! Истинно, этот отрывок напоминает заключение басни, которую у казака Луганского немец-гувернер написал для своих воспитанников: «Сия басня научивает, что другой был великодушнее одного, а последний великодушнее первого». И как восхитительно заключается эта патетическая сцена дивным замечанием: «Ветрин снял халат и сапоги и лег в постель. Ланов сделал то же». О, несравненное, гениальное простодушие!

Что лучше этой повести может быть придумано для читателей того интересного возраста, когда от арифметики переходят к романам, от романов к игре в лапту или в мяч? Она показалась бы чрезвычайно занимательна этим читателям; но — увы! — она не дойдет до рук их, потому что дети не приобретают книг по своему выбору: они только берут книги, какие находят в библиотеках своих взрослых родных и знакомых; а кто из этих родных и знакомых почтет ныне нужным украсить свою библиотеку «Лейтенантом и поручиком»? — И что ныне бедные читатели, равно любящие мяч и романы, найдут в этих библиотеках, за исключением повестей гг. Гончарова, Григоровича, Л. Н. Т., Тургенева и немногих других? что найдут они, кроме этих повестей, которые слишком не под силу детскому уму и детскому вкусу? Бедные дети нынешнего времени! Пожалейте их, господа подражатели Григоровича и Тургенева! Перестаньте тянуться вслед за этими писателями: это слишком трудно. Оставьте, подражайте лучше г. Р. Зотову и К. Масальскому: они были равны вам по таланту, но писали занимательно, хотя для некоторого класса публики, потому что не имели ваших претензий; подражайте же им, и если люди, перешедшие эпоху простодушия, попрежнему не будут читать вас, то никто не будет и осуждать вас; напротив, многие будут читать вас с удовольствием.

Но нет, это невозможно! В мире не осталось уже ныне романистов и новеллистов наивных, которые, по выражению реторики Кошанского, «писали, как умели, наудачу»: каждый ныне имеет претензии на глубокомыслие, на наблюдательность, на художественность, не думая о том, что лучше написать «Лейтенанта и по-

ручика», нежели... однако, к чему приводить примеры? Каждый читатель припомнит десятки их, а писатели, в пример которым ставим мы г. Р. Зотова и г. К. Масальского, вероятно, сами твердо помнят названия своих произведений.

Месяцослов на 1856, високосный год. С портретом его величества юсударя императора. СПб.

Состав Академического календаря на 1856 год почти тот же самый, какой имели календари предыдущих лет. Изменения, сравнительно с «Месяцословом» предыдущего года, незначительны. Они состоят в том, что, вместо статьи прошлогоднего календаря о летосчислении и таблиц народонаселения Российской империи, великого княжества Финляндского и царства Польского по уездам, помещены два новые списка: 1) дни, в которые совершаются крестные ходы в С.-Петербурге, Москве и окрестностях С.-Петербурга; 2) алфавитная роспись святых, находящихся в полном месяцослове, с показанием времени, когда память их празднуется православною церковью. Последняя роспись особенно полезна для справок: «Полный месяцослов» ныне стал довольно редкою книгою, и, действительно, было необходимо перепечатать в «Академическом месяцослове» эту статью, придававшую главное достоинство «Полному месяцослову».

Около восьмисот мужских и двухсот женских имен внесены в этот алфавитный список. Из них многие, особенно мужские имена, встречаются в календаре по нескольку, многие даже по десяти и более раз в течение года. Так, по 11 раз встречаются Антоний, Афанасий, Зинон, Марк, Симеон, Феофил; по 12 раз: Андрей, Кирилл и Михаил; 13 раз — Дионисий; 14 — Георгий; 15 — Василий, Иулиан и Максим; по 17 раз: Григорий, Иаков и Стефан; 19 — Павел; наконец, Александр — 21 раз, Феодор — 27, Петр — 30, а Иоанн даже 61 раз. Из женских имен только Феодора встречается 8 раз, Анна — 9 и Мария — 10 раз.

Крестных ходов совершается в Петербурге ежегодно 8, в окрестностях Петербурга — 11, в Москве — 13.

Из двух лунных затмений 1856 года в Европейской России будет видимо только частное лунное затмение 1—2 октября (по петербургскому среднему времени, начало его будет в 11 часов 22 мин. вечера, а конец в 2 ч. 28 м. утра). Из двух солнечных затмений (полное, 24 марта, и кольцеобразное, 17 сентября) ни то, ни другое в Европейской России не будут видимы.

Список малых планет, обращающихся между Марсом и Юпитером, в течение 1855 года увеличился четырьмя новооткрытыми астероидами, именно: Шакорнак (в Париже) 6 апреля открыл Цирцею, Лутер (в Билке) Левкотею, и, в один и тот же день, 5 октября, Лутер открыл Фидесу, а Гольсмит (в Париже) Ата-

ланту. Таким образом, к началу 1856 было известно уже 37 астероидов.

Из таблиц о числе родившихся, сочетавшихся браком и умерших лиц православного исповедания в Российской империи за 1853 год видим, сравнительно с 1852 годом, значительное увеличение по всем итогам: так,

	1852	1853
родилось	2 491 400	2 672 154 человека
сочеталось браком . . .	508 770	523 693 пары
умерло	1 739 105	2 091 677 человек

Общего итога по всем вероисповеданиям за 1853 год еще нельзя составить, по недостатку сведений о лицах реформатского исповедания.

В С.-Петербурге и Москве движение населения в 1854 г. представляло следующие цифры:

	В С.-Петербурге	В Москве
родилось	16 701	10 147 человек
браком сочеталось . . .	3 058	1 619 пар
умерло	22 473	15 239 человек

Сравнивая таблицы, показывающие возраст умерших, мы видим, что хотя население Петербурга (532 241) почти в полтора раза больше, нежели население Москвы (373 800), но число лиц, доживающих до преклонной старости, в Москве значительнее, нежели в Петербурге. Так было в 1854 г.

		В С.-Петербур- бурге	В Москве
умерших в возрасте	70—75 лет	286	318
»	75—80 »	186	271
»	80—85 »	91	131
»	85—90 »	46	63
	более 90 »	19	34

Приводя главные итоги из ведомостей о числе учащихся за 1854 г., сравним их с итогами за 1853 год, которые были сообщены прошлогодним календарем.

Учащихся по министерству народного просвещения:

	1853 г.	1854 г.
1) в университетах и других высших учебных учреждениях	4 110	4 130
2) всего по министерству народного просвещения	121 193	122 553
в царстве Польском	83 114	82 999
По ведомству министерства государственных имуществ	153 275	170 573

Сравним также ведомости о количестве металлов, добытых в 1853 и 1854 г.

	1853 г.	1854 г.
Золота	1 398 п. 21 ф. 93 зол.	1 581 п. 24 ф. 74 зол.
Серебра	983 » 11 » 19 »	1 036 » 25 » 73 »
Платины	61 » 11 » 14 »	27 » 3 »
Меди	394 549 п.	390 818 п
Свинца	40 003 »	110 916 »
Чугуна	14 517 524 »	14 148 651 »
Стали	53 974 »	67 522 »
Железа	12 092 088 »	11 598 805 »
Разных металличе- ских изделий . .	2 268 723 »	2 177 038 »

Думы современной России. Александры Ступиной. СПб. 1855.

Из двенадцати стихотворений, изданных ныне г-жею А. Ступиной, едва ли не лучше других следующее:

Счастлив, кто без урагана
Океан переплывал,
Чей на высях гор Ливана
Взор усталый отдыхал!

Да, кто зрел вас, исполины,
Чей приветствовал вас стих,
Тот божественной картины
Обрученный был жених.

(выражение довольно темное.)

Кто ж с молитвой головою
К вашим кланялся пятам,
Кто потом гулял пятою
По заоблачным главам

(эти четыре стиха содержат замысловатую игру словами.)

Тот любимый друг природы,
Тот земли и неба друг

(почему же это? Разве друзья, которые ходят по Ливану и кланяются, друзья неба и земли? Напротив, это самый буйный народ... Виноваты: мы также начали довольно замысловато играть словами.)

Он под песни непогоды
С ней венчался, как супруг...

(каким же это образом? и с кем «с нею?» с непогодой, или с землею, или с небом?)

Остальные одиннадцать пьес только немногим уступают этому, свидетельствующему об уменьи г-жи А. Ступиной писать

звучные стихи. Но дело не в достоинстве стихов, а в том, что воспоминания г-жи А. Ступиной о том, как она жила в Бейруте, ходила по заоблачным главам Ливана и проч., едва ли могут назваться, в строгом смысле слова, «Думами современной России»: скорее, это думы одной из русских дам о случаях и предметах, лично до нее касающихся.

Правила составления употребительнейших в строительном искусстве мастик и проч., сочинение И. Лейкса. Перевод с немецкого. СПб. 1856.

Книжка Лейкса написана, сколько можем судить, с знанием дела. Переведена она грамотным языком. Жаль только, что ей дано широковещательное заглавие, занимающее в полном своем составе не менее шести строк; жаль также, что выставленная на обертке цена — 75 коп. сер. — своею несоразмерностью с объемом книжки слишком ясно разоблачает цель многознаменательного заглавия.

Гражданские законы Псковской судной грамоты. Сочинение И. Энгельмана. СПб. 1855.

Несколько месяцев тому назад, мы говорили об исследовании Псковской судной грамоты, изданном г. Ф. Устряловым, сыном известного историка¹; это сочинение было написано на тему, предложенную студентам С.-Петербургского университета от юридического факультета этого университета. Теперь является другое сочинение, удостоенное медали на этом конкурсе. То и другое рассуждения неоспоримо показывают авторов своих людьми, которые уже привыкли трудиться усердно и добросовестно.

Г. Энгельман, ограничивая свое исследование теми пределами, которые определены темою, предложенною от факультета, говорит исключительно о тех статьях Псковской судной грамоты, которые имеют предметом гражданские законы; других ее статей он касается только в случае неразрывной их связи с постановлениями относительно гражданских законов. Объяснения его большею частью основательны и многие из догадок удачны.

Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) ризницы и библиотеки. Составлен синодальным ризничим, магистром, архимандритом Саввою. Москва. 1855.

Патриаршая, или Московская синодальная библиотека есть одна из важнейших в России по количеству и древности своих

рукописей; соединенная с нею Патриаршая Ризница также богата утварями и вещами, в высшей степени замечательными. Потому архимандрит Савва, издав краткое описание важнейших вещей и духовных рукописей, хранящихся в этом драгоценном собрании, оказал довольно значительную услугу русским археологам и людям, занимающимся историею литературы. Рукописей, по каталогу библиотеки 1824 года, значится: греческих 467, русских 956; в числе последних находится 96 пергаментных и 20 бомбициновых, писанных на хлопчатой бумаге. Кроме того, жалованных грамот и проч. 208. После 1824 года в библиотеку передано еще несколько рукописей и, между прочим, знаменитый «Изборник Свято-слава» (1073 г.), один из древнейших памятников кирилловской письменности. Мы будем еще иметь случай подробнее говорить о рукописях Московской синодальной библиотеки, потому что на днях уже получена в Петербурге первая часть описания славянских ее рукописей, составляемого профессорами А. В. Горским и К. И. Новоструевым.

О пленных по древнему русскому праву. А. Лохвицкого. *Москва. 1855.*

Г. Лохвицкий основательно обработал специальный вопрос, им выбранный, внимательно воспользовавшись всеми данными, какие представляются «Полным собранием законов» и различными изданиями Археографической комиссии. Свод известий о состоянии пленников по законам допетровской Руси точен и полон; автор удерживается от всяких общих выводов и не имеет, повидимому, никаких других претензий, кроме скромного желания ясно и в систематическом порядке изложить факты. Подобные труды всегда бывают полезны и заслуживают уважения.

Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии, с присовокуплением и других сведений, к ней же относящихся. *Составлены генерал-майором М. О. Без-Корниловичем.* *СПБ. 1855.*

Просмотрев довольно толстую книгу, изданную г. Без-Корниловичем, мы убедились в верности предположения, которое будет внушено каждому читателю самым заглавием «исторических сведений» и т. д. Г. Без-Корнилович не имел в виду исследовать еще недостаточно объясненные вопросы в истории Белой Руси, писал не для ученых: нет, он просто собрал из истории Карамзина, истории «Отечественной войны 1812 года» Михайловского-Данилевского и некоторых других сочинений известия, касающиеся того или другого города, того или другого села в Бело-

руссии, расположил эти известия по порядку времени и, таким образом, у него составились исторические статейки о Витебске, Динабурге, Могилеве и проч., — статейки, из соединения которых вышла, как мы сказали, довольно толстая книга, по всей вероятности, не бесполезная для тех, у кого под руками нет хорошего собрания книг по русской истории.

*Мельница близ села Ворошилова, простонародный рассказ
дяди Афанасия. СПб. 1856...¹*

О том, до какой степени удалось автору выдержать простонародный и простодушный тон рассказа, читатель может судить из следующего отрывка:

Недалеко от большого села, перейдя на широкое поле, в березовой роще над узкой, но глубокой речкой стояла водяная мельница. Тут же рядом построена была просторная, светлая изба с узорчатыми окнами; а сверху, между двумя резными столбиками, помещалась хорошенькая светелка. Изба и мельница стояли на краю большого леса, который тянулся вправо и влево на несколько десятков верст, почитай до самой губернии. Мимо этой мельницы пролежала проезжая дорога из села, перебегала через плотину и в лесу уже расходилась в разные стороны.

На мельнице жил старик, не старик, а уже и не молодой человек, крестьянин Иван Терентьев Вырезубов, с хозяйкой Матвеевной и красавицей дочкой Малашей. Опрichь семьи, держал Терентьич двух работников и работницу. Надо вам сказать, что Вырезубов был очень богат, к тому отличный мельник, так что всегда у него было человек пять приезжих из далеких деревень для помолу; но главное — он в рот не брал хмельного и не любил, чтобы и в деле была эта поведенция.

Содержание рассказа довольно просто. Красавица Малаша полюбила ямщика Андрея Голыша; но отец просватал ее за богатого мещанина, который с отцом своим льстил на приданое, а не на девушку. Перед свадьбою случился пожар на мельнице, и Терентьич, вздумав испытать будущих родственников, сказал, что все деньги его сгорели, и попросил займы на постройку новой мельницы. Богатые мещане отказали в помощи и отказались от невесты-бесприданницы; но скрипач Яков безродный, отец Андрея, бывший тут, предложил Терентьичу свои последние двенадцать целковых. Раздосадованный мещанами, тронутый добротою бедняка, Терентьич согласился отдать дочь за Андрея и, ударив по рукам с нареченным свояком и зятем, объявил, что пожар вовсе не разорил его, деньги остались целы, мельницу он построит лучше прежнего и принимает к себе полными участниками своего довольства и Андрея и Якова, которые на деле доказали ему свое расположение.

Рассказ этот написан для народа, с бытом которого дядя Афанасий хорошо знаком.

Православные и другие христианские церкви в Турции. И. Березина. СПб. 1855.

Дельно составленная и довольно интересная брошюра. Автор рассматривает причины прискорбного положения христиан в Турции, излагает историю законов, которыми определялись в различные времена их обязанности к турецкому правительству, и обнаруживает отношения, существующие между последователями различных христианских исповеданий. Мнения свои о первоначальной причине настоящего бедственного положения гяуров он излагает так:

Застав Византийскую империю во времена почти общего упадка нравственности, кочевая орда завоевателей, по преданию от первых вонтелей ислама, не могла возыметь особенного почтения к истинной религии, представители которой перед глазами мусульман были так слабодушны и развращены: очень естественно, что свежее, здоровое племя вонтелей поверило своему мусульманскому превосходству и только в исламе видело спасение (стр. 2). Без всякого сомнения, в настоящем положении восточных христиан виновата более всех сама Порта, потом римские католики, а наконец сами греки (*своею взаимною враждою*); менее всех виновны туземные христиане (*то есть славяне, румыны и прочие*), и, между тем, на них-то тяжелее всего обрушиваются печальные следствия раздора. Пламеннее других пылают друг к другу ненавистью римские католики и греки, армяне также враждуют преимущественно с греками (стр. 24). Понятно, что каждое исповедание считает себя и хочет быть первым всюду, что каждая одноверная с ним нация поддерживает его всеми силами; но не можем не оплакивать и не осуждать той безумной вражды, в которую столь часто, к великому соблазну целого мира, впадают соперники, и тех неблагоприятных и пагубных средств, к которым иногда прибегают они (стр. 38).

Довольно подробная история турецких законов относительно подданных Оттоманской империи и борьбы между христианами различных вероисповеданий подтверждает эти справедливые мысли.

Описание хронологической машины А. Головацкого, составленное академиком Вишневым. СПб. 1855.

Каждому занимавшемуся хронологическими изысканиями известно, как много времени отнимает проверка летописных показаний, основанных на пасхалии. Машина г. Головацкого, удостоенная Демидовской премии, имеет целью облегчить приискывание всех данных, зависящих от времени празднования пасхи, для каждого данного года. По отзыву академика Вишневого, «практическое употребление машины очень просто»: стоит только навести стрелки циферблата на цифру данного года, и на таблицах машины отмечены будут дни празднования святой пасхи, вознесения, начало великого поста, цифра, определяющая воскресные дни года, и проч. Охотно верим, что машина действует быстро и верно, — и если так, г. Головацкий разрешил довольно трудную

задачу практической механики, построив свою «хронологическую машину». Но цена и массивность этого числительного снаряда всегда будут значительным препятствием его распространению между учеными, занимающимися хронологию. Потому, несмотря на свои достоинства, хронологическая машина г. Головацкого не уничтожает настоящей потребности в пасхальных таблицах, приспособленных к практическому употреблению для проверки хронологических показаний. Громадные и сбивчивые таблицы г. Хавского — труд почтенный, но не достигающий своей цели. Между тем, составление пасхальных таблиц, какие нужны для наших историков, не представляет ни малейших затруднений. Праздник пасхи, от которого зависят все данные года, переходит по 35 дням года; в каждом из этих случаев год может быть простой или високосный. Таким образом, нужно только составить для каждого из этих 70 случаев полный список всех 365—366 дней года, с обозначением воскресных дней и праздников, как это делается в стенных календарях; каждая из 70 таблиц, напечатанная компактным шрифтом, поместится на одной странице. К этим 70 страницам таблиц нужно прибавить список годов от р. х. до 1800 или 1900 года, с обозначением, под какую из 70 таблиц подходит год в пасхальном отношении, и все справки о каждом данном годе становятся столь же удобными и легкими, как справки о 1856 годе в «Месяцослове» на 1856 год: стоит взглянуть в списке годов, какая таблица представляет пасхальные цифры данного года, потом раскрыть эту таблицу — и перед нами будет готовый полный месяцеслов этого года. Проще и легче ничего не может быть, и чтобы составить эти таблицы, довольно двух-трех дней времени. Хорошо было бы, если б кто-нибудь составил и издал такую тетрадку, которая, имея не более 80 страничек, с пользою заменит все пасхальные машины и все фолианты, массивность которых ведет только к затруднениям и ошибкам.

Ложь и правда о войне на Востоке. Сочинение Виктора Жоли,
редактора журнала Санхо. Перевел с французского
Е. Серчевский. СПб. 1855.

В прошедшем месяце мы говорили о переводе сочинения, изданного по случаю восточной войны Виктором Жоли, и вот, через месяц, является другой перевод той же брошюры¹. Не явится ли к следующему месяцу третий?

Оба перевода сделаны грамотно; мы заметили только, что правописание иностранных имен более пострадало под пером г. Серчевского: он пишет «Санхо, Кантю, Хатти-Шерив»², вместо Санчо, Канту, Хатти-шериф. Из этого, однако, мы не выводим никаких заключений в ущерб его переводу, вообще, кажется, довольно правильному.

Правила конюшенного хозяйства или обязанности кучера.
Сочинение магистра О. С. Пашкевича. СПб. 1855.

Вот говорите, что русская литература есть оранжерейное растение, что она не пустила еще глубоких корней в народную жизнь, что наши книги пишутся для горсти читателей, не имеющих почти ничего общего с массою народа, и проч., и проч. Все эти метафоры, заимствованные из царства растений и относящиеся, в прямом смысле, только к миру прозябаемому, оказываются пустыми фразами, рожденными ипохондриею. На днях вышла книжка «Наставление дворникам»¹. Мы, признаемся в проступке, не сочли нужным давать отчет о ней в нашей летописи. Ныне является наставление конюхам, через неделю надобно ждать наставления швейцарам, еще через неделю — наставления трактирным служителям, и т. д. Я вас спрашиваю, г. скептик: для кого же написаны и будут написаны эти книжки, если не для народа? Я вас спрашиваю: не служат ли они несомненным доказательством того, что литература у нас есть дело народной жизни, глубоко пустила свои корни в народную жизнь? Ответьте же, г. скептик!

Я, кажется, вошел в пафос! Не знаю, до чего бы я увлекся этим одушевлением в защиту нашей литературы от скептиков; но, к счастью, моя горячность охлаждается тем, что «Правила конюшенного хозяйства» — набор общих мест и пустых фраз, давно известных не только людям, имеющим «конюшенное хозяйство», но и людям, от роду не умевшим отличить рысака от иноходца.

Веселый карандаш, или свет и тени современности в рисунках.
СПБ. 1856.

Более жалкой спекуляции на пятаки полуграмотных людей мы уже давно не видавали. Не говорим уже о необыкновенно грубом исполнении рисунков, которые, повидимому, нацарапаны тупым долотом на лубке, самое содержание их — верх коварства. Полуграмотному продадут их за карикатуры, относящиеся к современной войне; а прочитав по складам подписи рисунков, он поймет, что они представляют мальчика, промотавшего деньги на парижской всемирной выставке. Как это случилось, отгадывайте сами.

Очерк истории православной церкви на Волыни. Сочинение
Платона Карашевича. СПб. 1855.

Автор, без всякого сомнения, употребил довольно времени и труда на составление этого очерка; он, как по всему видно, работывал его прилежно и добросовестно, и не его вина, если «История православной церкви на Волыни» не представляет множества интереснейших фактов: чего не может дать предмет,

того не вложит в книгу трудолюбие автора. История православной церкви на Волыни — не более, как часть истории православия в Малороссии: что происходило в Киеве, то повторялось на Волыни, и только; особенного ничего мы не в состоянии сказать о волынских епархиях, как не можем сказать ничего особенного об истории православных епархий калужской или тульской, тамбовской или орловской. Очень важна и интересна история православной церкви в Великооруссии; но если б мы вздумали писать историю православной церкви в рязанской епархии, нам поневоле пришлось бы делать общие и, по своей общеизвестности, нимало не интересные для науки извлечения из сочинений по истории русской церкви вообще, и потом прибавлять: «то же самое было, конечно, и в тульской епархии»; или: «это изменение, без сомнения, коснулось и тульской епархии»; или, в самом счастливом случае, прибавлять: «мы знаем, что так было и в тульской епархии; это видно из следующей грамоты», и приводить грамоту Никона к тульскому епископу о введении исправленных книг, или грамоту тульского епископа, свидетельствующую, что в Туле были около XV века каменные церкви. Точно таково все содержание книги г. Карашевича. Заимствуя общие обзоры о состоянии малорусской церкви из сочинений преосвященного Филарета, преосвященного Макария, из Бантыша-Каменского и т. д., он прибавляет на каждой странице: «Это должно относиться и к Волыни», а в некоторых случаях приволит какую-нибудь выписку из «Актow Археографической комиссии», и т. п., — выписку, не говорящую нам ровно ничего нового и не содержащую ничего важного. Если б г. Карашевич избрал предметом своего рассуждения какой-нибудь вопрос, могущий быть предметом отдельного исследования, труд его, конечно, не остался бы бесплоден для истории, как в настоящем случае.

Обзор главнейших путешествий и географических открытий в пятилетие с 1848 по 1853 год. составлен К. Ф. Свенске.
Том первый. СПб. 1855.

Ряд статей, которые под этим заглавием помещал г. Свенске в «Вестнике географического общества», давно уже оценен по достоинству и читателями и журналистами. Ни по одной из наук мы еще не имели такого полного и дельного обзора новейших открытий, какой был составляем ученым автором по географии. Статьи эти теперь собраны в одну книгу, и нам нет надобности рекомендовать ее публике, которая уже отдала ей справедливость. Мы только пользуемся появлением прекрасного труда г. Свенске в виде отдельного сборника, чтобы представить читателям беглый очерк успехов географии в последнее время.

Обзор г. Свенске начинается ближайшими к нам странами. Чрезвычайно важных предприятий по составлению и исправлению карт европейских земель в последние годы было множество. Из них назовем, в России: приведение к концу русско-шведского измерения громадной дуги меридиана между Фугленесом в Норвегии и Измаилом, на пространстве $25^{\circ}20'$; определение долготы главной Пулковской обсерватории от Гринвича; издание «Межевого атласа Российской империи», начатое с Тверской губернии; «Этнографическая карта Европейской России», г. Кеппена; «Хозяйственно-статистический атлас Европейской России», г. Веселовского; «Гидрографическое описание северного берега России», г. Рейнеке; в других европейских странах: большие топографические карты Германии на 359 и Северной Германии, Реймана и Эсфельда на 200 листах; военная карта Франции на 258 листах; большой атлас Великобритании и Ирландии, в масштабе 1 английской мили на 1 дюйм; подробнейшие топографические атласы главных городов Англии (атлас Лондона будет состоять из 900 листов); большая топографическая карта Швеции на 260 листах; подобные же карты Голландии, Бельгии, Испании, Швейцарии.

Из ученых путешествий по Европе особенно важны — в России: уральская экспедиция; путешествие по северной России г. Шренка и покойного Кастрена; по земле донских казаков, г. Кеппена; по прибалтийским провинциям, г. Бера; по берегам Черного моря, графа А. Уварова. Из описаний других малоизвестных европейских стран назовем: путешествия по Далмации и Черногории, Гарднера, Вилькинсона, Коля, Патона; по Сербии, также Патона; по Норвегии, Виттиха, Форестера; по Исландии, Шлейснера; по Венгрии, Квицмана; по Трансильвании, де-Жеррандо; по Испании, Уркарта, Дондас-Морри, Госкинса, Минуттоли, Флейшера, Вилькома; ¹ по Сардинии, Тняделя; по Греции и Твоции, Росса, Курциуса, Обри-де-Вера, Риглера, Мэкферлена.

Переходя к Азии, заметим путешествия по Сибири покойного Кастрена, г. Миддендорфа, Эрмана; по Армении — Морица Вагнера; по Малой Азии — г. Чихачева, Росса; по Сирии и Палестине — Линча, Робинсона; по Аравии — Лоттена де-Лавая; по Месопотамии — Лейарда, Флетчера, Чесни; по Персии — Вагнера, Фландена; по Бухаре — Лемачна; по Тибету и вообще по китайской половине материка — Гюцлафа, Гюка и Габе; по странам между Ост-Индией и Китаем — Стрэчи, Томпсона, Гукера; по Синду — Викерн, по Загангскому полуострову — Гюцлафа; список путешествий по Ост-Индии и в Китай был бы слишком длинен.

Точно так же не будем перечислять путешествий по Алжиру, а из путешествий по Египту и Нубии упомянем только о сочинениях русских ученых: г. Ковалевского и г. Рафаловича. Абиссинию исследовали братья Аббади, Шимпер, Беке; центральную

Африку — Ребман, Крапф, Ливингстон, Гальтон, Кольб, Комминг, Ричардсон, Овервег, Барт, Пракс, Кноблехер, шейх Мухаммед аль-Тунзи; португальские владения в Африке — Тамс, Бокарде; побережья Гвинеи и проч. — Галлёр, Буэ-Вильоме, Форбз, Геккар, Смит, Ир-Пуль.

Автор делает подробные и часто чрезвычайно интересные извлечения из сочинений этих и многих других путешественников, трудами которых столь значительно распространены наши географические и этнографические сведения.

<ИЗ № 3 «СОВРЕМЕННОГО»>

Стихотворения графини Ростопчиной. Том первый. СПб. 1856¹.

Самое неприятное и самое бесполезное дело на свете — восставать против общепринятых, укоренившихся мнений. Неприятно оно потому, что человек, отваживающийся противоречить всем, приобретает себе множество противников. «Как? ты хочешь быть пронизательнее всех? Так, по-твоему, мы все ошибались? Да ты говоришь парадоксы, да ты говоришь явные нелепости!» И, если прежде считали этого человека неглупым, он компрометирует репутацию своего ума, даже своего здравого смысла. Легко бы ему перенести эту неприятность, если бы его отважное противоречие общему убеждению принесло хотя малейшую пользу тому делу, которое он решился защищать, если б он убедил хотя немногих в истине того оригинального мнения, которое он считает справедливым. Но нет, никого не убедит он: все до одного читатели согласно решат, что он странно, непростительно ошибается, и если произведет его смелое восстание против общепринятых суждений какое-нибудь действие, то разве только утвердит публику еще более прежнего в старых мнениях.

Эти слова достаточно убедят каждого читателя, что мы очень хорошо чувствуем трудность и опасность борьбы с закоснелыми предрассудками. Но иногда эти предрассудки бывают столь очевидно неосновательны, столь несообразны с несомненными фактами, что самый осторожный и робкий человек увлекается мыслью: «эти призраки мнений держатся только потому, что ничья рука до них не дотрогивалась; самое легкое прикосновение здравого смысла низвергнет, рассыплет в пыль и прах эти лживые фантомы!» Бывают, говорим мы, случаи, когда нелепость прежнего мнения, правота нового столь очевидны, что борьба против самообольщения публики представляется очень легкой и обещает быть успешною. К небольшому числу таких случаев, бесспорно, принадлежит вопрос о существенном характере, внутреннем смысле, задушевной идее, — одним словом, о пафосе

стихотворений нашей известной писательницы графини Ростопчиной, которая всегда справедливо почиталась одним из украшений русского Геликона. Обыкновенно думали и донныне продолжают думать, что эта замечательная поэтесса изливала в своих стихотворениях чувства и мысли, которые казались ей высокими, правдивыми, глубокими; что ее пафос — пафос увлечения идеями и ощущениями, которые составляют содержание ее стихотворений; все единодушно признавали, что ее поэзия — положительное отражение той жизни, которая казалась и кажется для самого поэта идеалом жизни.

Это мнение положительно ложно. Надобно только перечитать со вниманием прекрасные стихотворения графини Ростопчиной, и очевидна будет его ошибочность.

Критик, с суждениями которого мы не любим расходиться, на авторитет которого мы любим ссылаться, потому что лучшего авторитета нет у нас, более справедливых суждений мы не найдем ни у кого² — этот критик заметил, что существеннейшее содержание стихотворений графини Ростопчиной — бал.

Отличительные черты музыки графини Ростопчиной — склонность к рассуждениям и светскость. Исключительное служение «богу салонов» не совсем выгодно. Наши салоны — слишком сухая и бесплодная почва для поэзии. Правда, они даже и зимою дышат ароматом, или, как говорит муза графини Ростопчиной, *сыплют аромат*; но этот аромат искусственный, выросший на почве оранжереи, а не на раздолье плодотворной земли, улыбающейся ясному небу. Бал, составляющий источник вдохновения нашего автора, конечно, образует собою обаятельный мир даже и у нас, — не только там, где царит образец, с которого он довольно точно скопирован; но бал у нас — заморское растение, много пострадавшее при перевозке, помятое, вялое, бледное. Поэзия — женщина: она не любит показываться каждый день в одном уборе; напротив, ей нравится каждый час являться новою, всегда быть разнообразною — это жизнь ее. А все балы наши так похожи один на другой, что поэзия не пошлет туда и своей ассистентки, не только сама не пойдет. Между тем, поэзия графини Ростопчиной, прикована к балу: даже встреча и знакомство с Пушкиным, как совершившиеся на бале, суть собственно описание бала*. Талант графини Ростопчиной мог бы найти

* Приводим здесь это поэтическое воспоминание:

На бале блестящем, в кипящем собрание,
Гордясь кавалером и об руку с ним**,
Вмешалась я в танцы, и счастьем моим
В тот вечер прекрасный весь мир озящался.
Он с нежным приветом ко мне обращался;
Он дружбой без лести меня ободрял;
Он дум моих тайну разведать желал...
Он выманить скоро доверье умел...
Под говор музыки, украдкой, дрожа,
Стихи без искусства ему я шептала...
Он пылкостью прежней тогда оживлялся,
Он к юности знойной своей возвращался.
Со мной молодея, он снова мечтал...

(Изд. 1856 г., стр. 256).

* Александром Сергеевичем Пушкиным. Примеч. автора.

более обширную и более достойную себя сферу, и стихи, подобные следующим, выражают только мнение, кажется, несправедливое в отношении к высокому назначению женщины вообще:

А я, я женщина во всем значении слова,
Всем женским склонностям покорна я вполне;
Я только женщина... гордиться тем готова...
Я бал люблю... отдайте балы мне!

(«Отечественные записки», 1841, т. XVIII, «Библиографическая хроника», стр. 6).

В словах об отношении балов к поэзии есть своя справедливость; но — как ни прискорбно нам опровергать суждения критика, который был истинным учителем всего нынешнего молодого поколения, — мы должны откровенно сказать, что он совершенно ошибался, применяя эти общие соображения к стихотворениям графини Ростопчиной. Он, по нашему непоколебимому убеждению, слишком поверхностно взглянул на их «салонное содержание», заметил только общую черту — присутствие балльных мыслей в каждом стихотворении, и ограничился этим. Но этого мало. Надобно было глубже вникнуть в это «салонное содержание», и тогда характеристика вышла бы точнее, основательнее, тогда и заключения его о таланте графини Ростопчиной были бы совершенно другие. Мы постараемся это сделать и доставить посильный материал для истории нашей литературы, в которой г-жа Ростопчина, по общему мнению и по заключениям критика, должна занимать довольно или даже очень значительное место*.

С этим полезным стремлением мы приступаем к анализу стихотворений графини Ростопчиной. Чтобы изобличить неверность мнений, приведенных нами, надобно только собрать черты для составления полной характеристики того женского лица, которое, в большей части стихотворений нашей поэтессы, является описывающим свои ощущения и мечты. Но прежде всего напомним читателю, что вообще не следует предполагать, будто каждое

* Заключения критика, которого мы цитировали, выражены в следующих словах:

«С 1835 года почти во всех периодических изданиях начали появляться стихотворения, отмечаемые таинственною подписью *Гр-ня Е. Р-на*. Но поэтическое инкогнито недолго оставалось тайною. Истинный талант как-то не уживается с инкогнито. К тому же люди — странные создания. Иногда они потому именно и не знают вашего имени, что вы поторопились сказать его, и добиваются знать и узнают потому только, что вы его скрываете или делаете вид, что скрываете. Повторяем, главная причина того, что литературное инкогнито графини Ростопчиной скоро было разгадано, заключалось в поэтической прелесть и высоком таланте, которым запечатлены ее прекрасные стихотворения».

«я», излагающее в лирической пьесе свои ощущения, по необходимости есть «я» самого автора, которым написана пьеса. Так, у г. Фета есть прелестное стихотворение:

Еще ребенком я была,
Все любовались мной:
Мне шли и кудри по плечам
И фартучек цветной...

Есть у него другая прекрасная пьеса:

Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,
Я при свечах навела...

У Кольцова также есть много подобных пьес, например:

Я любила его
Жарче дня и огня...

Или:

Без ума, без разума
Меня замуж выдали.
Золотой век девичий
Силой укоротали...

Есть такие пьесы и у Пушкина:

Подруга милая, я знаю, отчего
Ты с нынешней весной от наших игр отстала.
Я тайну сердца твоего
Давно, поверь мне, угадала...

Конечно, никто не скажет, чтобы г. Фет, Кольцов, Пушкин о себе говорили здесь: «Я навела», «я была», «я любила», «меня замуж выдали», «я угадала». Есть подобные «я», несомненно различные от личности самого лирика, в лирических пьесах Гете и Шиллера, Беранже и Гейне, — одним словом, почти каждого великого поэта.

Мы нарочно выбирали примеры самые неоспоримые, где уже самая грамматика различием родов в глаголе, относящемся к «я», с исторически несомненным полом автора, показывает справедливость нашего положения. Но и там, где грамматика оставляет нас в сомнении, по одинаковости пола автора пьесы и пола выводимого им «я», здравый смысл и несомненные биографические факты часто убеждают, что «я» пьесы не есть «я» автора, и поступки, положения или ощущения, усвояемые первому, нимало не могут быть приписываемы последнему, то есть автору. Так, например, в одном стихотворении у Лермонтова читаем:

Молча сижу под окошком темницы...
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцырь железный.

Но положительно известно, что в 1841 году, когда написана эта пьеса, Лермонтов не сидел в темнице или в тюрьме, а сражался за отечество на Кавказе, и никогда не было у него ни меча, ни железного панциря, а носил он всегда форменную саблю или шашку и мундир, как следует по положению. В известном романсе Пушкина «Черная шаль» читаем, что «я убил какого-то армянина и какую-то девушку-гречанку» и потом

Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.

Но положительно известно, что Пушкин во всю свою жизнь никого не убивал, что рабов у него не было, а были дворовые люди, и что на Дунае Пушкин никогда не жил, следовательно, не мог с лакеем своим бросать тел в дунайские волны. Мы готовы привести миллион подобных примеров из всех без исключения лирических поэтов.

Из этого неоспоримо следует: 1) что «я» лирического стихотворения не всегда есть «я» автора, написавшего это стихотворение; 2) что в приписывании самому поэту поступков, положений и ощущений являющегося в лирическом стихотворении «я» надобно поступать с крайнею осмотрительностью и не иначе, как сообразив ощущения и поступки лирического «я» с положительными историко-литературными фактами.

Да не упрекнет нас читатель в педантизме за длинное доказательство столь очевидных положений: мы хотели поставить их вне всякого спора, вне всякого сомнения, придать им достоверность математической истины, потому что на этих положениях основано наше мнение о пафосе графини Ростопчиной.

Соберем же теперь черты для характеристики того лирического «я», которое является в стихотворениях графини Ростопчиной; докажем, что подобное «я» не может быть идеалом... не говорим: графини Ростопчиной, — но вообще какого бы то ни было поэта; укажем источник заблуждения, господствующего в критике и публике; наконец обнаружим истинные — прекрасные — отношения графини Ростопчиной к этому «я»; и тогда читатели согласятся, что поэтическое значение произведений графини Ростопчиной доселе не было еще оценено по достоинству; что они должны считаться... не говорим: прекрасным, в этом никто не сомневался до сих пор, — но в высшей степени замечательным явлением в истории нашей литературы, — явлением не менее замечательным, нежели стихотворения Лермонтова.

«Я», говорящее о себе в пьесах нашей поэтессы, до страсти любит балы. Эта черта, как мы видели, замечена критикою как черта непривлекательная, но замечена без глубокого анализа, только вообще. Если молодая девушка, только что начавшая выезжать в свет, увлекается два-три года балами, это еще ничего не значит: увлечение молодости, прелесть новизны оправдывают

ее. Нет беды, если она две-три зимы потанцует с удовольствием; нет особенного преступления, если она в первые выезды заслушивается комплиментов: какая светская девушка не мечтала о первом бале, не мечтала после первого бала? Не бойтесь за нее: ведь это все очень скоро проходит: как только балы перестанут быть для нее новизною, она будет очень часто скучать на бале, будет находить большую часть кавалеров скучными, и верить никакому комплименту решительно не будет. Из десяти светских девушек так бывает с девятью. Ведь, если смотреть на вещи беспристрастно, надобно сказать, что далеко не все светские девушки и молодые дамы кокетки в строгом смысле слова: ведь и женщины такие же люди, как мужчины, ведь и светские женщины тоже люди. Согласитесь же, если вы не мизантроп, что между людьми редко решительно дурные характеры и совершенно пустые головы; а кокеткою, говоря вообще, может быть только женщина с сухим, дурным сердцем и с пустою головою. И уж если могла стать женщина кокеткою, останется она кокеткою до конца жизни: такова ее натура. Теперь судите, к обыкновенным ли светским женщинам принадлежит лицо, которому графиня Ростопчина дает первое место, уступает первое лицо глагола и местоимение «я» в своих стихотворениях. Но ведь нам приходится говорить об этом «я», пока еще загадочном, в третьем лице, и пока будем называть это лицо неопределенным местоимением «она». «Она» все счастье свое находит только на бале не в продолжение каких-нибудь двух или трех, а в продолжение целых двенадцати лет; с самого начала стихотворений, расположенных по хронологическому порядку, до самого конца первого тома, с 1829 до 1841, — то же будет и в течение всех остальных лет до настоящей минуты: в рассеянных по журналам стихотворениях всех следующих лет, где только является «она», «она» проникнута мечтами о бале. Вот, например, «она» в деревне, как видно, замужем; у «нее» уже двое детей, — бьет двенадцатый час; «она» восклицает:

Бывало, только ты пробьешь,
Я в полном упоенье,
И ты мне радостно несешь
Все света обольщенья.
Теперь находишь ты меня
За книгой, за работой...
Двух люлек шорох слышу я
С улыбкой и заботой.

И мне представилось: теперь танцуют там,
На дальней родине, навек избранной мною...
Рисуются в толпе наряды наших дам,
Их ткани легкие, с отделкой щегольской;
Ярчей наследственных алмазов там блестят
Глаза бесчисленные, весельем разгоревшись...

Опередив весну, до время разогревшись,
Там свежие цветы свой сыплют аромат...

Красавицы летят, красавицы порхают,
Их вальсы Лацнера и Штрауса увлекают
Неодолимою игривостью своей...
И все шумнее бал, и танцы все живей!

И мне все чудится! Но, ах! в одном мечтанье!
Меня там нет! Меня там нет!
И, может быть, мое существованье
Давно забыл беспмятный сей свет!

И что же привлекательного для «нее» на бале? Не поэтическая сторона его, если он имеет в себе хотя каплю поэзии, не пылкая страсть, не таинственная интрига, — нет, не бойтесь за «нее», — просто наряды, комплименты и вальс; для натур пламенных, которым прощается многое, даже любовь к балам в зрелые лета, бал — место страстных, таинственных разговоров с одним, бал — рай или ад; для «нее» бал — просто развлечение, очень приятное потому, что там много кавалеров, говорящих очень лестные комплименты:

Когда ровесницам моим в удел даны
Все общества и света развлечения,
И царствуют они, всегда окружены
Толпой друзей, к ним полных снисхождения,
Когда их женский слух ласкает шум похвал,
Их занят ум, их сердце бьется шибко, —
Меня враждебный дух к деревне приковал,
И жизнь моя лишь горькая ошибка!

Так вот почему «она» восклицает: «Я бал люблю! Отдайте балы мне!» — «Она» с самого начала до самого конца любит себя собою, своею красотой, — этим чувством проникнуто каждое излияние «ее» сердца; «она» описывает свою наружность и наряды; «она» даже говорит при случае:

Что мне до прелести румянца молодого?
красота не в румянце; очаровательна та женщина, которая имеет
В движениях, в поступи небрежную сноровку (Стр. 192).

Наконец, «она» просто признается, что любила балы не по страстному увлечению, а просто по тщеславию, что «она жила тщеславием»:

Потом была пора, и света блеск лукавый
Своею мишурой мой взор околдовал:
Бал, искустель наш, чарующей отравой
Прельстил меня, завлек, весь ум мой обаял...
Пир и праздники, алмазы и наряды,
Головокружный вальс вполне владели мной,
Я упивалась роскошной суетой,
Я вдохновенья луч тушила без пощады
Для света бальных свеч... я женщиной была!
Тщеславьем женским я жила! (Стр. 158.)

А теперь — говорит «она» — настала пора другая, мечты прошли, «существенность» стала интереснее, нежели «игра воображения»: прежде, говорит «она»:

Я с детским жаром увлекалась
Воображения игрой...

Но теперь уж не то:

Я в горний мир не увлекаюсь,
Я песней сердца не пою,
Но к хладу жизни приучаюсь
И уж существенность люблю! (Стр. 82—83.)

Но о «существенности» после: нам нужно еще послушать, что «она» говорит на бале. Надобно кстати заметить, что «она» постоянно жалуется на то, что светские мужчины не умеют оценить сердца, жаждущего любви: они боятся «молвы», и «она» убеждает их не бояться пустых, лживых толков света. Зато, как сострадательно она готова утешать мужчину, который грустит о подобной же неудаче! Вот один пример:

Зачем, страдалец молодой,
Зачем со мною лицемерить?
Нет! хитростью своей пустой
Тебе меня не разуверить!
Ты любишь! Это говорят
Твоя задумчивость немая,
Безжизненный, унылый взгляд,
Болезнь и бледность гробовая!

Так, твоя любовь несчастна, и ты никому не хочешь говорить этого, ты не хочешь нарушать тайну своей любви!

Ты прав! молчи! но знай, что мною
Твоя оплакана судьба! (Стр. 29.)

Вот другой пример:

Скажите, отчего ваш взор
Всегда горит тоской сердечной?
Зачем налит грустью вечной
Ваш непритворный разговор?
Зачем таинственные думы
Легли на томное чело.
И скорбь оттенок свой угрюмый
На вас вперила, как клеймо?

В вас что-то тайное, родное
Красноречиво говорит,
И сострадание святое
Меня невольно к вам стремится!
О, если б этим состраданием
Могла купить я вам покой!
Но я богата лишь желанием,

А не ходатай пред судьбой.
Примите ж все, что в приношение
Вам дать в порыве умиления
Я, бесталанная, могу:
Души свободной уважение
И сострадания слезу! (Стр. 103—104.)

Будь тверд, не унывай, возьми пример с меня:
Смотри, тверда, сильна, невозмутима я!
Пред бедной женщиной, созданием ничтожным,
Легко волнуемым, и страстным и тревожным,
Себя мужчиною обязан ты явить,
Великодушной ты, смелее должен быть!
Не слушай толк людской и вражьей пересуды!
Пусть люди против нас — сам бог за нас покуда! (Стр. 366.)

Но что делать, если мужчина разрывает союз сердец? Обыкновенной светской женщине остается одно — страдать и тосковать; «она» делает не так: она, если ей вздумается взгрустнуть о таком обстоятельстве, тотчас же умеет переломить себя, превозмочь горе; «она» говорит себе:

Опомнись! призови на помощь силу воли,
Оковы тяжкие героем с плеч стряхни!
Сердечных тайных язв скрой ноющие боли
И свету прежнюю себя припомняй!

Где ленты и цветы, где легкие наряды?
Блестящей бабочкой оденься, уберись,
И поезжай на бал, спеши на маскарады,
Рассмейся, торжествуй, понравься, веселись!

Придут к твоим ногам поклонники другие, —
Меж них забудешь ты цепей своих позор,
И он, он будет знатен! Затеи молодые
Встревожат и его внимательный надзор!

Он в очередь свою узнает страх и муку,
Он будет ревновать, он будет тосковать,
Ты выместишь на нем страданья, горе, скуку,
Потом простишь его и призовешь опять! (Стр. 393.)

А если и это не удастся — что тогда? Тогда «она» говорит ему следующее:

Свободен ты! и я свободна тоже!
Без ссоры мы с тобою разошлись.
Найдется ли другой, душой моложе
И сердцем понежнее, — не сердись!
Ты так хотел! (Стр. 400 и последняя.)

А когда найдется другой, душой моложе, как сделать его соучастником своим в отпадении неверному? «Она» будет говорить с ним о поэзии, о своем одиночестве, о том, что мир не понимает высоких стремлений и чувств. Но как вы думаете, что такое для «нее» поэзия, «чистые думы» и т. д.? — Отдых после утомитель-

ного бала и средство приподняться после различных житейских невзгод:

Когда в шуме света, в его треволнении,
Гонясь за весельем, прося наслаждений,
Умается сердце, душа упадет, —
Тогда в думе чистой приюта ищу я,
Тогда я мечтаю и, душу врачуя,
Поэзия крылья и мощь ей дает. (Стр. 164.)

Вообще, по «ее» мнению, поэзия и мечты — только промежуток меж выездов и балов:

Для женщины...
Есть час спокойствия, мечтанья, дум святых, —
То промежутки ей меж выездов, веселий.

Не бойтесь же, «она» не увлечется поэзией или другими высокими стремлениями: она только будет толковать о них с кавалерами, которые «молоды душой» и одарены «нежным сердцем». Иной из этих неопытных юношей расчувствуется и изъяснит ей в приличных выражениях свое сочувствие, свою любовь. «Она» будет отвечать ему так:

Но я не такова! Но с ними вместе в ряд вы
Не ставьте и меня! Я не шучу собой.
Я сердцем дорожу; восторженной душой
Я слишком высоко ценю любовь прямую,
Любовь безмолвную, безгрешную, святую,
Какой вам не найти здесь в обществе своем!
Иной я не хочу! Друг друга не пойдем
Мы с вами никогда! Так лучше нам расстаться,
Лишь редко, издали, без лишних слов встречаться!
Хоть я и говорю: Никто и никогда!
Я так неопытна, пылаю и молода,
Что, право, за себя едва ли поручусь я!
Мне страшно слышать вас; смотреть на вас боюсь я!
(Стр. 199.)

Теперь нам остается только выписать, без всяких замечаний, два стихотворения, очень замечательные.

НАДЕВАЯ АЛБАНСКИЙ КОСТЮМ

Наряд чужой, наряд восточный,
Хоть ты бы счастье мне принес,
Меня от стужи полуночной
Под солнце юга перенес!

Под красной фескою албанки,
Когда б могла забыть я вдруг
Бал, светский шум, плен горожанки,
Молву и тесный жизни круг!

Когда б хоть на день птичкой вольной,
Свободной дочерью лесов,

Могла бы я дышать раздольно
У ионийских берегов!

Разбивши цепь приличий скучных,
Поправ у ног устав людей,
Итти, часов благополучных
Искать у гордых дикарей!

Как знать? Далеко за горами
Нашла б я в хижине простой
Друзей с горячими сердцами,
Привет радушный и родной!

Нашла бы счастья прямого
Удел, незнаемый в дворцах;
И Паликара молодого
Со страстью пламенной в очах! (Стр. 137—138.)

ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР

Когда веселием, восторгом вдохновенный,
Вдруг удалую песнь весь табор запоет,
И громкий плеск похвал, повсюду пробужденный,
Беспечные умы цыганов увлечет,
На смуглых лицах их вдруг радость заиграет,
В глазах полуденных веселье загорит
И все в них пламенно и ясно выражает,
Что чувство сильное их души шевелит:
Нельзя, нельзя тогда внимать без восхищенья
Напеву чудному взволнованных страстей!
Нельзя не чувствовать музыки упоенья,
Не откликаться ей всей силою своей!
Поют... и им душа внушает эти звуки.
То страшно бешены, то жалобны они;
В них все: и резвый смех, и голос томной муки,
И ревность грозная, и ворожба любви,
И брани смелый вопль, и буйное раздолье.

Но вот гремющий хор внезапно умолкает,
И Таня томная одна теперь слышна:
Ее песнь грустная до сердца проникает,
И страстную тоску в нем шевелит она.

О, как она мила! Как чудным выраженьем
Волнует, трогает и нравится она!
Душа внимает ей с тревожным наслажденьем,
Как бы предчувствием мучительным полна!
Но если ж песнь ее, с восторгом южной страсти,
Поет вам о любви, о незнакомом счастье,
О, сердцу женскому напевы те беда!
Не избежит оно заразы их и власти,
Не смое слезами их жгучего следа! (Стр. 65—66.)

Мы никак не верили, чтобы апотеоз хора московских цыган и цыганок принадлежал «ей»; но сомневаться невозможно: стихотворение написано от имени женщины. «Она» не только сама увлекается песнями цыган, но думает, что каждая женщина увлекается ими. Удивительная женщина!

Мы не думаем, чтобы личность, какую изображает нам себя «она», могла быть привлекательною. Тем менее мы допускаем, чтобы в ней было что-нибудь поэтическое. Расчет и поэзия, холодное стремление к целям сущности и поэзия — вещи несовместимые. Мы решительно отвергаем, чтобы какой бы то ни было поэт мог сочувствовать подобной женщине. Кто же может сочувствовать ей, в том нет ни капли поэзии. Но графиня Ростопчина сама указывает нам истинную точку зрения на дух своих стихотворений в превосходном «Предисловии», которым украшено новое издание их:

Я не горжуся тем, что светлым вдохновеньем
С рожденья бог меня благословил;
Что душу выражать он дал мне песнопеньем
И мир фантазии мечтам моим открыл.

Я не горжусь, что с лестью и хвалою
Мне свет внимал, рукоплескал порой,
Что жены русские с улыбкой и слезою
Твердят, сочувствуя, стих задушевный мой!

Я не горжусь, что зависть и жеманство
Нещадной клеветой преследуют меня,
Что бабью суетность, тщеславий мелких чванство
Презреньем искренним своим задела я.

Горжусь я тем, что в чистых сих страницах
Нет слова грешного, виновной думы нет;
Что в песнях ли своих, в рассказах, в небылицах
Я тихой скромности не презрела завет!

Горжусь я тем, что в этой книге новой
Намека вредного никто не подчеркнет,
Что даже злейший враг, всегда винить готовый,
Двуслысленной в ней точки не найдет!

Горжусь я тем, что дочери невинной
Ее без страха даст заботливая мать,
Что девушке с душою голубиной
Над ней позволится и плакать и мечтать.

10 сентября 1850 года.

Теперь, надеемся, каждый читатель отгадал нашу задушевную мысль, в доказательство которой написан весь этот разбор, и согласился с нею. Так, вы правы, читатель: графиня Ростопчина — писательница байроновского, лермонтовского, гоголевского направления: она выставляет на позор те уклонения от идеала, которые глубоко возмущают ее благородную, поэтическую, чистую мысль; она клеймит горькою, холодною сатирою без усмешки, без улыбки, — клеймит сатирою, для поверхностного читателя чуждою всякой сатиры, пустоту головы и сухость сердца.

Предмет ее беспощадной иронии — те дамы, которые, к сожалению, существуют в так называемом светском обществе, хотя, к

счастью, составляют в нем малочисленное меньшинство, являются только как редкие исключения, — к счастью, говорим мы, потому что, если бы их было много, не могло бы существовать общество. Этих кокеток, которые не похожи на кокеток других стран, которые хвалятся соблюдением жеманных приличий, графиня Ростопчина превосходно заставила излагать свои понятия и ощущения, свои поступки и стремления, олицетворив их, по неизменным законам поэтического творчества, в этой вымышленной женщине, говорящей нам о своем «я». И как справедливы становятся слова графини Ростопчиной о своих стихотворениях, как скоро мы поймем это! Да, действительно, она горькой, несмелой иронией глубоко, смертельно оскорбила «жеманство, суету, тщеславий мелких чванство» в этих женщинах, выставив их свету без всяких вуалей, в истинном их виде; да, она глубоко поразила их своим презрением! И если так, — а иначе быть не может, — то, действительно, чисты ее страницы, потому что проникнуты спасительною мыслью, благородным презрением к фразе и ничтожеству. Нет в них слова грешного, нет виновной думы, — о, нет, и не нарушила она, а защитила она скромность, показав ей в этих *небылицах*, то есть созданных творческим воображением поэта поступках вымышленного лица, до чего доводят сухость сердца и пустота! Нет в этих страницах намека, который бы мог ввести в сомнение, сделаться вредным своею двусмысленностью: все выражено с такою ясностью, что нет места сомнению, хороши ли или презренны эти вымышленные ощущения, стремления, поступки воображаемого лица; и если девушка с невинною, неопытною, голубиною душою слишком живо увлечется вихрем наслаждений и развлечений, столь невинных, повидимому, в начале, но приводящих к столь жалкой «существенности», как посещение цыганских оргий, — если, говорим, неопытная девушка увлечется этими опасными развлечениями, заботливая мать без страха даст ей книгу графини Ростопчиной, — без страха, потому что сильно, но спасительно противоядие и несомненно его действие: ужаснется, содрогнется, голубиная душа девушки, и заплачет она, с голубиною любовью зарыдает о погибших своих сестрах, с ужасом о той страшной опасности, которой сама подвергалась, — и очистится эта голубиная душа пламенным очищением ужаса от всех зародышей порока, какие успели зарониться в нее среди соблазнов неизведанной ею, обольстительной, повидимому, жизни, и навеки будет она чиста от суеты, тщеславия, ведущих к соблазну, и недоступна навеки будет она лстивым искушениям соблазна!

Высок подвиг поэта, решающегося избрать пафосом своих стихотворений изобличение ничтожества и порока, на благое предостережение людям; высок его талант, если он достойным образом совершит свой благородный, но тяжелый подвиг!

Этим, без сомнения, надобно объяснять то уважение, которым

почтили талант и произведения графини Ростопчиной три величайшие поэта трех поколений: Жуковский, Пушкин и Лермонтов. Мы уже видели, с какою благосклонностью Пушкин слушал ее стихи. Жуковский послал ей книгу, которую Пушкин приготовил для записывания своих стихотворений, и которая найдена была еще белою, девственною после его смерти. Видно, патриарх наших поэтов думал, что графиня Ростопчина достойна быть преемницею Пушкина в нашей поэзии. Любопытное письмо Жуковского об этом напечатано на 231—232 страницах нового издания стихотворений нашей поэтессы. Наконец, кому из нас не памятно дивное стихотворение Лермонтова: «Графине Ростопчиной»:

Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены:
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны...

Во всем мы можем обманываться, но не обманет нас одно: имя графини Ростопчиной будет увековечено этим прекрасным стихотворением.

Как же объяснить, что журнальная критика и масса публики до сих пор не понимали истинного смысла стихотворений графини Ростопчиной? — Очень просто, и вовсе не к выгоде критики и публики, мы должны прибавить, несмотря на все уважение наше к этим органам редко погрешающего здравого смысла и общественного мнения.

Сатиры графини Ростопчиной написаны для предостережения светских женщин и по необходимости написаны салонным языком: ведь другого языка они не захотели бы слушать, даже не поняли бы; ведь с каждым классом общества надобно говорить на его собственном языке. А известно, как тонка, почти неосвязаема ирония салонов. Подумайте сами, могла ли понять журнальная критика, привыкшая к грубому, топорному, смеем выразиться, тону нашей мещанской литературы, наших Гоголей и Кольцовых и им подобных людей, — ведь и сам Пушкин, сам Лермонтов принуждены были говорить очень неделикатно, чтобы сделать свою иронию понятной для нашей публики, — могла ли эта критика, сама говорившая столь резко и привыкшая рубить с плеча, — могла ли она понять, уловить тонкую, уловимую только для светских людей иронию графини Ростопчиной? Да и кто были критики? Мы очень уважаем их ум и нравственные качества, но должны сознаться, что они воспитывались не в салонах; один был сын купца, другой — семинарист или сын уездного лекаря, третий — мелкопоместный, чуть ли не однодушный уездный дворянин³. Чего хотите вы требовать от этих людей, когда дело касается светского языка? Теперь, конечно, и вам, и мне, и каждому легко понять смысл стихотворений графини Ростопчиной, когда она сама прекрасно объяснила его в предисловии к новому изда-

нию, когда мы имеем свидетельства Жуковского, Пушкина и Лермонтова.

А прежде? признайтесь и вы, читатель, ведь вы не понимали его? Да и где же вам понять! Мы знаем, кто вы такой, какого тона вы человек! Ведь вы любите Диккенса и Теккерея, этих грубых, хотя и даровитых людей, которые с такою мужицкою прямою называют каждую вещь прямо по имени, не имея понятия о приличиях в образе выражения.

Но не будем слишком много обвинять себя за прежнее свое заблуждение: мы все искупали его тем, что признавали, — чисто на веру, без ясных для нас проявлений этого таланта, — высокий талант графини Ростопчиной. Мы загладим прежнее наше заблуждение тем, что будем теперь очень ясно понимать все значение этого таланта.

Кто хочет составить себе точное понятие о степени таланта графини Ростопчиной, должен, конечно, обратить внимание не столько на содержание, сколько на художественную форму ее произведений, анализировать, в какой мере форма соответствует идее, и совершенно ли полно и ясно выражается идея в форме.

Понимая эту идею, как она разъяснена самою поэтессою в предисловии, и как эта идея является в нашем анализе, непогрешительная точность которого едва ли оставляет место сомнению, каждый должен будет сказать, что форма вполне соответствует идее, и потому безукоризненно художественна, в самом строгом смысле слова. Вымышленная личность, излагающая нам свои ощущения в стихотворениях, холодна и искусственна в своем выражении, как в своей жизни. Она старается показать, что любит и понимает поэзию и природу, — но на самом деле не может любить их; однако же, как личность, хотя искусственно и фальшиво, но довольно развитая и образованная, она умеет иногда употребить красивое или громкое выражение. Само собою разумеется, что, несмотря ни на какую искусственность, природа всегда берет верх над расчетом и преднамеренностью; потому стихи, имеющие поэтическую внешность, перемешаны с гораздо большим количеством стихов сухих, нисколько не поэтических. Прежде находили это недостатком; теперь мы, с своей точки зрения, должны признать достоинством, как соответственнейшее выражение природы излагаемых ощущений и мыслей. Да и те стихи, которые на первый взгляд кажутся поэтическими по блестящей фразеологии, для внимательного читателя оказываются фальшиво-украшенными, а не прекрасными. Наконец, хотя вымышленная личность очень много говорит о пылкости своей натуры, о зное страстей, о кипении чувств, о пламенной любви, но так как она, какова бы ни была ее натура, пресыщена развлечением и наслаждением; то вместо пылкости везде видна вялость, неразлучная спутница пресыщения; зная страстей мы в ней не видим, а только видим женщину, утомленную удовольствиями, но все еще мечтаю-

щую об удовольствиях, — чувства и сердце ее уже утомлены, работает одно экзальтированное воображение. Потому-то общий колорит стихотворений чрезвычайно удовлетворяет художественным условиям соответствия формы идее: он сух, эгоистичен, экзальтирован и холоден.

Даже самый язык соответствует требованию идеи: он не всегда правилен, изобилует ошибками в употреблении и сочетании слов и в ударениях. Действительно, по свидетельству Пушкина, в его время в салонах не умели правильно говорить и не могли правильно писать по-русски. Ныне, быть может, не то; но ведь лицо, с которым знакомит нас графиня Ростопчина, принадлежит еще, по своему воспитанию, тридцатым годам, и истинный художник не мог вложить в уста этой женщины иного языка, как тот, о котором много раз упоминает Пушкин, говоря о дамах и девицах своего времени.

По художественному достоинству, состоящему в этом полном соответствии формы с идеею, в графинё Ростопчиной должен быть признан талант необыкновенный.

Само собою разумеется, что такое заключение основано на выводах наших об истинном смысле ее произведений: кто не принимает этих выводов о содержании, тому и художественные качества формы должны представляться в другом свете.

Вестник естественных наук. Москва. 1856. № 1¹.

Мы с удовольствием прочитали первый номер «Вестника естественных наук» и еще более убедились, что это издание, уже два года выходящее в Москве, — положительно полезно и прекрасно. Рекомендуем его всем любителям, которые хотят вынести что-нибудь из чтения, обогатить себя сведениями. Да и как оно дешево стоит — всего шесть рублей!

Первый номер на 1856 год включает в себе, кроме других статей, в высшей степени поэтическую и интересную статью знаменитого Александра Гумбольдта: «Жизненная сила, или родосский гений». Какая простота, благородство и возвышенность стиля и, притом, как все ясно, тепло, прямо льется в душу! Глубокое и симпатическое сердце набросало эти коротенькие строки... Мы также любовались приложенным к 1-му № портретом Гумбольдта, этого восьмидесяти-шестилетнего служителя науки, более полувека служащего корифеем и представителем всех изумительных движений естествоведения. Счастливое лицо, редкое лицо, которое заставляет перед собой склониться всякого мыслящего человека! Всмотритесь в эту улыбку, в этот возвышенный лоб, который, кажется, так и говорит: «здесь жизненная сила входит во все свои права». Гумбольдт, по справедливости, нравственное мерило всего мышления XIX столетия, высшая грань, до которой до-

стигнул нынешний человек. Г. Рулье, редактор «Вестника», очень может гордиться тем, что такой человек прислал ему свой портрет с собственноручной надписью, и тем одобрением, которое Гумбольдт высказал об его издании. После одобрения Гумбольдта нам остается только напомнить о «Вестнике» тем русским читателям, которые еще не запаслись журналом г. Рулье. Смело ручаюсь, что они не будут жалеть, приобретя «Вестник».

Журнал садоводства, издаваемый Российским обществом любителей садоводства. Книжка 1 (январь). Москва 1856¹.

Красота цветка, сада всегда действовала и будет действовать на человека, потому что живопись неотразимо действует на душу человека. Это одно из эстетических удовольствий, так же, как литература и музыка. Мы, жители страны берез, можжевельника и елок, не слышавшие никогда, как шумят лавры, пальмы и густолиственные дубы, целым шатром раскинувшиеся в воздухе, не слышавшие даже запахов роскошнейшего растительного царства, — мы, у которых тянутся утомительные кустарники, плетни да метелки вместо деревьев, более всего должны стараться пополнить скудость и неприветливость северной природы. Балок, стропил да плетней у нас много; но какое невыносимое повторение, какое невеселое однообразие окраски, подернувшей все одинаковым колером! Поэтому акклиматизирование деревьев и цветов для нас необходимо, необходимы люди, которые бы, силою науки и опыта, обогащали нашу национальную флору, хотя бы с помощью оранжерей, теплиц и искусственных садов. Путешествия ботаников и ученых в отдаленные страны уже обогатили Старый Свет растениями тропических стран. Сколько мы уже видели чуждых нашему климату растений, которые заслуживают внимания по своей красоте и изяществу, живут вне отечественной почвы... Стебель тропического растения, тонкий, благовонный, яркоцветный, карабкается себе по стенкам наших оранжерей и теплиц, ласкает взгляд и радуется за успехи науки.

Вот причина того хорошего впечатления, которое произвел на нас первый номер возобновленного «Журнала садоводства». Это у нас единственный в России садовый журнал, который издается русскими любителями, в Москве, при просвещенном содействии уже прославившихся на этом поприще гг. ван-Гутта, Вершаффельта, Линдена, Тапфа и Вагнера. За журнал этот многие скажут спасибо, потому что цель его — знакомить русскую публику с растениями воздушными и тепличными, с растениями, вновь открываемыми, излагать способы устройства оранжерей, теплиц, парников, разбивки садов, обращать внимание на плодоводство и огородничество, как на отрасли, весьма важные в нашем отечестве. Кроме того, в состав программы журнала, вообще богатой

и обещающей много, входят также путешествия ботаников в разные страны света. В кратком предисловии, написанном редактором этого журнала, г. Пикулиным, высказана вся цель этого прекрасного издания, и мы отсылаем читателя к этому предисловию.

«Журнал садоводства», судя по первой книжке, несмотря на всю свою специальность, может быть доступен всем и каждому; даже дамы узнают так много о цветах, получают нечувствительно столько знаний об их классе, отечестве, о том, отчего известный цветок называется тем или другим именем, и т. д. Ведь немножко стыдно любить цветы и не иметь хотя маленького научного о них понятия, обо всем спрашивать своего садового немца и его безграмотного помощника, который только посредством русской сметки понял то, о чем толкует хитрый немец... Кроме удовольствия вынести пользу из чтения этого журнала, читатели найдут при нумерах журнала удивительные рисунки растений, которые выписывает редакция от известных иностранных садоводов. При № 1 приложены два иллюминированные рисунка, а именно: изящнейший цветок рододендрон, с темно-розовыми и пурпуровыми крапинами и карминными полосками по краям лепестка, и другой великолепнейший рисунок растения, интересующего в настоящее время всех ботаников Европы — *Саррацения Друммонда*. Красивый и оригинальный вид этого заморского растения, ныне распространенного по Европе, невольно поражает глаз своей мраморной окраской листьев, верхняя оконечность которых покрыта белыми и пурпуровыми пятнами, края обведены красно-лиловым ободком; стебель этого растения поддерживает одинокий пятилепестный темнокрасный цветок. Преоригинальное, прекрасное растение, с такой удивительной окраской листьев! Честь и слава редакции, которая не поскупилась на приложение таких богатых иллюминированных рисунков, да еще присовокупила к ним интересные статьи... Мы не видавали еще таких отчетливых и изящных рисунков при русских изданиях.

Но кроме рисунков и политапжей, первая книжка «Журнала садоводства» представила две интересные статьи: «Картины растительного царства» г. Мина и «Московские сады в XVIII столетии» г. Забелина. Нам в особенности понравилась статья г. Мина, и мы порадовались за редакцию, которая поняла, что подобные статьи, хотя не заключают в себе ничего нового, необходимы для русской публики, которую можно приучить к интересам специальным только посредством общих, популярных статей. Советуем г. Пикулину не упускать этого из виду, не забывать, что для массы читателей, не посвященных в специальность естествоведения, необходимы общие очерки, предварительные взгляды и описания, изложенные языком живым и общедоступным для каждого. Г-н Мин с успехом достигнул этой цели и популярным языком, слегка, но мастерски характеризовал всю красоту, богатство и важность растительного царства.

Статья «Московские сады в XVIII столетии» также читается с большим интересом.

В заключение скажем, что первый номер «Журнала садоводства» составлен прекрасно. Желаем от души успеха этому изданию, на который оно, бесспорно, имеет право рассчитывать. Видно, что люди с любовью и с знанием дела принялись за издание, с тактом критической оценки при разборе новых растений, которые со дня на день наводняют Европу и — бывает это! — часто под пышным именем растения, привезенного из отдаленной точки земного шара, встречаем старый и давно известный вид растения...

Очерки сибиряка. I. Девичий сон на Новый год. Быль из времен давно-прошедших. СПб. 1856.

Прочитав на заглавном листке: «Очерки сибиряка» и зная давнишнюю скромность русских сочинителей, которые нередко целые трактаты называют: очерками, абрисами, этюдами и т. д., мы, признаемся, заранее ожидали извлечь из «Очерков» множество любопытных заметок о Сибири. Что-то нам расскажет почтенный сибиряк об этой стране, где все так ново, оригинально, где (не говоря уж об этнографических особенностях) и толстый золотопромышленник, и поручик сибирской гарнизонной стражи, и станционный смотритель, — все имеет свою особенную физиономию, говорит другим языком и с увлечением толкует о звериных шкурах, — что-то нам расскажет наш почтенный сибиряк?

Так думали мы, прочитав заманчивое заглавие: «Очерки сибиряка». Каково же было наше изумление, когда, перебросив заглавный лист, на другом листе мы прочитали другое заглавие: «Девичий сон на Новый год, в стихах». Не может быть! Вероятно, девические сны сибирских барышень представляют что-нибудь особенное, вероятно, им снится не то, что другим барышням, и уж недаром автор прибавил: *быль из времен давно-прошедших*. Видно, он выкопал какую-нибудь сибирскую легенду!

Прочитав всю книжку, писанную дешевенькими стихами, в роде тех, какими обыкновенно пишут благовоспитанные дети. В день именин своих мамаш и крестных батюшек, с наивной откровенностью пролепетав: *для вас — взмошел я на Парнас*, — мы не нашли подобной откровенности в неизвестном сибиряке. Г. сибиряк описывает вместо Сибири княжну, описывает львицу модного света (вот тебе и быль из давно-прошедших времен!), раскладывающую накануне Нового года мостик из прутьев. Эти прутья — эмблема мирных женских добродетелей; мостик — лестница, ведущая княжну в объятия милого человека в блестящей каске и в больших замшевых перчатках. А княжна-то, если б вы знали, красавица какая! Господи, как она хороша! настоящий рафинад, как говорит гоголевская сваха. Посудите сами:

Грудь лебедя, белой
Белой пены океана!
Гордо в зеркало глядясь,
Красоте своей дивясь,
Ждет княжна любимца-друга:
Скоро ль он за ней придет,
Ручку белую возьмет,
Скажет: «ты моя супруга!»

Таков портрет княжны. Сердце у ней необыкновенно мягкое. Как она перетрусилась, когда ей приснилось, что какое-то чудовище с гусарской саблей кинулось на ее любимца-друга, как пронзительно вскрикнула бедная княжна:

«Няньки, мамки, защищайте,
Жениха скорей спасайте...
Он изрубит!» (Стр. 12.)

Как? изрубит! любимца-друга, ротмистра Юлия изрубит! Какой вздор, княжна! разве можно изрубить, изгнать ротмистра Юлия из вашего сердца и из русской литературы? Успокойтесь! еще придется вам не раз слышать и читать подобные разговоры:

«Ротмистр Юлий!..» — Ах, вы живы! —
И огнем красноречивым
Мигом вспыхнула княжна.
«Как! вы знаете? так скоро!
Кто сказал вам?..» — Я!.. мне!.. нет!..
Робкий был ее ответ.
Охватив горящим взором,
Юлий сел поближе к ней.
«Что же значат восклицанья?..»
— Так, оставьте без внимания...
Расскажите поскорей,
Что случилось? — И мгновенно,
Точно жемчуг драгоценный,
Слезы пали из очей.
«Боже! слезы!..» — Говорите!.. —
«Вы бледны так!..» — Не томите!..

Каков ротмистр Юлий? Ну, не злодей ли он, посудите сами! И за что так морочить бедных русских барышень, которые, в простоте своей, ничего возвышеннее не знают их возвышенного русского слога. О, милый марлинизм, давно отживший, но еще не окончательно похороненный в нашей литературе задних рядов! о, великолепная шумиха слов, фонтаном бьющая из красноречивых уст ротмистра Юлия! Один только он, ротмистр Юлий, решится произнести подобные гремучие, хвастливые фразы, объясняясь в любви этой добренькой княжне, от восторга даже развесившей уши:

Не заботясь о здоровье (это говорит Юлий)
О могиле (?), но, храня
Света модного условья,
Поскакала с визитом я..

Я счастливец! вы бальзам
Мне на раны сердца льете,
Вы блаженство мне даёте,
Вы несёте к небесам!
Вашим я дышу дыханьем,
Жизнь мила мне только в вас,
С вами жизнь и вечность — час!
Но сказать, но вас уверить,
Как любовь моя сильна,
И огонь её измерить —
Нет и меры, нет и слов!

А княжна-то?

Долго вслед она глядела,
Грудь плескалась, грудь горела,
Чей-то голос говорил:
«Как хорош он, как он мил!
Любишь друга?»
— Обожаю!
Голос молвил из груди.

Да и как, в самом деле, не обожать ротмистра, который, покрутив ус, так выразился насчёт её взгляда:

Не сжизая — жжете им!

И даже что ещё выдумал:

Звукам речи задушевной,
То отрадной, то смятенной,
Потрясаете в груди
Струны лучшие мои!

Очень интересно знать, какие там лучшие струны в груди этого ротмистра Юлия, и точно ли есть там подобные струны... Сомнительно! не верьте, княжна! Хотите знать, что за человек ваш ротмистр Юлий? Пустой малый, благонамеренный труп старых романов, лицо, ныне не существующее, ротмистр с медным лбом, ни одной дельной книжки не прочитавший на своем веку, не имевший даже времени рассмотреть хорошенько хоть один план знаменитого сражения, считающий военную науку вздором, ничего не слышавший о маршале Конде, о Тюрене, о принце Евгении, понаслышке знающий великого Суворова, и т. д., и т. д., прямой наследник героев повестей Марлинского, перепрыгивающий, от салонных огорчений, кавказские горы и машущий, от нечего делать, шашкой под самым небом...

Итак, читатель, если вам случится прочитать в газетных объявлениях: «Очерки сибиряка», то знайте наперед, что это деликатная выходка неизвестного автора, написавшего под этим заглавием сказочку о чувствительной барышне и гремучем ротмистре. Вместо того, чтоб ознакомиться с Сибирью, вас схватит в объятия милашка-ротмистр и, приняв вас за поджидаемую княжну, станет тискать вас к своей воинственной груди...

Силуэты, сцены в стихах В. П. Попова. СПб. 1856.

Стихи г. Попова совершенно другого рода, чем стихи автора «Очерков сибиряка». Г. Попов, по крайней мере, не уверяет, что он описывает быль из давно-прошедших времен, напротив, он описывает сцены из современного быта и, притом, в новейшем вкусе. Сатира, злая сатира разлита в поэзии г. Попова! Боже, как он хлещет наше современное ничтожество, как озлобленный герой его, Калитин, глубокомысленно рассуждает о том, что ему стукнуло тридцать лет! Тридцать лет — и человек ничего не сделал, тридцать лет — и все сердится, тридцать лет — и все повторяет одно и то же, тридцать лет — и все говорит с чужого голоса! Положение истинно драматическое, и, признаться, Калитин так искренно жалеет о себе, с таким презрением отзывается о *мишурном* свете, об окружающей его пустоте, что мы даже порадовались за него. «Ну, в добрый час, — подумали мы, — вероятно, он тотчас сядет к письменному столу, попросит, чтоб отыскиали чернильницу, займет у приятеля-чиновника перо и напишет прошение о ревностном своем желании поступить на службу, или же, что тоже хорошо, займется другим каким-нибудь серьезным делом». Немудрено: человек огорчен, человек в раздражении, что проболтался тридцать лет на своем веку; он хочет, вероятно, чем-нибудь заняться, загладить прошлое, и уж недаром он с такой энергией и желчью заговорил, в первом своем монологе, о нашем воспитании, — ведь как заговорил-то! ни дать, ни взять — грибоедовский Чацкий:

Кого я видел пред собою?
Французских кукол длинный ряд.
Они — не с русскою душою
И не по-русски говорят.

Потом — все там же, в первом монологе — Калитин так расхохотался, что стал посреди комнаты и обратился с речью к целой России:

Боже мой!
Проснись, России дивный гений, —
Проснись, и мощною рукой
Направь ты наше воспитанье,
Дай чистой правды свет познать
И, бросив иго подражанья,
Заставь себе нас подражать.

Эге-ге! человек недюжинный: каких материй касается... видно, Чацкий на александрийской сцене очень ему понравился. Что ж! это еще не беда; у Калитина впечатлительная натура, у него хорошая память, он сидел в первых рядах кресел и глотал каждое слово благородного Чацкого... Так, Калитин бранит общество, говорит о нашем жалком воспитании... Очень интересно знать, что́ будет он делать еще.

Ну, что, если, сохрани бог, он станет все отпускать ядовитые остроты да изливать желчь на очень ограниченного человека, своего приятеля Клиновского, которого он, потому что последнему вздумалось искренно влюбиться, считает круглым дурачком? Так и есть: опять эта скверная желчь, беззубые остроты, старые нападки на суетность женщин, громкие фразы... Досадно: Калитин повторяется, Калитин надувается нестерпимо, Калитин распустил хвост, Калитин во что бы то ни стало хочет удивить знанием света своего ограниченного приятеля. Он смотрит на него свысока, он считает себя Александровской колонной в сравнении с бедным Клиновским; он в душе даже презирает Клиновского, который с таким добродушием прибегает (на третьей странице) на выручку зарпортовавшегося философа и с кротостью говорит: *bon our, mon cher!** (Стр. 3.)

Клиновский признается своему желчному другу, что он влюбился в хорошенькую вдову, т. е. Кринецкую, и хочет на ней жениться. С каким презрением отозвался Калитин о женщинах, как отхлестал Кринецкую, эту французскую куклоку, которая хоть и блистает,

Зато и курит, и стреляет,
И ездит целый день верхом.

По уходе Клиновского, философ, покачав головой, с презрением произнес:

Смешон Клиновский мне! Чудак, в кого влюбился!
В кокетку страшную!.. А что виной тому?
Все воспитание!

Далось ему это словечко: с языка не сходит! Что станете делать с бедным Калитиным: если человек, например, шляпу себе на голову надел, он, наверное, с усмешкой скажет: все воспитание! увидит у кого-нибудь красивый кисет — все воспитание! сапог, положим, у вас жмет — виноват будет, конечно, не сапожник, а воспитание; влюбились вы — виновато не сердце, а воспитание. Нам почему-то кажется, что, если б, например, кто-нибудь от горячки умер, то Калитин, посмотрев на него мрачно, с негодованием произнес бы:

А что виной тому?
Все воспитание! Как жалок свет! везде мученья,
Везде и всем грозит беда!..

Да что он за господин такой? Не разумеет ли он — как это ни странно кажется с первого взгляда — под словом *воспитание* другого слова: *женщина*; и уж не ненавидит ли он этих женщин? Он не может не бранить их очень шибко, и все втак свысока.

* Здравствуй, мой милый! — *Ред.*

Образованья блеск спаружи,
И пустота, меж тем, в сердцах!
А в пансионах часто хуже:
Левиц там учат танцевать,
Болтать немного по-французски,
Неправильно писать по-русски,
Кой-что из бисера вязать!..
К чему такое воспитанье
Несчастных девушек ведет?

Ну, так и есть: Калитину, по всей вероятности, насолила какая-нибудь пансионерка, которая кой-что из бисера вязала: он и напустился на воспитание. Милосердный боже! как легко можно огорчить человека! Погиб Калитин, *достойный лучшей доли*, погиб ни за копейку, потерян навсегда для дамского общества! Как бы не так! Послушайте, чем разрешились все его ядовитые монологи, чем кончил карьеру этот глупейший из фразеров, пышный на слова, убогий на дело.

Приятель его Клиновский, который смотрит на Калитина чуть ли как не на гениального человека, знакомит его с г-жою Кринецкою, в которую он, Клиновский, влюблен. Вдовушка оказывается премилой особой: очень недурно стреляет из пистолета, верхом ездит порядочно, курит отлично и, с болтливостью светского ребенка, сама признается Калитину:

А если б знали вы, как я
Из пистолета в цель стреляю,
Иль на коньках катаюсь, я знаю,
Вы ужаснулись бы меня!

Что ж, вы думаете, Калитин осыпал упреками эту, по его выражению, *французскую куклу*? Нет, он оробел совершенно и едва слышно произнес:

Напротив, должен я признаться,
Что сожалею об одном:
Что не могу быть ездоком,
Чтоб с вами смело состязаться;
Что не могу, как вы, стрелять,
Коньков боюсь больше смерти;
Хотя и грустно мне, поверьте,
Но должен я от вас отстать.

Хотя он и скривил рот на манер сатирической улыбки, но, вместо желчи, упреков и негодования на воспитание, он запел тихо, слабо, как малиновка. Вдруг, точно кто-нибудь толкнул его под бок, Калитин опомнился, взъерошил волосы и, чтоб не ударить в грязь лицом, начал... о чем бы вы думали? о том, какие идеи русские матери развивают у своих взрослых дочерей,— словом, напал на свой конек, на воспитание... и как грозно — послушайте:

Какие в ней,
Гордясь любовью своей,
Она идеи развивает?

Она старается убить
У ней возвышенные чувства,
Она хлопочет в ней развить
Необходимое искусство —
Богатых женихов ловить!
И дочь, понявши наставленья,
Для них готова расточать
Свои улыбки, взоры, пенье,
Готова целый день бренчать,
Для полноты обвороженья!
Вот воспитание в домах!

Вероятно, приятель Клиновский, который сидел тут же (перед ним-то более всего и хотел щегольнуть Калитин), подумал: «фу, ты! голова-то, голова у моего друга Калитина! золотая головка... вот отхвата! так отхвата!»

И когда при прощании г-жа Кринецкая, как вежливая хозяйка, сказала неугомонному фразеру:

Надеюсь, не в последний раз
Вы у меня, хоть в наказание
За ваши колкости...

то наш Калитин, довольный собою, сухо отвечал:

О, я готов у вас
Всегда наказан быть... Прощайте.

Во втором действии «Силуэтов» г-жа Кринецкая сидит одна, в неглиже, и жалуется на то, что она очень устала. Еще бы не устать: танцует до упаду, папироски курит самым свирепым образом, да еще, подобно знаменитой тетушке несравненного Ивана Федоровича Шпоньки, в стрельбе упражняется. Вдруг входит Калитин. Кринецкая в восторге, забыла о своем неглиже и говорит ему нараспев, подкатив глазки:

Скажите,
Что вас давно так не видеть?

К а л и т и н.

Деревню в том вините,
Что я не мог у вас бывать.

К р и н е ц к а я.

Ну, как же вы там поживали?
Я думаю, что не скучали?

К а л и т и н.

Я полагал, зеленый луг,
Картины мирные природы
Мой усмирят мятежный (?) дух
И возвратят былые годы.
Но что ж? Журчание ручья,
Игра пастушеской свирели,
Шум листьев, пенье соловья
Мне через месяц надоели.

Криницкая замечает ему, отчего же он, философ, не полюбил деревенской поэзии, которая стоит того, чтоб ее полюбить? Отчего он живет трутнем, болтается между небом и землей? Отчего он, наконец, не исполнит хоть долга гражданина, как выражается Чичиков, т. е. хоть бы женился он, по крайней мере? Боже, как рассердился наш Калитин, как заревел он зверски на вдову! Он просто пришел в бешенство и крикнул на беззащитную женщину:

Вы деревенскою женою
Меня хотите наделить?
Нет! Лучше заживо зарыть
Себя, чем жертвовать собою,
Чем век безвыходно страдать
И, не делясь ни с кем душою,
Средь огородов прозябать!

Позвольте, г-н Калитин, позвольте, ну перестаньте же махать руками и раздувать ноздри, перестаньте: ведь вам тридцать первая весна пошла. Вы изволите говорить, что не желаете прозябать среди огородов; да дело в том, что в столице вы браните мишурный свет, в деревне — шум листьев и пенье соловья: чего же вы хотите, скажите на милость? Поверьте, с вашим дрянным фразерством, школьным озлоблением вы везде будете прозябать — и в деревне, и в столицах. В деревне вы на волос ничего не сделаете доброго, а в столице и подавно: десять лет проживете в Петербурге и ни разу не заглянете в императорскую публичную библиотеку, не выслушаете ни одного публичного курса хоть одной науки, не заглянете даже из любопытства в университет, а все будете толковать о просвещении да о воспитании и, попрежнему, *на диво черни простодушной*¹ (напр., Клиновского), станете обращаться к России со слезами на глазах:

Проснись, и мощною рукою
Направь ты наше воспитанье!

Эх, почтеннейший! что вы кривляетесь, надуваете себя и других! Лучше проснитесь прежде сами и поплачьте о себе, а потом уж о России. Ведь вы, сами того не знаете — гнилушка общества, — гнилушка, которая хочет стать на ходули. А вместо этого, как было б почтенно и благородно с вашей стороны (ведь вы же пылаете духом усовершенствования!), если б вы скромно, без шума занялись чем-нибудь да приохотили б к занятиям и к серьезным разговорам Клиновских, да не фразерствовали, не подымали нос кверху: тогда б на деле вы доказали ваши слова:

Я твердо верю, что любовь
На этом свете существует.

Вот из вашей школы и вышли б тогда хоть два-три порядочных человека, да вы четвертый. Общество, разумеется, вас не

заметило б; а все-таки стало б меньше четырьмя фразерами: и то слава богу. Конечно, автор ваш, г. Попов, считает вас как будто порядочным человеком; да от этого вам не легче: при таком фальшивом взгляде, при необдуманном желании повторять избитые фразы везде, вы будете прозябать, везде останетесь трутнем и лишним человеком в божьем мире.

Как вы думаете, читатель, чего собственно хочет Калитин? Вы не верьте его фразам о сем, о другом, о третьем: он желает только одного — отыскать себе супругу:

Которая бы поняла
Свое высокое значенье
И исключением была
Из нынешнего поколения! (Стр. 20.)

Ведь малого желает добрый Калитин! женщина, которая по сердцу, по душе была бы исключением из нынешнего поколения! И вообразите себе, он отыскал такую женщину: вдовушка Кринецкая, лихо разъезжающая на коньках, осчастливила философа и вышла за него замуж. И тот человек, который бранил модных львиц, презирал балы, театры, маскарад, с желчью отзывался о барышнях, кой-что вяжущих из бисера, нападал на распущенность нравов, женился на Кринецкой, стреляющей из пистолета! Вот уж подлинно: по Сеньке шапка.

Мы представляем себе следующую семейную картину: слуга за завтраком опоздал, положим, во-время подать следующее блюдо, и Калитин бросается на него с яростью:

А что виной тому!
Все воспитание! Как жалок свет! везде мученья,
Везде и всем грозит беда!

А вдовушка, прикинувшаяся под конец пьесы исключением из женщин нынешнего поколения, от скуки зарядит себе пистолет, да и бац, бац, бац! ну! хоть в дагерротип своего муженька, который, вероятно, висит в ее будуаре. Веселенький брак, нечего сказать...

Напрасно г. Попов не придал своей пьесе комического оттенка и вообразил, что Калитин достоин серьезного изображения. Напрасно; сюжет очень недурен, и если б все это представить в юмористическом виде, то вышло б больше оживления и правды.

Теперь вопрос: отчето г. Попов назвал свои сцены «Силуэтами»? Заглавие совершенно нейдет к делу. Не лучше ли было б, если бы г. Попов назвал свою пьесу: *Все воспитание! и вдова с пистолетом!!* По крайней мере это отвечало б основной идее и было бы под стать изящным заглавиям, которые мы привыкли встречать на афишах Александринского театра.

Разведение свекловицы и добывание свекловичного сахара по совершенно новым методам. Сочинение М. Веллера.
Москва. 1856.

Фабрикация стеариновых, маргариновых, прозрачных, солнечных, сальных и вообще всякого рода свечей. Мельнейера.
Москва. 1855.

Практика золочения и серебрения всех вообще металлов по новейшим открытиям. Составлено Шрейбером. Москва. 1855.

По поводу всех этих и множества подобных переводных книжек приходит нам непреодолимое желание повторить еще раз давнишнее замечание: что за охота издателям их компрометировать свои издания широковещательными заглавиями, когда издаваемые книжки сами по себе не дурны, как те, заглавия которых мы выписали? Соглашаемся, что к пустой и нелепой книжонке шарлатанское заглавие очень идет, даже необходимо ей, потому что она и издается только для заглавия, которое имеет целью обманывать неопытных покупателей. Но зачем шарлатанством портить вещь, быть может, недурную, быть может, даже хорошую? Ведь кажется, что это может только повредить ей. Укажем в пример хоть на первое из названных нами руководств. Написано оно с толком; переведено, положим, очень не изящно, но кому дело до изящества языка, когда речь идет о разведении свеклы и добывании сахара? Лишь бы только можно было понять смысл, — и довольно; а смысл в переводе соблюден. Кажется, в сущности дела дурного ничего нет: зачем же придавать ему подозрительную наружность, безобразя книжку таким заглавием:

«Разведение свекловицы и добывание свекловичного сахара по совершенно новым методам, помощью которых свекловично-сахарное производство доставляет большую выгоду и каждому земледову-домохозяину дает возможность, с простыми снарядами, готовить для себя потребное количество сахара».

Не явная ли нелепость это обещание дать каждому помещику возможность делать в год 15—20 пудов сахару для домашнего обихода? и какие могут быть указаны в книжке совершенно новые методы? — в книжке таких нелепостей не содержится. Ужели составители подобных заглавий не думают, что нелепое хвастовство отобьет у каждого мало-мальски неглупого человека охоту заглянуть в брошюру с таким шарлатанским заглавием? Кто поверит, что она может быть недурна? Берем другую, опять-таки недурную книжку:

«Фабрикация стеариновых, маргариновых, прозрачных, солнечных, сальных и вообще всякого рода свечей. Практическое, на новейших опытах основанное руководство готовить свечи, сообщать им необыкновенную белизну и яркость света по-

средством вновь изобретенных светилен, очищать сало до невозможной степени чистоты и устраивать свечные заводы по выгоднейшим планам».

У какого рассудительного хозяина будет охота заглянуть в книжку с таким подозрительным заглавием?

По нашему мнению, эти шарлатанства должны вредить успеху. Или издатели думают, что издавать книги у нас можно только для простаков, которых надобно и можно обманывать? Они ошибаются, и напрасно, вредя самим себе, вредят и вообще развитию у нас книжной торговли. Советуем им серьезнее подумать о том, что добросовестность есть не только хорошее качество в нравственном отношении, но и первое, необходимое основание всякого прочного успеха.

**Первое чтение и первые уроки для маленьких детей. Сочинение
А. Ишимовой. Часть I. СПб. 1856.**

Имя г-жи Ишимовой, как составительницы детских книг, давно уже приобрело у нас такую известность, что педагогический курс, ею теперь издаваемый, не нуждается в наших похвалах. Мы ограничимся только извещением о содержании первой части «Уроков для маленьких детей».

«Многие матери семейств, — так объясняет в предисловии г-жа Ишимова цель своего нового сочинения, — занимающиеся сами воспитанием детей своих, давно говорят с величайшею похвалою о сочинении французской писательницы, г-жи Тастю «L'education maternelle * и, сожалея, что у нас нет подобной книги, изъявляли не раз желание иметь, по крайней мере, перевод ее». Достоинство курса г-жи Тастю несомненно (продолжает г-жа Ишимова); но перевод его принес бы мало пользы нашим детям, потому что составительница обращает главное внимание на то, что нужно и интересно для французских детей, а не для русских. Потому г-жа Ишимова решила из своей книги «Чтение для детей первого возраста» составить такое руководство, которое, будучи применено к потребностям русского воспитания, с выгодною заменило бы для наших матерей-воспитательниц книгу г-жи Тастю.

В первой части, ныне изданной, заключаются уроки чтения, каллиграфии, нумерации и краткая священная история. Все это изложено в виде разговоров между матерью и детьми или в форме маленьких повестей, чтение которых, по мнению г-жи Ишимовой, будет завлекательно для детей. Разговоры и повести дают случай сообщить маленьким читателям первоначальные

* Материнское воспитание. — *Ред.*

понятия из естественных наук и пр. Все они проникнуты чистейшею нравственностью.

Издание книги, украшенной большим числом прекрасных виньеток, очень изящно.

**Новороссийский календарь на 1856 год, издаваемый от
Ришельевского лицея. Одесса. 1856.**

Состав «Новороссийского календаря на 1856 год» в главных чертах тот же, какой имело это издание за предыдущие годы. В первом отделении помещены месяцословы: православный, армянский, католический и реформатский, календари еврейский и мухаммеданский и некоторые другие календарные и астрономические таблицы; во втором «Российский императорский дом», хронологический список событий Новороссийского края и указатель замечательных предметов в городах этого края, статистические таблицы, новороссийский дорожник, расписание почт и проч.; в третьем новороссийский адрес-календарь.

По еврейскому счислению, наступивший (с 6 января) год есть 5616-й от сотворения мира; по мухаммеданскому — до 20 августа продолжается 1272, а с 20 августа начинается 1273 год гиджры.

В числе замечательных событий Новороссийского края за последние два года (кроме военных действий, хорошо известных каждому) показаны:

1854 год. Права одесского порто-франко продолжены на три года (т. е. по 15 августа 1857 г.). — Учрежден в Одессе комитет для призрения неимущих жителей города.

1855. Построены на счет пожертвований города Одессы телеграфические башни от Одессы до Очакова. Учреждена линия электрического телеграфа из Одессы до Москвы и Петербурга. — Закрит при Ришельевском лицее институт восточных языков, по случаю учреждения восточного факультета при С.-Петербургском университете.

Из «Новороссийского дорожника» заимствуем некоторые цифры, интересные для соображения пространств, по которым совершались в течение войны движения наших войск:

От Одессы до Балаклавы 514 верст; до Бахчисарая — 460; Евпатории — 492; Еникале — 641; Керчи — 630; Кишинева — 165; Николаева — 121; Очакова — 120; Перекопа — 327; Севастополя — 502; Симферополя — 430; Таганрога — 745; Херсона — 183; Феодосии — 535 верст.

От Херсона до Николаева 62 версты; Очакова — 115; Перекопа — 103; Севастополя — 319; Симферополя — 246 верст.

От Симферополя до Балаклавы — 83 версты; Бахчисарая — 30; Евпатории — 62; Еникале — 211; Керчи — 201; Кишинева — 595;

Николаева — 308; Перекопа — 133; Севастополя — 72; Таганрога — 625; Феодосии — 104 версты.

Одесса отстоит от Каменец-Подольска на 455 верст; Киева — 557; Полтавы — 463; Тифлиса — 1 694; Харькова — 660 верст.

Симферополь отстоит от Каменец-Подольска на 884 версты; Киева — 789; Полтавы — 626; Тифлиса — 1500; Харькова — 649 верст.

Из таблиц, показывающих цену иностранных монет, приводим следующие монеты, не показываемые в «Академическом месяцослове»:

Английские монеты: гиней — 6 р. 47 $\frac{1}{2}$ коп., соверен — 6 р. 26 $\frac{1}{2}$ к., крона — 1 р. 50 $\frac{1}{2}$ к., шиллинг — 30 $\frac{1}{12}$ коп. сер.

Неаполитанский скуди — 1 р. 24 коп., Папской области скуди — 1 р. 31 к. сер., сардинский скуди — 1 р. 22 к., сардинская лира 24 $\frac{1}{3}$ коп., тосканская лира — 20 к. сер., североамериканский доллар — 1 р. 31 $\frac{1}{2}$ коп. сер.

Записки Кавказского отдела императорского Русского географического общества. Книжка III, изданная под редакцию Е. Вердеревского. Тифлис. 1855.¹

Из трех статей, напечатанных в III книжке «Записок Кавказского отдела географического общества», именно: «О талышинцах» г. Росса, о «Тушино-пшаво-хевсурском округе» кн. Эристова и «Поездка в Вольную Сванетию» г. Бартоломея, каждая имеет капитальное достоинство, представляя много новых и важных материалов для этнографии Кавказского края. «Поездка в Вольную Сванетию» г. Бартоломея дошла до нас также в виде брошюры, отдельно перепечатанной из «Записок», и составляет предмет особой рецензии в этом же номере «Современника». Исследование о талышинцах г. Росса представляет, кроме краткого введения, краткую грамматику и сборник слов талышинского наречия — данные, интересные для науки, но не для большинства читателей; потому скажем о ней лишь несколько слов, обращая главное наше внимание на статью кн. Эристова, содержащую общеинтересное описание быта двух из числа племен, населяющих Тушино-пшаво-хевсурский округ, именно о пшавцах и хевсурах.

Округ, занимаемый этими малоизвестными народами, граничит на север с землями чеченцев, на восток с Дагестаном, на юг с Тифлиским уездом. Пшавцы и хевсуры говорят почти одним и тем же наречием грузинского языка, сохранив его старинные формы и слова, которые уцелели в книгах, но давно исчезли из разговорного языка нынешних грузин, которые потому едва могут или вовсе не могут понимать своих соотечественников. Язык пшавцев и хевсуров неоспоримо доказывает, что они вышли в

горы, которые теперь занимают, с юга, из Грузии, по всей вероятности, для того, чтобы уйти от турецких и персидских нашествий. Небольшой округ, ныне ими занимаемый (около 80 кв. миль), представляет все степени перехода от мертвого царства снегов на хребтах до знойного климата в лощинах, где растут миндальные и миртовые деревья.

Сохраняя смутные воспоминания о вере, которую вынесли из Грузии, хевсуры и пшавцы считают себя христианами и принимают как смертельную обиду, если кто назовет их нехристями; но догматы христианства уже совершенно затемнены у них грубым суевением и многобожием. Они почитают крест, апостолов Петра и Павла, Михаила архангела, но поклоняются своим языческим богам: богу востока, богу запада, богу душ, с тем вместе признают и Христа бога. Кроме того, есть у них дух земли, духи дубов, духи гор и т. д.; есть и богиня или покровительница людей Тамара (знаменитая грузинская царица). Многие молитвы их — христианские, только искаженные невежеством. Подобно армянам, они не едят заячьего мяса и, подобно мусульманам, свинины; как евреи, празднуют субботу, кроме того, уважают пятницу, как мусульмане, воскресенье, как христиане. В некоторых капищах есть кресты; но еще более народ уважает оправленную в серебро палку, обмотанную платком и украшенную серебряным шаром и железною пикою: это «дроша», род знамени. Дроша есть в каждом капище. Кроме того, каждое капище имеет медные котлы, в которых на праздники варят пиво; часто бывают и серебряные сосуды, иногда очень большой цены. Есть капища, имеющие серебра тысяч на двадцать рублей. Капище недоступно для народа: туда могут входить только жрецы. Кроме жрецов, есть у них колдуны, колдуньи и т. д. Одицавшие потомки грузин сохраняют воспоминания о времени великого поста, о празднике пасхи, но забыли смысл этих установлений. Они верят, что грозу посылает Элиа (пророк Илия), который ездит по небу на огненной колеснице, и просят его о ниспослании дождя; но есть у них для прекращения засухи и другое средство: «пахать дождь» — обряд, состоящий в том, что девушки запрягаются в плуг, стаскивают его в реку и волокут вдоль берега, идучи сами по пояс в воде. На масленицу они переряжаются и ходят по улицам в вывороченных шубах, прикрыв лицо войлоком, в виде маски. Кроме заговоров и колдовства, есть доступные каждому средства предохранить себя от той или другой болезни на целый год. Дело состоит только в том, чтобы победить ту или другую из перелетных птиц, то есть увидеть их в первый раз после весеннего прилета в требуемом положении, — например, если в первый раз увидишь удода, имея голову причесанную, то будешь целый год безопасен от головной боли. Когда услышишь первый весенний гром, надобно поскорее схватить камень и бить им себя по спине, приговаривая: «крепись, спина!» После того целый год не будешь чувствовать боли в пояснице.

Если увидишь первую весеннюю молнию, держа в зубах кусочек железа: не будут болеть зубы.

Праздники начинаются жертвоприношениями и молитвами; потом народ и жрецы принимаются пировать. Скот для мясных блюд пригоняется мирянами, другие съестные припасы доставляются на пир ими же; пиво отчасти также приносится ими, отчасти варится в самом капище назначенным к тому человеком — дастури. Обязанность дастури отправляется поочередно мирянами. Дастури целый год живет в капище, не может в течение этого времени ни разу навестить своего дома или видаться с женой, не смеет даже говорить ни с кем, кроме жрецов, чтобы не оскверниться. Пища его — только черствый хлеб с водою. Раз в неделю он должен, несмотря ни на какое время года, купаться в речке, к которой ходит особою тропкою; по этой тропе никто, кроме него, не смеет ходить.

У хевсур невеста обручается жениху еще в детстве, иногда в младенчестве. Брак совершается, когда ей исполнится двадцать лет: тогда посылаются от жениха сваты, которые пробираются к дому невесты тайком. Родители ее сначала отказывают сватам, потом делают пир, и невеста отправляется в дом жениха, который остается пока скрыт где-нибудь у соседа. За невестой приходят, поодиночке, ее родные. Потом приводят жениха, сажают его с невестой у огня, разведенного посредине комнаты, наблюдая, чтобы дым веял прямо в лицо обрученной чете. Жрец читает молитвы, ставит перед женихом и невестой кушанья и пиво, дает им по восковой свече. Они встают. Жрец иголкою прокалывает им концы одежды, потом опять читает молитвы. По окончании обряда молодые в течение двух недель чуждаются друг друга, даже не говорят между собою. Потом молодая отправляется на две недели в дом родителей. Только по возвращении ее оттуда к мужу, молодые начинают жить, как муж и жена. За стыд считается, если молодая родит до истечения трех лет со времени брака. Стыдом также считается мужу спать вместе с женою, кроме первых трех дней брачной жизни. У пшавцев брачные обряды менее многосложны.

У того и другого племени муж может прогнать от себя жену, когда ему вздумается. Ни ему, ни ей это не приносит бесчестья. Он тотчас же прискивает себе другую жену, а она — нового мужа. При чрезвычайной грубости нравов, жена — не более, как рабыня, хотя браки часто заключаются по любви. Обходиться с женою ласково или кротко — стыд для мужа. Но детей родители любят и балуют.

Беременная женщина старается, пока только может, скрывать беременность. Не только ей, но и мужу ее не позволено бывать на праздниках: оба они осквернены. Когда приближаются роды, она уходит, или, лучше сказать, ее выгоняют из дому, в шалаш, построенный на версту от деревни, и покидают совершенно.

одну, без всякого пособия. Если роды трудны, что узнается только по слишком сильным и продолжительным крикам родильницы, мужчины подкрадываются к шалашу и дают залп из ружей, чтоб испугать родильницу: испугом, по их мнению, роды облегчаются. На другой день после родов, приносят хлеб к ее шалашу, но в шалаш не входят. В этом одиночестве она проводит сорок дней, потом возвращается в деревню, но не домой: она и ребенок еще считаются нечистыми; они должны, для очищения, прожить две недели в особенном здании.

Когда замечают, что больной умирает, его немедленно вытаскивают из сакли на двор, чтобы мертвое тело не осквернило сакли. Для завывания и причитывания над мертвыми существуют особенные плакальщицы, которые неутомимо трудятся вместе с родственницами, производя в доме невыносимый гвалт и крик. На похоронах совершается тризна, с воинственными играми, скачкою и стрельбою в цель. После всех обрядов, присутствующие выкуривают по трубке махорки, за упокой души похороненного. Через пять недель и через год совершаются поминки, тем же порядком.

Хевсуры чрезвычайно грубы, надменны и считают себя храбрейшим народом в мире. Действительно, соседние непокорные чеченцы их боятся, и часто они совершают дела изумительной храбрости. Однажды, жители двух деревень, в числе 50 человек, отбились от нападения десяти тысячного полчища. В другой раз, 60 человек хевсуров три дня защищались от 5000 нападающих — и отбились. Верить ли этому? Но хотя бы то были только преувеличенные слухи, они выражают общее понятие о хевсурах. Пшавцы также славятся храбростью.

Дома горных хевсур и пшавцев построены из плитняка, без цемента, в два и три этажа. У других, живущих в долинах, хижины выстроены из бревен. Те и другие одинаково закопчены, загрязнены, наполнены чадом и насквозь пропитаны зловониями всевозможного рода, от людей и домашнего скота, живущего с людьми, так что поражают своею отвратительностью даже человека, привыкшего видеть образ жизни других закавказских туземцев.

Пища их столь же непривлекательна. Довольно сказать, что вонючее мясо предпочитают они свежему; что, зарезав скотину, они собирают кровь, дают ей свернуться и прокиснуть, потом варят и кушают.

Земледелие этих племен в самом жалком состоянии, отчасти потому, что во многих местах только небольшие клочки земли, между голых утесов и ущелий, удобны для хлебопашества; отчасти потому, что эти дикари очень ленивы. Мужчины только пашут. Все остальные работы должны исполнять женщины. Сенокосы вообще очень хороши; скотоводство довольно велико, особенно у пшавцев, между которыми встречаются зажиточные

люди. Деньги они зарывают в землю и ни в какие обороты не пускают.

Как бы ни был беден хевсур или пшавец, никогда он не просит милостыни. Гостеприимство у них в полнейшем развитии. Гостю не только подают все, что есть в доме лучшего, — хозяин стоит перед ним на коленях, потчует его, играя ему на пандуре, распевая песни для его развлечения. Гость, напившись и наевшись досыта, встает, сажает хозяина и сам начинает угощать его, прислуживать ему в свою очередь.

У того и другого племени существует обычай побратимства. Братающиеся скоблят в вино серебряную монету, оба три раза отпивают по одному глотку и после того готовы с радостью умереть друг за друга. Кроме побратимства, есть обычай меняться пулями с человеком вражеского племени, — и хевсур или пшавец скорее умрет, нежели согласится выстрелить в того, с кем поменялся пулями.

Кровомщение господствует между ними во всей силе.

Судьи — выборные общиною люди, по большей части старики. При судопроизводстве всегда бывают посторонние люди. Тяжущиеся излагают дело, становясь на колени. Решение судей ненаруσιμο. Затруднительные тяжбы решаются тем, что одному из тяжущихся велят присягнуть в истине своего показания. Наказания состоят в штрафах, величина которых точно определена обычаем.

Христианство начинает проникать к этим дикарям; правительством нашим построено уже несколько церквей в их стране. Основано даже в одном из их сел училище для 50 мальчиков.

Это краткое извлечение из статьи кн. Эристова может показать читателям, что она представляет довольно полный очерк быта и нравов хевсура-пшавского племени.

Статья г. Росса о талышинцах имеет, как мы сказали, характер совершенной специальности. Грамматика и словарь их наречия, которое до сих пор было совершенно неизвестно ученым, будут очень интересны для людей, изучающих диалекты персидского языка, и даже дают несколько любопытных фактов для филологов, занимающихся сравнительною грамматикою индоевропейских языков. Талышинцы, живущие отчасти в южной части Ленкоранского уезда, отчасти в прилежащем краю Персии, говорят диалектом персидского языка, сохранившим, сколько можно судить по представленным ныне образцам, довольно много старых форм и слов, уже исчезнувших из собственно так называемого персидского языка.

Из протоколов заседаний Кавказского отдела узнаем, между прочим, что Отделом приняты деятельные меры к составлению по одному общему плану кратких грамматических очерков и сборников слов по всем доступным для русских исследователей наречиям Кавказского края (редакция этих трудов возложена на

г. Берже) — дело, которое, без всякого сомнения, будет иметь большую цену для науки, если исполнение его хотя отчасти будет удовлетворительно. Кавказские наречия имеют очень большую важность не только для этнографии того края, но и вообще для науки языкознания.

К 1 июля 1855 года Кавказский отдел географического общества имел в своем составе 143 действительных члена и 11 членов-сотрудников, а всего, с почетными членами и находящимися на Кавказе членами Географического (Петербургского) общества, 167 членов.

По отчету, от 1 января по первое июля 1855 года, поступило в распоряжение Отдела 8312 руб. 20 коп. сер., из того числа израсходовано 7365 руб. 75 коп.; затем, к 1 июля 1855 года в кассе, с остаточными от прежних лет суммами, находилось 2074 руб. 8 коп.

В Приложении напечатаны ведомости о движении заграничной торговли Кавказского края за 1852, 1853 и 1854 годы. К статьям ученого отдела приложены подробные карты Ленкоранского уезда, Тушино-пшаво-хевсурского округа и Сванетии.

Поездка в Вольную Сванетию полковника Бартоломея в 1853 году. Тифлис. 1855.

Вольная Сванетия — небольшой участок земли, лежащий на склоне Эльбруса, — страна, до последнего времени совершенно бывшая неизвестною не только ученым, но и жителям окружающих областей. Первый из русских был в ней кутаисский вице-губернатор г. Колюбякин, в 1847 году. Он склонил некоторые общины вольных сванетов принять русское подданство, и после того был назначен туда пристав от русского правительства. Когда князь Микеладзе отправлялся на эту должность в июле 1853 г., Бартоломей, давно интересовавшийся неведомою страной, получил разрешение ехать вместе с ним, чтобы осмотреть Вольную Сванетию. Благодаря времени года они счастливо переехали через Латпарский перевал, служащий границею Вольной Сванетии, по безопасному летнему пути. Но этот путь доступен бывает только в продолжение двух летних месяцев: в остальное время года, трещины, его перерезывающие, наполняются хрупким, сыпучим снегом, сравнивающим пропасти с дорогою, и тогда проезд становится невозможным: на каждом шагу путник может погибнуть в пропасти. Когда устанавливается зима, открывается возможность переходить через хребет по другому пути; но этот зимний путь ведет через самый гребень горы, где почти постоянно свирепствует ветер, столь порывистый, что опрокидывает самых сильных людей и бросает их назад по крутому спуску обнаженной скалы. Этот путь так страшен, что только самые отважные туземцы, да и то изредка, решаются проходить здесь. Таким обра-

зом, в течение десяти месяцев года Вольная Сванетия отрезана от остального мира. Этого уже достаточно, чтобы понять, как мало сообщения имеет она с прилежащими землями.

Г. Бартоломей, при обзоре Вольной Сванетии, имел в виду преимущественно археологические разыскания: повсюду он осматривал старинные здания, бывшие некогда православными церквами, снимал рисунки с каждой замечательной утвари, сохранившейся от времен христианства, и проч.; но с тем вместе он подробно описывает местности, им виденные, снимает профили горных очертаний, обращает большое внимание и на нравы туземцев, еще столь мало известные.

Вольные сванеты, подобно хевсурам и пшавцам — одичалые переселенцы из Грузии; они также были некогда христианами и сохранили о прежней вере гораздо более точные воспоминания, нежели хевсуры. У сванетов еще не только уцелели здания церквей, но образа, церковная утварь и богослужебные книги, как сокровища, хранятся в этих обветшавших, но чрезвычайно уважаемых зданиях. Но у них уж давно нет духовенства. Конечно, первую причину этого надобно считать трудность сообщения, а вторую — постепенно возрастающую грубость нравов. Без наставлений духовенства, без советов людей грамотных, они забыли и догматы и обряды церкви, даже впали в бесчеловечные заблуждения: например, они убивали всех новорожденных своих дочерей; жены у них все украдены, куплены или взяты в плен у соседних племен. Теперь русские растолковали несчастным дикарям, что обычай убивать дочерей богопротивен, и сванеты оставили его. Вообще, эти дикари, столь грубые, должны иметь от природы расположение к чему-то лучшему, как скоро представляется им возможность к тому: некоторые из них сами приходили в соседние города креститься; две общины, самые значительные в Вольной Сванетии, из боязни не допускаявшие к себе русских, согласились принять г. Бартоломея, когда им было объяснено, что он не имеет против них злого умысла, встретили его очень радушно, сблизились с ним, очень рассудительно выслушали его совет принять, по примеру других общин, русское подданство — и, таким образом, мирный ученый приобрел своему отечеству 2500 новых подданных.

К описанию путешествия г. Бартоломея приложено много рисунков: видов церквей и сел, снимков с замечательных вещей и надписей, найденных им в церквах, и т. д.; кроме того, несколько чертежей горных хребтов и наконец подробная карта Сванетии. Ученый путешественник сообщает также сборник слов, примеры склонений и спряжений и молитву «Отче наш» на сванетском наречии, которое до сих пор было почти совершенно неизвестно.

Нет надобности объяснять, что подробное описание ученого обозрения столь малоизвестной страны, как Сванетия, должно иметь большой интерес для науки.

Некоторые замечания, почерпнутые преимущественно из иностранных источников, о действительных причинах гибели наполеоновых полчищ в 1812 году. И. П. Липранди. СПб. 1855.

Мы выписали не то заглавие, которое выставлено на обертке брошюры и повторяется на втором из заглавных листов ее, а только то, которое помещено на первом заглавном листе :: не выставлено на обертке; действительное же заглавие, напечатанное на обертке и втором листе, так многосложно, что займет еще вдвое больше строк. Вот оно:

«I. Не голод и не мороз были причиною гибели наполеоновых полчищ. II. Русские или французы зажгли Москву? III. Замечание на некоторые выражения, встречающиеся в «Описании Отечественной Войны 1812 года», с присовокуплением списка сочинений, вошедших в состав излагаемого предмета».

Из этого читатель может заключить, что г. Липранди не хочет следовать обыкновенным техническим приемам, употребляющимся в книжном деле: оглавление своей книги он печатает на обертке, заглавие прячет под обертку. И, действительно, слог его «замечаний», которые должны, собственно, быть обширным критическим разбором некоторых сторон истории 1812 года Михайловского-Данилевского, соответствует этому ожиданию; они носят более следов заботы о содержании, нежели о литературной форме. Но какое нам дело до слога ученого сочинения, если содержание по большей части дельно? а таково оно в книге г. Липранди.

Большая половина ее занята первою статьею, посвященную доказательствам той справедливой мысли, что холод и недостаток в съестных припасах были только второстепенными причинами гибели великой армии наполеоновой; главнейшими же причинами нашего торжества в 1812 году должны быть признаваемы твердая решимость императора Александра Благословенного, патриотизм народа, мужество наших армий и искусство полководцев. Никто из русских не сомневается в том; и если Михайловский-Данилевский, в своем «Описании Отечественной Войны 1812 года», иногда, по неосмотрительности, выражается об этом предмете без достаточной точности, то, сколько мы знаем, никто из читателей его истории не был введен в заблуждение этими неточными выражениями. Потому не делаем извлечений из первой статьи г. Липранди, тем более, что убедительность ей придается многочисленными, удачно выбранными и сличенными свидетельствами из всех важнейших иностранных историков 1812 года, и, при обширности статьи, обзор ее на двух-трех страницах был бы сух и недостаточен.

Гораздо запутаннейшим и темнейшим представляется для русской публики вопрос о том, русские или французы зажгли Москву. На русском языке не являлось еще исследования о нем столь

полного, проникательного и беспристрастного, как исследование г. Липранди, и мы, везде строго придерживаясь выражений г. Липранди, представляем полное изложение этой его статьи, более интересной для наших читателей, без сомнения, не нуждающихся в доказательствах того, что русский царь, русский народ и русские войска, а не исключительно только мороз и голод, победили французов в 1812 году, но, быть может, не имевших случая познакомиться с данными, служащими к решению вопроса о причинах московского пожара. Г. Липранди справедливо находит, что в этом случае изложение Михайловского-Данилевского очень неудовлетворительно, выводы его шатки и неосновательны. Этот историк «попеременно приписывает сожжение Москвы то французам, то патриотизму москвичей, стараясь при всяком случае внушить то главное, что тут не было никакого участия со стороны нашего правительства, и как бы оправдаться перед иностранцами, приписавшими истребление Москвы распоряжениям графа Ростопчина. Доводы автора в этом случае не только слабы, но и противоречат одни другим».

«Сжечь столичный город империи (говорит Михайловский-Данилевский) надлежало иметь главнокомандующему Москвы высочайшее повеление. Такового повеления дано не было». Но, — замечает г. Липранди, — не было дано высочайшего повеления и отдать Москву французам, а ее отдали. Подобных повелений не дают. Граф Ростопчин пользовался полным доверием императора; иначе он не дерзнул бы написать государю в одном донесении: «Я в отчаянии, что Кутузов скрывал от меня свое намерение (отдать Москву без боя), потому что я, не быв в состоянии удерживать город, зажег бы его»; а в другом: «До 30 августа князь Кутузов писал мне, что он будет сражаться. 1-го октября, когда я с ним виделся, он то же самое мне говорил, повторяя: и на улицах буду драться. Я оставил его в час пополудни. В восемь часов он прислал мне письмо, требуя полицейских офицеров для препровождения армии из города, оставляемого им, как он говорил, с крайним прискорбием. Если бы он сказал мне это за два дня прежде, то я зажег бы город, отправив из него жителей». — Ростопчин не решился бы говорить в донесениях государю: я зажег бы (продолжает г. Липранди), если бы не был удостоверен, что изъявляемая им патриотическая решимость не будет неприятною и неожиданно для государя. И высочайший манифест, изданный по случаю занятия французами Москвы, заключает многие выражения, дающие понимать, что сожжение Москвы вовсе не казалось чем-то особенным или чрезвычайным. При исчислении бедствий, постигших Россию от нашествия французов и занятия ими Москвы, их грабежей и буйств, в манифесте ни слова не упоминается о том, что они сожгли Москву, чего, конечно, не было бы упущено, если бы это было так действительно, а, напротив, делаются намеки, что событие это было предусмотрено и

подготовлено. Вот подлинные слова манифеста: «Москва вмещает в себе врагов Отечества своего, но неприятель не найдет в столице не только способов господствовать, ниже способов существовать». Эти доказательства очень убедительны. И слова Ростопчина и выражения манифеста доказывают решимость правительства. Ясно, что Ростопчин жалеет только о том, что скрытность Кутузова отняла у него время для систематических, всеобъемлющих приготовлений к зажжению города вдруг на всем пространстве и в тот же миг, как войска наши его покинули. Кутузов знал об этом намерении, потому что, по словам самого Михайловского-Данилевского, одною из причин, удержавших его от битвы на Поклонной горе, перед Москвою, было опасение, что, «в случае неудачи, зажженная в тылу нашем Москва будет гибельна для отступающих войск»; итак, он знал, что в случае, если Москву надобно будет уступить неприятелю, она будет зажжена. Итак, твердое намерение сжечь Москву существовало, и Ростопчин оправдывается перед государем только в том, что ему оставлено было слишком мало времени для приготовлений к этому. Какие же распоряжения успел он сделать? Сам Михайловский-Данилевский говорит: «Известясь, в восемь часов вечера, от князя Кутузова о намерении отступить от Москвы без сражения, граф Ростопчин велел разбивать бочки с вином, что делалось было во всю ночь и на следующее утро. Снимались караулы, уходили воинские, городские команды и полиция, а над Москвою носилось зарево бивачных огней». Спрашиваю (говорит г. Липранди), что должно заключать из этого рассказа? Снимаются караулы, уходит полиция (еще до выступления армии), и Ростопчин приказывает разбивать бочки с вином. Для чего это последнее? Конечно, для того, чтобы разгорячить простой народ и подготовить к тому наставлению и примеру, который подал Ростопчин, «приказав (по словам самого Михайловского-Данилевского), 2 сентября, в пять часов утра, одному следственному приставу отправиться на винный и мытный дворы, в комиссариат и на успевшие к выходу казенные и партикулярные барки и, в случае вступления неприятеля, истреблять все огнем». Что разбитие бочек произвело ожидаемое действие на чернь, г. Липранди сам видел и слышал, проезжая, в колонне Дохтурова, мимо нескольких кабаков. «Таковы были причины первых пожаров», заключает сам Михайловский-Данилевский. Какое же после этого остается сомнение в том, кто был первоначальным виновником сожжения Москвы? Но через несколько страниц, забывая о собственных словах, Михайловский-Данилевский ставит сожжение Москвы в вину французам и самому Наполеону, говоря: «Стараясь отклонить от себя нареkanie в пожаре, Наполеон учредил комиссию для суждения двадцати шести русских, коих французы называли зажигателями». Учреждение комиссии для прекращения поджогов г. Липранди находит очень естественным, «потому

что французы пришли искать в Москве приюта и продовольствия, а не дыму и пепла», о действиях же ее, признаваемых Михайловским-Данилевским несправедливыми, говорит: «В определении этой комиссии (о наказании найденных поджигателей), основанном на законах, с соблюдением всех форм, исчислены улики, представлено поличное, заключавшееся во множестве найденных горючих предметов, наконец собственное сознание пойманных на поджогах и показание, что им велено зажигать. Автор неизвестно на чем основывает уверение свое, что это сознание подсудимых выдуманно французами. Из двадцати шести человек подсудимых было десять полицейских солдат. Эта последняя цифра едва ли не должна иметь особенное значение при исследовании о причинах сожжения Москвы».

Бутурлин, издавший свою «Историю 1812 г.» при императоре Александре I (перевод этой книги был даже посвящен императору Николаю Павловичу), прямо говорит, что Москва была сожжена по распоряжению правительства: «Во многих домах приготовлены были сгораемые вещества, и по городу была рассеяна толпа наемных поджигателей, под управлением нескольких офицеров бывшей полиции московской, оставшихся там переодетыми. Толь великое, толь неслыханное пожертвование, каково было сожжение столицы, довольно показывало твердость российского правительства. А как Москва загорелась уже по входе в нее французов, то и не трудно было уверить народ, что неприятель зажег ее». Бутурлин был очевидец.

Если же Ростопчин, в изданной им французской брошюре, отказывался от участия в московском пожаре, то «он мог говорить это по требованию обстоятельств».

Ростопчин, совершив свой подвиг (говорит г. Липранди), как человек умный и истинный патриот, мог по окончании войны, по многим отношениям, а быть может и весьма уважительным причинам, стараться скрыть свое участие в зажжении Москвы. Жители ее, возвратясь на пепелища домов своих, в первое время по миновании опасности могли питать негодование к виновнику их разорения и бедствий, хотя бедствия эти потом с избытком вознаградились щедротами государя и последовавшими успехами нашего оружия. Эту последнюю причину отречения Ростопчина от своего подвига подтверждают его письма, напечатанные в собрании его сочинений.

Почему же Михайловский-Данилевский старался доказать, что правительство не имело участия в сожжении Москвы? — трудно найти удовлетворительную причину этому, говорит. г. Липранди:

Не думал ли он этим возвысить еще более народный русский патриотизм? Но тут-то он и ошибся. Мысль зажечь свой дом при оставлении его могут внушить страсти, вовсе чуждые патриотизму; но сжечь его, повинаясь общему распоряжению властей, есть подвиг истинного патриотизма. Послушное, самоотверженное исполнение распоряжений народом несравненно выше действий, к которым народ увлекается сам собою.

Третья статья г. Липранди заключает замечания относительно того, что Михайловский-Данилевский напрасно употребляет в столь серьезном труде, как «История 1812 года», неумеренные выражения, говоря, например, о Наполеоне, что он «обременен проклятием веков», «присутствием своим осквернил Москву, запятнал имя свое посрамлением», говоря: «мошеничество Наполеона» и пр., называя его маршалов его клеветами, корсиканскими выходцами и пр., называя его войска свирепствующими злодеями, извергами, осатанелыми и т. д. По справедливому мнению г. Липранди, надобно быть умеренным даже говоря и о враге.

Образцы и формы деловых актов и бумаг, или практическое наставление к составлению и написанию без помощи стряпчего векселей, и т. д. Две части. Москва. 1855.

Не отваживаемся выписывать вполне заглавие книги, которое заняло бы чуть не целую страницу. Читатели, которым есть надобность до подобных «наставлений», без сомнения, встретятся не раз с этим многоглаголивым заглавием в книгопродавческих объявлениях. Уведомим их только о том, чего, без сомнения, не будет досказано в объявлениях: две части составляют одну разгониисто напечатанную книгу, которая кажется довольно пухлою только благодаря толстоте бумаги, и вместо цены, означенной на обертке — 2 р. сер., могла бы, без убытка для издателя, продаваться и по 50 коп. сер.

Карманная почтовая книжка, или сборник почтовых постановлений, до всеобщего сведения относящихся. Издание почтового департамента. СПб. 1855.

Новое издание «Карманной почтовой книжки», напечатанной в 1849 году, исправленное и дополненное сообразно изменениям, происшедшим с того времени в почтовых постановлениях. Здесь помещены правила о приеме и выдаче корреспонденции простой, денежной, страховой и посылочной, об эстафетах, о городской почте, об иностранной корреспонденции, а в приложениях — таксы весового и страхового сбора, расписание городов, между которыми ходят почтовые экипажи, с местами для пассажиров, и правила, сюда относящиеся, также правила для проезжающих на почтовых лошадях, различные списки почтовых контор и почтовых отделений и проч.

К книжке приложены две почтовые карты: 1) Европейской и 2) Азиатской России.

Последние следы сэра Джона Франклина, с картою новейших открытий на севере. СПб. 1855.

О судьбе Франклина и об открытиях, сделанных экспедициями, отправленными на помощь ему, так много было писано в наших журналах, что мы должны ограничиться указанием на заглавие этой брошюры, составленной, как видно, человеком, знающим дело.

Элементарный способ решения вопросов относительно сопротивления материалов и устойчивости сооружений, с практическими примерами, чертежами и таблицами. Инженер-подполковника Беспалова. СПб. 1855.

Книжка г. Беспалова предназначена быть пособием не для архитекторов или подрядчиков, не привыкших к употреблению довольно сложных аналитических формул, а для инженеров, которые хорошо знакомы с математикою. В предисловии автор объясняет пользу своей памятной книжки так:

«Сущность предлагаемого мною способа состоит в том, что силы можно выразить пропорциональными им объемами геометрических тел, и тогда, в смысле статическом, моменты сил заменяются моментами объемов, а в смысле динамическом, — произведениями из объемов на пути, проходимые центрами тяжести последних».

При употреблении этого способа, большая часть вопросов, встречающихся в строительной практике, решается посредством элементарных математических действий, без помощи высшего анализа; и, действительно, г. Беспалов употребляет такие формулы, для понимания которых нужно только знание элементарной геометрии и тригонометрии.

**Похождения Чичикова, или Мертвые души, поэма Н. Гоголя.
Том первый. Издание третье. Москва. 1855.**

Новое издание первого тома «Мертвых душ» ни в чем не разнится с изданиями, сделанными при жизни Гоголя.

< ИЗ № 4 «СОВРЕМЕННОГО» >

**Стихотворения Ивана Никитина. Издал граф Д. Н. Толстой.
Воронеж. — СПб. 1856 — 7364¹.**

Когда-то у нас литературные репутации создавались и уничтожались журналами; когда-то были очень многочисленны люди того типа, который двумя-тремя словами очерчен в «Театральном развезде»:

— Ну, что́ ты скажешь о комедии, которую мы сейчас видели? — спрашивает один.

— Погоди; теперь еще нельзя говорить: посмотрим, что́ журналы скажут: тогда и узнаем, хороша ли комедия².

Ныне уж не та стала наша публика. Она судит и рядит, не дожидаясь мнения журналов, и часто подсмеивается над ними. Такая перемена невыгодна для критика, который из учителя публики сделался ныне только ее отголоском и часто может выиграть, если сделается ее учеником. А мы все-таки очень рады этой перемене. Слава богу, что публика наша научилась быть самостоятельна в литературных вопросах. Положим, если хотите, дела эти не имеют колоссальной важности, но все-таки хорошо быть самостоятельным и в этих делах. Да и для критика нынешнее скромное положение если не блистательно, зато безопасно: публика редко ошибается, и если будешь прислушиваться к ее мнению, не останешься в накладе.

Эта мысль пришла нам в голову вовсе не по поводу «Стихотворений» г. Никитина: по поводу их ничего особенно хорошего не может притти в голову (хотя издатель, граф Д. Н. Толстой, и написал к ним прекрасное предисловие). Но можно приложить и к «Стихотворениям» г. Никитина слова, которыми начинается наша статейка. И не только можно, даже должно: ведь надобно же сказать что-нибудь об этой книжке, о которой без того ровно нечего будет сказать.

Да, редко ошибается (если когда-нибудь ошибается) публика, и хорошо, когда она судит самостоятельно. Многие журналы рекомендовали ее особенному вниманию стихи г. Никитина, воображив, что открыли в нем поэта-простолюдина с самобытным и необыкновенным талантом. Публика прочла пьесы, о достоинстве которых с таким восторгом ей возвещали, и очень равнодушно сказала: «У г. Никитина есть искусство подбирать прекрасные рифмы и составлять звучные стихи; но поэтического таланта в нем не заметно. Не заметно также, по его стихотворениям, простолюдин он или дворянин, купец или помещик, но видно, что он начитался наших поэтов, стихи которых и переделывает в своих пьесах». Это общее мнение публики разделяли мы и когда-то его выразили, и — признаться ли? — пожалели потом, что, не смягчив наших слов какими-нибудь общими, ничего не говорящими похвалами, не оставили возможности понимать наше суждение так или иначе, как кому угодно. «Почему знать, что́ может случиться? — думали мы. — Ведь по десяти, пятнадцати слабым пьесам довольно трудно решить, что у человека, их написавшего, нет таланта, и что он вдруг, — не ныне, завтра, — не удивит нас какими-нибудь превосходными созданиями. А тогда и придется нам сознаться, что мы ошиблись». Но вот прошел год или два. Г. Никитин издал, или вернее сказать, граф Д. Н. Толстой издал целую книгу его стихотворений. Значит, г. Никитин считает

свои пьесы не какими-нибудь неудачными опытами, а произведениями хорошими, достойными своего таланта, — думает, что, написав их, уже совершил нечто такое, на чем может основать свою известность, или точнее сказать, так думает граф Д. Н. Толстой, издавший его стихотворения, а г. Никитин соглашается с мнением гр. Д. Н. Толстого, потому что иначе бы не дал ему разрешения издавать эту книгу. Прочли мы эту книгу — и улыбнулись над своими сомнениями в основательности и полной точности нашего прежнего суждения, и еще одним новым фактом увеличился длинный ряд случаев, убеждающих, что публика — очень тонкая и верная ценительница всяких, поэтических и не поэтических, дел.

Действительно, в целой книге г. Никитина нет ни одной пьесы, которая обнаруживала бы в авторе талант или, по крайней мере, поэтическое чувство. У него есть только умение писать стихи. Граф Д. Н. Толстой сознается, что г. Никитин — подражатель. Это еще не заставило бы нас отказать ему в таланте: человек с поэтическим дарованием может находиться под влиянием другого поэта, с более значительным или более развитым талантом. Но мало сказать, что г. Никитин подражает тому или другому нашему поэту: он просто переделывает различные пьесы различных авторов, — и как переделывает? так, что в его стихах не заметно ни малейшего поэтического инстинкта: нет ни мысли, ни чувства, ни даже соотношения между различными строфами одной и той же пьесы. И какие пьесы выбирает он для переделки? Не те, смысл которых был бы ему близок, затрогивал бы если не талант его (которого мы не имеем оснований предполагать), то, по крайней мере, его чувство или мысль. Нет, ему мало нужды до того, каково содержание пьесы: были бы в ней только звучные стихи, — он тотчас же напишет несколько куплетов, своею формою и словами похожих на эту пьесу, и думает, что эти куплеты, без всякого чувства, без всякой мысли или связи, составляют лирическое стихотворение. Понравится ему звучность стихов в пьесе Лермонтова «Три пальмы», он тотчас пишет:

В глубоком ущельи, меж каменных плит
Серебряный ключ одиноко звучит³,

и т. д.

Понравится звучность стихов в другой пьесе Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая нива», он опять пишет:

Когда закат прощальными лучами
Спокойных вод позолотит стекло⁴.

и т. д.

То же делает он с различными пьесами Пушкина и г. Тютчева, г. Щербины и Кольцова, г. Некрасова и г. Фета, г. Полонского и г. Огарева и вообще всякого поэта, лишь бы только звучность

стихов какой-нибудь пьесы какого-нибудь поэта показалась ему завидна. Вот, например, стихи, переделанные из г. Майкова:

Буря утихла. Грядой облака потянулись к востоку:
Грома глухие раскаты вдали замирать начинают...⁶

а вот из г. Тютчева:

Тихо ночь ложится
На вершины гор,
И луна глядится
В зеркала озер⁶,

и проч.

Вот опять г. Майков:

Оделось мраком поле. На темной лазури сверкает
Гряда облаков разноцветных. Бледнея, заря потухает⁷,

и т. д.

А эти стихи взяты из г. Щербины:

Вот здесь узнаю человека
В лице победителя волн,
И как-то отрадно мне думать,
Что я человеком рожден⁸.

Опыт подражания Пушкину («Я помню чудное мгновенье»):

Бывают светлые мгновенья⁹, и т. д.

О переделках из Кольцова мы и не говорим: их целые десятки. Пьеса, которая не была бы заимствована, в которой было бы хотя что-нибудь похожее на самостоятельность, нет ни одной во всех стихотворениях г. Никитина. Сам он не замечает в природе или жизни ничего, не чувствует ничего; но кто-нибудь напишет пьесу из русской жизни, и г. Никитин повторит ее; другой нарисует картину степи или гор — г. Никитин составит описание степи или гор; третий вдохновится произведениями греческой скульптуры — и г. Никитин напишет о художнике, как

Взглянул он на мрамор — и ярким огнем
Блеснули его вдохновенные очи.
И взял он его, и бессонные ночи
Над ним проводил он в своей мастерской.
И камень под творческой ожил рукой.
С тех пор в изумленьи, с восторгом немым
Толпа (воронежских жителей?) преклоняет колена пред ним¹⁰.

Иной напишет картину бури на море — и г. Никитин, живучи в Воронеже, тотчас же вдохновится тем, что

На западе солнце пылает,
Багряное море горит,
Корабль одинокий, как птица,
По влаге холодной скользит.

Сверкает струя за кормой.
Как крылья, шумят паруса,
Кругом неоглядное море,
И с морем слились небеса.
Беспечно веселую песню,
Задумавшись, кормчий поет,
А черная туча на юге,
Как дым от пожара, встает, и т. д.

Вот еще стихотворение, столь же глубоко прочувствованное:

ХУДОЖНИКУ

Я знаю час невыразимой муки,
Когда один, в сомнении немом,
Сложив крестом ослабившие руки,
Ты думаешь над мертвым полотном;
Когда ты кисть упрямую бросаешь
И, голову свою склонив на грудь,
Твоих идей невыразимый труд
И жалкое искусство проклинаешь.
Проходит гнев — и творческою силой
Твоя душа опять оживлена,
И, все забыв, с любовью терпеливой
Ты день и ночь сидишь близ полотна.
Окончен труд. Толпа тебя венчает,
И похвала вокруг его шумит,
И клевета, в смущении, молчит,
И все вокруг колени преклоняет.
А ты — бедняк! — понижнувши челом,
Стоишь один с тоскою подавленной,
Не находя в создании своем
Ни красоты, ни мысли воплощенной.

Это взято, конечно, прямо из южно-русской жизни, потому что, как нас уверяет граф Д. Н. Толстой в предисловии, очень хорошо написанном, «учителем Никитина была та широкая, степная природа, которая окружала колыбель его, и те общественные условия, которыми сопровождалось его детство». Признаемся, мы не знали до сих пор, что для воронежских жителей «условиями, сопровождающими детство», бывают корабли, колеблющиеся в гавани, морские бури, дружба с великими живописцами и созерцание дивных созданий ваяния. Итак, Воронеж есть Рим и вместе Неаполь.

Автор предисловия уверяет нас также, что «немного книг случилось читать» г. Никитину. Это, конечно, надобно понимать только сравнительно с числом книг, прочтенных, например, Шиллером или Гете; а говоря без сравнений, мы видим из стихотворений г. Никитина, что он человек довольно начитанный: не только Пушкин и Лермонтов очень хорошо знакомы ему, но и все другие наши поэты изучены им. А так как есть у него заимствования из пьес, которые были напечатаны только в журналах и не собраны еще авторами в отдельные книги, то нет

сомнения, что г. Никитин читает журналы и следит за нашею литературою вообще. Это прекрасно, и скрывать от публики такую похвальную черту не для чего. Жаль только, что начитанность не заменяет природного поэтического дарования, которого до сих пор не обнаружил г. Никитин, показав только, что умеет составлять из чужих стихотворений звучные стихи. Правда, издатель уверен, что г. Никитин имеет «описательное дарование»; но это потому, что издатель, быть может, не так твердо, как г. Никитин, изучил гг. Тютчева, Фета, Щербину, Майкова, Огарева и других наших поэтов, а также и Кольцова, потому и не мог принять в соображение, что не только каждая картина, но и каждая черта картины у г. Никитина в точности заимствована у того или другого из этих поэтов. Это уже дар образованности, а не природы. Издатель хвалит г. Никитина за то, что у него картины русской природы и жизни «списаны с натуры с удивительною верностью»; в той же самой степени отличаются верностью итальянской природе и жизни его пьесы итальянского содержания, выписанные нами выше. Это мозаики, составленные по книгам, а не с натуры.

Если у г. Никитина есть зародыш таланта — чему мы были бы очень рады, но чего не решаемся предполагать, видя, что он пишет стихи уже лет семь или восемь (под некоторыми его пьесами выставлен 1849 год) и все еще не выказал его ни одним стихотворением, вылившимся из души, а не пропетым без всякой мысли или чувства, в подражание различным чужим стихам — если б у него, действительно, был зародыш таланта, мы советовали бы г. Никитину, оставив на время сочинение стихов, ждать, пока жизнь разбудит в нем мысль и чувство, не вычитанное из книг и не заученное, а свое собственное, живое, от которого бьется сердце, а не только скрипит гусиное или стальное перо. Тогда и он, по мере своего таланта, будет поэтом, чего, впрочем, не отваживаемся надеяться: на всем, что написал он, лежит такая резкая печать совершенного отсутствия впечатлительности к чему-нибудь, кроме печатных рифмованных строк, что мы опасаемся, не принадлежит ли он по своей натуре к числу людей совершенно холодных и неспособных к поэзии.

Если опасение наше справедливо, то он не повредит таланту, которого не имеет, продолжая переделывать чужие стихотворения. Но это будет, как до сих пор было, делом совершенно бесплодным. Кому охота из пьес г. Никитина знакомиться с отрывками стихотворений Кольцова или г. Фета и других поэтов, давно знакомых каждому? Напротив, никому не может быть приятно читать, например, следующую «песню»:

Зашумела, разгулялась
В поле непогода;
Принакрылась белым снегом
Гладкая дорога.

Белым снегом принакрылась —
Не осталось следу;
Поднялася пыль и вьюга —
Не видать и свету.

Да удалому детине
Буря не забота:
Он проложит путь-дорогу,
Лишь была б охота.

Не страшна глухая полночь,
Дальний путь и вьюга,
Если молодца в свой терем
Ждет краса-подруга.

Уж как встретит она гостя
Утренней зарею,
Обоймет его стыдливо
Белою рукою,

Опустивши ясны очи,
Друга приголубит...
Вспыхнет он, и холод ночи
И весь свет забудет.

Или следующую пьесу:

В зеркало влаги холодной
Месяц спокойно глядит
И над землею безмолвной
Тихо плавает и горит.

Легкою дымкой тумана
Ясный одет небосклон;
Светлая грудь океана
Дышит, как будто сквозь сон.

Медленно, ровно качаясь,
В гавани спят корабли;
Берег, в воде отражаясь,
Смутно мелькает вдали.

Смолкла дневная тревога...
Полный торжественных дум,
Видит присутствие бога
В этом молчании ум¹¹.

Ведь эта пьеса пародия на г. Тютчева, а предыдущая — на Кольцова. Какая же надобность в подобных пародиях? А пьес много рода г. Никитин доселе не печатал еще ни одной. Гр. Д. Н. Толстой полагает, что, кто пишет так, как г. Никитин, должен быть признан замечательным поэтом: для нас очень прискорбно, что едва ли кто будет разделять его мнение, тем более жалею об этом, что мы сами желали бы разделять его: так оно прекрасно и умеренно высказано и такими благородными чувствами внушено¹².

Графиня Полина. Повесть Авдотьи Глинки. СПб. 1856.

Г-жа А. Глинка была известна в нашей литературе, как переводчица довольно многих пьес Шиллера, в том числе «Песни о колоколе». Долго нам не случалось слышать о ее новых литературных трудах. Мы думали, что почтенная писательница покинула перо — и вдруг... мы видим прекрасную «Графиню Полину», очаровательницу аристократических салонов, обязанную своим грациозным существованием г-же А. Глинке. Встреча столь же приятная, как и неожиданная. Сколько психологической мудрости, сколько прелестных светских выражений, или, по выражению почтенной повествовательницы, перл слога, рассыпано в этом простом и наставительном рассказе! Мы не помним, чтобы с тех отдаленных времен, когда мы наслаждались повестью почтенного С. Н. Глинки, нам удавалось читать что-нибудь столь отрадное и успокоительное для души. Но и в повестях самого Сергея Николаевича не находили мы такого тонкого знания обычаев и языка высшего общества! Истинно, мы, люди старого доброго времени, над которыми подсмеиваетесь вы, господа молодые люди, имели превосходных писателей, и благодарность, глубокая благодарность наша почтенной г-же А. Глинке, которая осталась верна литературным преданиям нашего века, сохранила палитру своего почтенного однофамильца и родственника и решилась показать нам, людям испорченного вкуса, как писали в златой век нашей литературы, — читайте и учитесь, молодые писатели! Как все просто и невинно, как все живо и верно в ее повести! Тут нет ухищренностей, которыми увлекаетесь вы, но зато и какая прелесть, какая примирительная грация!

«Легко и свободно впорхнула в Английский магазин молодая, блестящая графиня Полина» — так начинается повесть г-жи А. Глинки. В наряде этой графини «обнаруживалась артистическая утонченность: на ней было платье самого нежного цвета гри-де-лен, сверху донизу украшенное пуговицами из перл». Избалованная всеми родными и прикащиками английского магазина, блестящая графиня Полина была нетерпелива и капризна. Недовольная тем, что еще не готов ее браслет, она «закричала с визгливым порывом гнева: *Mon Dieu! quelle déception!*» * При этом визге, приподнял на графиню глаза «высокого роста молодой человек, серьезное лицо которого выражало ум и какую-то суровость. Он вдруг выпрямился и очень зорко и сурово окинул пышную красавицу с ног до головы иронически-холодным взглядом», и ушел из магазина. Вы понимаете, что Полина влюбилась в незнакомца, что он сначала будет пренебрегать ею, как девушкою пустою и капризною, что неразделенная любовь доведет Полину до дверей гроба, смирит и исправит ее, что незнакомец

* Боже мой! Какой обман! — Ред.

окажется князем, что, узнав о критическом положении Полины, лежащей одною ногою в гробу, о глубокой страсти ее, об исправлении ее от всех возможных недостатков, он вознаградит ее за раскаяние и любовь предложением своей руки с огромными поместьями: все это вы уже вперед знаете, даже знаете, что у князя есть соперник, комический злодей, камергер в парике, интригующий, чтобы отстранить возможность объяснения между Полиною и князем, а у Полины есть наперсница, Лиза, которая объясняет князю достоинства и страдания Полины, а Полине дает наставления и подает надежды, — все это вы знаете вперед, даже предчувствуете, как будут описаны чувства Полины, ожидающей жениха... нет! вы не угадали немного: отправляющейся с отцом в деревню к жениху, потому что не жених приезжает сватать ее, а пишет ее отцу: «приезжайте ко мне в деревню; я готов жениться на вашей дочери». Этого обстоятельства никто не мог бы предусмотреть; но все равно: ошибка читателя касается только второстепенного пункта, а главное он отгадал, — именно то, что чувства графини Полины, отправляющейся в деревню к жениху, описываются следующим образом:

Мы не последуем за графиней. Все возможные описания счастья не могут подойти под настоящее. Для того, что душа переживает в эти счастливые минуты, нет у человека слов. И одно ожидание встречи было для Полины, конечно, выше всех мелочных удовольствий света: это — развитие полной жизни. И мы оставляем нашим читателям дополнить воображением недосказанное нами.

Таким образом, содержание повести наперед известно читателю, едва он успел выслушать от нас, о чем рассказывается в ней на первых двух-трех страницах. Но что ж из того? Разве повесть теряет свой интерес? Нимало; ведь вся важность состоит в том, как развивается автором это содержание, каким прекрасным слогом написана повесть, какими красками рисуются лица, как ведутся разговоры, какие хитрости придумывают Лиза и старый камергер, — одна, чтоб устроить, другой — расстроить свадьбу. Вот что интересно для читателя. Мы удовлетворим его любопытству.

После встречи с незнакомцем, «Полине, без особенной причины, худо спалось. На другой день, черты лица ее повытянулись, около глаз были синеватые круги», ей скучно, она едет в «Изделья» — что это такое? — «Изделья»? — так называют Полина и камергер на своем элегантном языке магазин русских изделий — коварный камергер, чтоб заглушить в зародыше страсть Полины, сказал ей, что незнакомец, ее пленивший — «сиделец в Издельях» — Полина делает смотр сидельцам: незнакомца нет меж ними. Она с облегченною душою едет в английский магазин. Незнакомец уж там; он покупает табакерку. Ему предлагают на выбор две табакерки. Он пристально посмотрел на них и —

После нескольких минут молчания обратился к купцу и самым чистым французским языком спросил у него:

— Как вы находите, которая из двух табакерок лучше?

— Милостивый государь, это дело вкуса и моды; цена им равная.

— Дело не в цене теперь, — прибавил незнакомец: — а я желал бы, чтоб в подарках руководствовало чувство. Приятно было бы соединить и то и другое.

— Без сомнения, м. г. — Если табакерка для пожилой особы, мне кажется, эта казистее.

Незнакомец берет предпочитаемую купцом табакерку и уходит; а вы узнаете, во-первых, что надобно предоставлять выбор купцу, если хочешь руководствоваться чувством, а во-вторых, что на Французском языке вместо «красивее» говорится «казистее». Полина не узнала ничего о незнакомце и отправилась к Лизе, своей подруге, богатой и одинокой сироте, жившей «с англичанкой, для которой английский матрос был гораздо интересней русской княгини». Из этого вы опять узнаете неожиданную новость, что если девушка хорошего общества остается сиротою, то она живет одна, а не в семействе родственника, опекуна или одного из друзей ее покойного отца; узнаете также из слов об англичанке, что неуменье правильно выражаться может вести к странной двусмысленности... Это, впрочем, вы уже знали из выражения, что на другое утро после встречи с незнакомцем «черты лица Полины повытянулись, а около глаз были синеватые круги». Вообще, в выборе выражений писателю надобно быть так же осмотнительным, как был осмотрителен незнакомец в выборе табакерки: иначе, пожалуй, скажешь, вовсе того не желая, что-нибудь очень казистое. Однако оставим замечания и посмотрим, что делается с графинею. Она сидит у Лизы; подруги курят, «дают простор языкам» (опять обмолвка: это не значит, конечно, «сплетничают»). Полина везет Лизу к себе. Камергер уж сидит у графа. За обедом «Полину подмывало отмстить Мирскому» (так зовут камергера) за то, что он оклеветал незнакомца, и она отмстила, сказав «с напряжением»: «Вообразите, папа, Мирский выдумал, что я влюбилась в сидельца из «Русского изделия», — на что Мирский отвечал: «Когда ж я вам говорил такие глупости, графиня! Вы меня слишком обижаете!» Тут опять надобно заметить, что сидельцы не только «Русского изделия», но и мелочных лавочек не говорят так неправильно, как Полина, и так неучтиво, как Мирский. Впрочем, в большом свете все делается не так, как водится в обыкновенном обществе: например, девицы, входя в зал, делают хозяйке дома книксены, кажется, даже целуют после чаю ручку у хозяйки, прибавляя: «покорно благодарю-с», и вообще любят частичку «с»: «да-с», «вы так сказали-с», «вы, княгиня, авантажны-с»; да, надобно еще заметить, что девицы на языке высшего общества называются «барышнями», а дамы — «барынями». Молодые люди на балах высшего общества занимают барышень разго-

ворами о политических событиях во Франции и нравственной философией (см. стр. 58—65). Один из них, окруженный толпою барышень, спрашивающих, как он думает о маскарадах, даже говорит: «в маскарадах вкрадывается многое, о чем неприлично мне здесь говорить», и прибавляет, осматриваясь кругом: «здесь очень многие подурнели оттого, что оказался избыток в нарядах». Это говорит князь. Полине очень понравились его слова. Она также окинула взором лица окружающих (стр. 64). Утешительно слышать, что свобода обращения в высшем обществе простирается до такого наивного простодушия. Однако, если мы будем так продолжать, то никогда не кончим. Оставим же всякие замечания и пропустим все превосходные рассуждения князя о том, что девицам не следует читать романов, а надобно как можно более читать стихов, не следует носить на голове шу и употреблять слово шик, и о том, что барышни (дочери князей и графов) существа пустые, и т. д., и т. п. Эти рассуждения наполняют половину книжки. Пропустим даже описание удивительного литературного вечера у Лизы — все барышни и дамы приезжают на этот вечер с пальцами и сидят, вышивая по канве, а автор стоит вдалеке от них — пропуская все это, посмотрим на Полину, которая примеряет турецкий костюм, по совету Лизы. Она хочет ехать в маскарад, чтобы пленить князя.

С помощью Лизы и горничной, Полина стала одеваться. Лиза мигнула Полине, которая велела подать горничной все свои драгоценности. Они вынули богатый изумрудный убор с брильянтами, серьги, брошь. На голову надели род маленького тюрбана из пунцового бархата, перевитого нитками крупных брильянтов; с одной стороны укрепили белое перо с солитером. Руки, шея унизались ожерельями и браслетами.

И вот через несколько минут очутилась перед Лизой уже не графиня Полина, а драгоценная перла, во всей пышности красоты восточной. Любуясь ею, сказала она: «Вечером ты будешь еще лучше». Едва выговорила она эти слова и только что Полина, чтобы лучше себя увидеть и показаться, прошла по комнате, послышался за дверью какой-то свистящий шопот:

— Можно ли видеть графиню?.. Батюшка прислал меня за нею.

— Да кто тут и что надобно? спросила Лиза.

— Как же вы меня, княжна, не узнали? Я Мирский. Допустите, если можно.

— Впустить! — отвечала Полина небрежно. — Мирский вошел на цыпочках и остановился в дверях, с разинутым ртом и распростертыми руками. Он не опомнился, почти задохся, увидев это блестящее существо, гурию из магометова рая. Разглядев ближе, он стал на колени и восторженно закричал, сложив руки на груди и кланяясь по-турецки:

— Звезда Востока!.. Забылся!.. Пошадите, графиня!.. Непозволительно быть до такой степени прекрасной, очаровательной!! На что вам столько жертв?

Полина улыбнулась, а Лиза подумала: «того-то нам и надо!»

— Батюшка прислал меня к вам. Ему нужно об чем-то поговорить с вами.

— Как же я пойду, Лиза, в костюме? Это смешно!

— Почему же и не так, графиня? — сказал, вздыхая, Мирский. — И батюшка полюбуется вами, и мы воспользуемся: подоле поглядим на вас. Осчастливьте меня хоть теперь, ваше сиятельство!

Мирский надел перчатки. Полина молча подала ему руку, и они отправились через длинную анфиладу комнат к графу. Лиза смотрела ей вслед с восторгом. Полина в этом костюме казалась выше; голова ее грациозно наклонялась то на одну, то на другую сторону, когда они проходили мимо зеркала.

Какой удивительный тон! какой прелестный слог! Можно вообразить, каково описан самый маскарад, если приготовления к нему рассказаны так хорошо. Но повесть принимает патетический оборот: турецкий наряд и грациозно наклоняющаяся то в ту, то в другую сторону голова не подействовали на князя; он был холоден, и у Полины, тут же, в маскараде, начался припадок горячки... Наши нервы, расстроенные необычайным ароматом аристократических салонов с блестящими барышнями, не могут выносить этих трагических впечатлений, и мы закрываем повесть г-жи А. Глинки. Пусть любознательный читатель сам приобретет очаровательную «Графиню Полину»: она принесет много милых минут его душе, [быть может разделяющей суровые понятия князя о танцах и барышнях, —] мы можем только воскликнуть вместе с почтенною повествовательницею:

Вот это мирит! Как облагораживает, возвышает женщину истинный талант! Вот ее действительное призвание — действовать на душу и тем примирять нас со всем пошлым, со всем оскорбляющим, к несчастью, встречаемым так часто в обществе. Пойте мне чаще! Благодарю вас от души за последнее впечатление! (Стр. 94).

Вспомогательная книга для помещиков и сельских хозяев.
Соч. Крейсига. Перевел и дополнил примечаниями С. М. Усов.
Издание третье, вновь пересмотренное и дополненное. СПб. 1856.

Сочинение Крейсига написано преимущественно для северо-восточной Германии, которая по своему климату более, нежели какая-нибудь другая страна Западной Европы, похожа на среднюю и обширнейшую полосу Европейской России. Потому г. Усов считал его более полезным для наших хозяев, чем подобные сочинения, писанные для стран, климатические условия которых очень различны от наших. Успех перевода оправдал его ожидания: вскоре после первого издания, вышедшего в 1836 году, понадобилось второе. Теперь г. Усов полагает нужным сделать третье.

Главное достоинство крейсиговой книги то, что написана она очень просто и практично. Многие советы и наблюдения Крейсига вполне прилагаются к нашему быту. Но очень много есть у него и таких вещей, которые невозможны или излишни в нашем хозяйстве. Примечания г. Усова касаются некоторых — впрочем, немногих — из числа последних случаев и не могут быть названы достаточными для того, чтобы сделать «Вспомогательную

книгу» верною советницею нашим сельским хозяевам. Кроме того, нам кажется, что, издавая книгу, составленную слишком за двадцать лет (1832), надобно было бы прибавить к прежнему тексту замечания о тех успехах, какие сделаны в течение этого времени практическим сельским хозяйством.

Беседы о сельском хозяйстве, профессора императорского Московского университета Ярослава Линовского. Скотоводство и шелководство. Москва. 1855.

Книга эта служит продолжением прекрасных «Бесед» Линовского о сельском хозяйстве, которые были изданы в 1845 году и, в двух частях, содержали учение о земледелии.

Линовский, умерший так рано, был замечательным ученым, и едва ли кто заменил его до сих пор. Он превосходно изучил на месте все отрасли сельского хозяйства в тех странах Западной Европы, где оно достигло наибольшего развития. Так же хорошо изучил он и наше русское [сельское] хозяйство; будучи одарен умом обширным и практическим, он превосходно понимал, какие улучшения у нас возможны и нужны, по условиям нашего быта, наших почв и климатов. «Беседы» его, изданные прежде, оценены всеми, как превосходная книга по богатству сведений, верности понятий и прекрасному изложению. Такова же напечатанная теперь новая часть их. Мы желали бы, для пользы нашего сельского хозяйства, чтобы скорее изданы были и другие сочинения Линовского, если после него осталось еще что-нибудь, кроме напечатанного ныне трактата о скотоводстве и земледелии, который смело рекомендуем вниманию всех занимающихся этими отраслями сельского хозяйства.

О производительных силах России, сочинение тайного советника, члена государственного совета Л. В. Тенгоборского. Части 2-й выпуск 1-й. Перевод И. В. Вернадского. Москва. 1855.

Когда вышла первая часть известной книги г. Тенгоборского в русском переводе, «Современник» говорил о ней подробно, и мы теперь не имеем нужды повторять того, что уже сказано было в нашем журнале. Заметим только, что по своему содержанию вторая часть представляет еще более интереса, нежели первая, излагавшая материальные средства, которыми располагает деятельность русского народа: во второй части дело идет о том, каковы условия быта, при которых население нашего отечества пользуется этими данными ему природою страны средствами, и на какой степени развития стоят различные отрасли народной промышленности.

Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. Часть третья. СПб. 1856.

Говоря о первых двух частях прекрасного труда кн. Долгорукова, мы подробно излагали его цель, план и пользу, какую получит от него наша история¹. Третья часть, вышедшая теперь в свет, содержит «четвертую главу третьей книги» — одну из самых обширных в целом сборнике, заключающую родословные «фамилий, имеющих иностранные почетные титулы», — именно родословные грузинских, татарских, польских и проч. князей и польских, остзейских и западноевропейских маркизов, графов и баронов. Всех иностранных княжеских родов кн. Долгоруков исчисляет 49, маркизский род — 1 (де-Траверсе), графских — 86, баронских — 84, кроме того, 82 отрасли различных титулованных родов, имеющих только дворянское достоинство, но не получивших или утративших титул, которым пользуются их однофамильцы.

Кабинет магика, или шестьдесят опытов натуральной магии, и пр., составила М. Ж. СПб. 1855.

Составительница книжки «посвятила ее удовольствию юношества», то есть детей 7—10 лет. Посмотрим же, чему научатся дети из миниатюрной книжки г-жи М. Ж. Вот, для примера, 60-й и последний фокус:

Приносите в общество стеклянную трубочку, до полна налитую красноватою жидкостью, состав коей мы объясним далее. Затем просите девицу взять трубочку за нижнюю часть ее левой рукой, которая гораздо ближе к сердцу, чем правая. А сами держите ее за верх. Потом просите всех мужчин по очереди подходить и касаться до трубочки, говоря, что прикосновение человека, к которому девица равнодушна, не произведет ничего; но лишь только дотронется до трубочки человек, не совсем лишний для нее, жидкость, заключающаяся в трубочке, начнет шипеть и пеною выходить наружу.

Вот состав жидкости: в новый глиняный горшок положи и перемешай: 2 лота фернамбуковых опилок, 2 лота квасцов. На них налей четверть бутылки винного уксуса, потом вскипяти это на малом огне.

Способ, чтоб жидкость зашипела, есть следующий: в руке вашей вы держите щепотку поташу; как скоро дотронется до трубки человек, которого хотите вы компрометировать вместе с девицей, вы опускаете щепотку в верхнее отверстие трубочки, отчего жидкость запенится.

Доброму делу, как видите, учит детей г-жа М. Ж. — «компрометировать мужчин вместе с девицами». Очень хорошо.

Очерки сибиряка. СПб. 1856.

О первом выпуске «Очерков сибиряка» мы довольно подробно говорили в прошлой книжке «Современника». На этот раз распространяться не будем. Скажем только одно: второй выпуск написан уже не стихами, а прозою. Неизвестный сочинитель

рассказывает теперь какие-то *богатырские поэмы*, которые так же мало характеризуют Сибирь, как и его *Девичий сон под Новый год*. Но для того, чтобы что-нибудь напоминало более о Сибири, автор нарядил своего богатыря Белого Уклада в теплую шубу.

Врачебно-комнатная гимнастика. Соч. доктора Шребера. С со- рока пятью ксилографическими изображениями. Москва. 1856.

Если следовать совету почтенного доктора, издавшего свою книжечку в Лейпциге и ныне переведенную на русский язык, то придется с раннего утра до поздней ночи поднимать руки в сторону, кружить ногами, поворачивать туловище, приседать, махать руками и, кроме этого, ничего больше не делать. Если у вас будет другое какое-нибудь занятие, кроме приседания, то вы должны немедленно его бросить, чтоб хватило времени в точности исполнить все предписанное. Этого мало: вам даже недостатнет времени, когда пообедать, и вы должны то спину гнуть кругообразно, то бедерные мускулы напрягать, то приседать, как советует автор, 24 раза вверх и назад, то махать, стоя на одной ноге, не менее 300 раз руками туда и сюда. Трудновато! и все это для того, чтоб *пополнить некоторую сумму общего движения и вступить в круг деятельности*.

Относительно женского пола автор снисходительнее и строго воспрещает им двигать пилою 30 раз, также не позволяет им поднимать колени вперед и переступать через палку; но переминаться на одном месте они могут 100, 150 и 200 раз. Автор большой любезник с дамами, и советует им, в виде поправления здоровья, поднимать плечики, толкать руками вперед, но тут же делает «NB: поднимать ноги в сторону 6, 10 и 16 раз — *женщинами не исполняется*».

Вообще довольно забавно видеть, до какой степени иногда человек может увлечься какой-нибудь *idée fixe* *. Так, например, почтенный доктор Шребер говорит, что нужно с четырехлетнего возраста заниматься гимнастикой и мальчикам и девочкам, и что отец, мать, учитель и гувернер (желая удостовериться, что дети правильно исполняют эти движения) должны сами делать движения для примера: «иначе, — говорит автор, — дети этим делом пренебрегают, и оно скоро запускается или теряется в бесполезных старых обыкновениях» (стр. 104). Наконец, ученый автор до того увлекается своей наукой, что даже не щадит и седовласой старости. «И старость, — говорит он, — имеет нужду в движениях. Только тот сохраняет свои двигательные силы (следовательно, важнейшего деятеля всего жизненного процесса), кто прилично ими пользуется». Затем автор нападает и на бедных старых свыше шестидесятилетнего возраста (кажется, их

* Навязчивая идея. — Ред.

можно было бы пощадить) и советует им переминаться на одном месте 150 раз, вертеть ногами 20, наклонять туловище вперед и назад 15, а приседать всего 16 раз. Слава богу, что он хоть не предписывает им ударять топором и поднимать колени вперед, как это советует другим особам до шестидесятилетнего возраста включительно.

Автор до того возводит свою науку в перл создания, что о других телесных движениях отзывается с горечью: о верховой езде, фехтовании, о работах в саду и других сильных упражнениях. С его стороны очень большая уступка, что он позволяет ходить людям, хотя он тут же ядовито замечает, что «это средство слишком односторонно и недостаточно».

Судоходство по Шельде. Историко-юридическое исследование А. Наумова. Москва. 1856.

Об основных началах, которые должны руководить законами, относящимися к судоходству по рекам, протекающим через владения нескольких держав, г. Наумов имеет понятия справедливые: это видим из прочитанного нами введения. Изложение его хорошо, сколько можем судить по этим и немногим другим прочитанным нами страницам. — Этим и должно ограничиться наше суждение о его книге. Мы знаем, что такое суждение недостаточно: оно не касается главного пункта — каково ученое достоинство исследования г. Наумова; но зачем и касаться нам этого пункта, если содержание книги нимало нас не касается? Пусть судят о нем бельгийцы и голландцы; а нам какое дело до истории трактатов о том, имеют ли право голландцы блокировать устья бельгийской реки Шельды? Если исследование об этом написано г. Наумовым хорошо, русская ученая литература ничего не выигрывает от его книги. Во всей области народного права трудно было бы найти предмет, исследование которого представляло бы так мало интереса для русского ученого, как вопрос о том, свободны ли или заперты были, суть и будут устья Шельды. Не знаем, от автора ли зависел выбор предмета; но выбор этот очень странен.

<ИЗ № 5 «СОВРЕМЕННОГО»>

Стихотеория Кольцова. С портретом автора, его факсимиле и статью о его жизни и сочинениях, писанную В. Белинским. Москва. 1856 г.

К числу утешительных литературных событий, которыми богато последнее время, принадлежит и новое издание «Стихотворений Кольцова с портретом автора... и проч.»¹.

Оно перепечатано с прежнего без всяких прибавлений или опущений².

Что́ нового можем сказать мы о Кольцове? Жизнь его превосходно рассказана в предисловии, которое написано его другом; она дивно рассказана и самим Кольцовым в пьесе «Расчет с жизнью», посвященной этому другу, В. Г. Белинскому:

Жизнь, зачем ты собой
Обольщаешь меня?
Почти век я прожил,
Никого не любя.

В душе страсти огонь
Разгорался не раз;
Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.

Моя юность цвела
Под туманом густым, —
И что ждало меня,
Я не видел за ним.

Только тешилась мной
Злая ведьма-судьба;
Только силу мою
Сокрушила борьба;

Только зимней порой
Меня холод знобил;
Только волос седой
Мои кудри развил;

Да румянец лица
Печаль рано сожгла,
Да морщины на нем
Ядом слез провела.

Жизнь! Зачем же собой
Обольщаешь меня?
Если б силу бог дал,
Я разбил бы тебя!

В биографии недостает подробностей о последних месяцах жизни Кольцова, проведенных в Воронеже. Обязанность пополнить этот пробел в биографии и вообще сообщить нам подробнейшие воспоминания о жизни Кольцова лежит на его воронежских друзьях. Из них назовем бывшего воспитанника Московского университета А. И. Малышева, сына того доктора, который лечил Кольцова во время его болезни, ухаживал за ним, как за своим сыном.

Или мы должны представить характеристику произведений Кольцова, оценку его произведений? Это опять уже сделано Белинским, и напрасно было бы желание сказать что-нибудь более

полное и верное. Мы не можем сделать ничего лучшего, как представить несколько отрывков из его превосходной статьи.

Кольцов родился для поэзии, которую он создал. Он был сыном народа в полном значении этого слова. Быт, среди которого он воспитался и вырос, был тот же крестьянский быт, хотя несколько и выше его. Кольцов вырос среди степей и мужиков. Он не для фразы, не для красного словца, не воображением, не мечтою, а душою, сердцем, кровью любил русскую природу и все хорошее и прекрасное, что, как зародыш, как возможность, живет в натуре русского селянина. Не на словах, а на деле сочувствовал он простому народу в его горестях, радостях и наслаждениях. Он знал его быт, его нужды, горе и радость, прозу и поэзию его жизни, — знал их не понаслышке, не из книг, не через изучение, а потому, что сам, и по своей натуре, и по своему положению, был вполне русский человек. Он носил в себе все элементы русского духа, в особенности — страшную силу в страдании и в наслаждении, способность бешено предаваться и печали, и веселию, и, вместо того, чтобы падать под бременем самого отчаяния, способность находить в нем какое-то буйное, удалое, размашистое упоение, а если уже пасть, то спокойно, с полным сознанием своего падения, не прибегая к ложным утешениям, не ища спасения в том, чего не нужно было ему в его лучшие дни. В одной из своих песен он жалуется, что у него нет воли,

Чтоб в чужой стороне
На людей поглядеть;
Чтоб порой пред бедой
За себя постоять;
Под грозой роковой
Назад шагу не дать,
И чтоб с горем в пиру
Быть с веселым лицом;
На погибель итти —
Песни петь соловьем.

Нет, в том не могло не быть такой воли, кто в столь мощных образах мог выразить тоску по такой воле...

Нельзя было теснее слить своей жизни с жизнью народа, как это само собою сделалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спелым колосом, и на чужую ниву смотрел он с любовью крестьянина, который смотрит на свое поле, орошенное его собственным потом. Кольцов не был земледельцем; но урожай был для него светлым праздником: прочтите его «Песню пахаря» и «Урожай». Сколько сочувствия к крестьянскому быту в его «Крестьянской пирушке» и в песне:

Что ты спишь, мужичок!
Ведь уж лето прошло,
Ведь уж осень на двор
Через прясло глядит;
Вслед за нею зима
В теплой шубе идет,
Путь снежком порошит,
Под санями хрустит.
Все соседи на них
Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют!

Кольцов знал и любил крестьянский быт так, как он есть на самом деле, не украшая и не поэтизируя его. Поэзию этого быта нашел он в самом этом быте, а не в реторике, не в пиитике, не в мечте, даже не в фантазии своей,

которая давала ему только образы для выражения уже данного ему действительностью содержания. И потому в его песни смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи, — и вся эта грязь превратилась у него в чистое золото поэзии. Любовь играет в его песнях большую, но далеко не исключительную роль: нет, в них вошли и другие, может быть, еще более общие элементы, из которых складывается русский простонародный быт. Мотив многих его песен составляет то нужда и бедность, то борьба из-за копейки, то прожитое счастье, то жалобы на судьбу-мачеху. В одной песне крестьянин садится за стол, чтобы подумать, как ему жить одному; в другой выражено раздумье крестьянина, на что ему решиться — жить ли в чужих людях, или дома браниться с стариком-отцом, рассказывать ребятишкам сказки, богатеть, стареться. Так, говорит он, хоть оно и не тово, но уж так бы и быть, да кто пойдет за нищего? «Где избыток мой зарыт лежит?» И это раздумье разрешается в саркастическую русскую иронию:

Куда глянешь — всюду наша степь;
На горах — леса, сады, дома;
На дне моря — груды золота;
Облака идут — наряд несут!..

Но если где идет дело о горе и отчаянии русского человека, там поэзия Кольцова доходит до высокого, там обнаруживает она страшную силу выражения, поразительное могущество образов.

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку;
Мучит душу мука смертная,
Вон из тела душа просится.

И какая же вместе с тем сила духа и воли в самом отчаянии:

В ночь, под бурей, я коня седлал,
Без дороги в путь отправился —
Горе мыкать, жизнью тешиться,
С алою долей переведаться...

И после этой песни, «Измена суженой», прочтите песню: «Ах, зачем меня» — какая разница! Там буря отчаяния сильной мужской души, мощно опирающейся на самое себя; здесь грустное воркование горлицы, глубокая, раздирающая душу жалоба нежной женской души, осужденной на безвыходное страдание...

Когда форма есть выражение содержания, она связана с ним так тесно, что отделить ее от содержания значит уничтожить самое содержание; и наоборот: отделить содержание от формы значит уничтожить форму. Эта живая связь, или, лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи с формой и формы с идеею бывает достоянием только одной гениальности. Простой талант всегда опирается или преимущественно на содержание, и тогда его произведения недолговечны со стороны формы, или преимущественно блистает формою, и тогда его произведения эфемерны со стороны содержания; но главное, и в том и в другом случае, богатые мыслию или щеголяющие внешнею красотою, они лишены оригинальности формы, свидетельствующей о самобытности мысли. Здесь-то всего яснее и открывается, что обыкновенный талант основан на способности подражания, на способности увлечения образами, — и в этом заключается причина недолговечности, а чаще всего и эфемерности таланта. И потому оригинальность есть не случайное, но необходимое свойство гениальности, есть черта, которая отделяет гениальность от простой талантливости или даровитости. Но эта оригинальность, прежде всего поражающая читателя в языке поэта, не должна быть искусственною или изысканною: тогда она увлекает только на минуту и потом тем более делается предметом осмеяния и презрения, чем больше сперва имела успеха.

Поэт должен быть оригинален, сам не зная, как, и если должен о чем-нибудь заботиться, так это не об оригинальности, а об истине выражения: оригинальность придет сама собой, если в таланте его есть гениальность. Истинная оригинальность в изобретении, а следовательно и в форме, возможна только при верности действительности и истине.

Кольцов никогда не проговаривается против народности, ни в чувстве, ни в выражении. Чувство его всегда глубоко, сильно, мощно и никогда не впадает в сентиментальность, даже и там, где оно становится нежным и трогательным. В выражении он также верен русскому духу. Даже в слабых его песнях никогда не найдется фальшивого русского выражения; но лучшие его песни представляют собою изумительное богатство самых роскошных, самых оригинальных образов в высшей степени русской поэзии. С этой стороны, язык его столько же удивителен, сколько и неподражаем. Где, у кого, кроме Кольцова, найдете вы такие обороты, выражения и образы, какими, например, усыпаны, так сказать, две песни Лихача-Кудрявича? У кого, кроме Кольцова, можно встретить такие стихи:

Грудь белая волнуется,
Что реченька глубокая —
Песку со дна не выкинет.
В лице огонь, в глазах туман...
Сверкает степь, горит заря...

На гумне — ни снопа,
В закромах — ни зерна,
На дворе, по траве,
Хоть шаром покати.

Из клеток домовой
Сор метлою посмел
И лошадок, за долг,
По соседям развел.

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

Не держи ж, пусти, дай волюшку
Там опять мне жить, где хочется,
Без таланта — где таланится,
Молодым кудрям счастливится?

Отчего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?

Мы не выбирали этих отрывков, но брали, что прежде попадалось на глаза. Выписывать все хорошее значило бы большую часть пьес Кольцова в одной и той же книге напечатать вдвойне.

Мы не говорим уже о неподражаемом превосходстве собственно лирических песен — талант Кольцова был по преимуществу лирический; но не можем не указать на повествовательный характер пьес: «Измена суженой», «Деревенская беда», «Бегство», обе песни Лихача-Кудрявича и на страстно-драматический характер пьес: «Хуторок» и «Ночь».

Из написанного о Кольцове заметим еще статью покойного В. Майкова (брат поэта), помещенную в двух последних книжках

«Отечественных записок» за 1846 год. Она направлена, повидимому, против статьи Белинского, но в сущности представляет развитие мыслей, высказанных Белинским, и некоторые места в ней прекрасны.

Вообще, скажем мы, по энергии лиризма с Кольцовым из наших поэтов равняется только Лермонтов; по совершенной самобытности Кольцов может быть сравнен только с Гоголем.

Искусство продлить человеческую жизнь (Макробиотика).
Сочинение **Х. В. Гуфеланда.** Перевел и дополнил **П. Заблоцкий.**
Издание третье. СПб. 1856.

Классическое творение Гуфеланда имеет у нас успех, которого достойно. В четыре года три издания! Едва ли это не единственный пример в новейшей нашей литературе. Дай бог только, чтобы пример г. П. Заблоцкого внушил и другим нашим ученым желание испытать, может ли у нас вознаграждаться труд, употребленный на перевод классических произведений европейской науки и по другим отраслям, кроме медицины и естественных наук. Медицинская наша литература, сравнительно с литературою всеобщей истории, нравственных и государственных наук, довольно богата. Если публика, имея книгу доктора Чаруковского и многие другие хорошие популярные сочинения о медицине и гигиене, требует третьего и, конечно, потребует четвертого издания книги Гуфеланда, то ужели она оставила бы в подвалах книжных магазинов творения великих европейских историков, юристов, политико-экономов, и проч., и проч., эти знаменитые сочинения, которых содержание имеет еще гораздо более интереса, нежели могут иметь медицинские книги? Ужели наша публика оставила бы без внимания, например, классические сочинения по всеобщей истории, написанные увлекательно и говорящие о предметах, о которых на русском языке теперь решительно нечего прочитать?

Г. П. Заблоцкий, делая третье издание «Макробиотики», вновь пересмотрел перевод и к прежним своим дополнительным замечаниям прибавил еще статью о кумысе.

Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова Р. Скаловского.
Часть I. СПб. 1856.

Адмирал Ушаков прославил свое имя при императрице Екатерине II победами над турецким флотом в Черном море, при императоре Павле Петровиче успешными действиями против французов на Средиземном море и в Ахипелаге. Жизнь и подвиги этого замечательного человека г. Скаловский рассказывает

очень подробно, главным образом на основании официальных документов, хранящихся в Главном морском архиве, и многочисленных бумаг, сохранившихся у наследников адмирала. В первом томе биография доведена до завоевания острова Корфу, в 1799 году.

Ф. Ф. Ушаков родился в 1745 году. Отец его, небогатый тамбовский помещик, отдал сына в Морской кадетский шляхетный корпус. По окончании курса Ф. Ушаков два года прослужил в Балтийском флоте, а в 1768 году переведен в Черноморский, тогда еще только возникавший. По окончании первой турецкой войны, в 1775 году, возвратился он на службу опять в Балтийский флот; в 1783, уже в чине капитана, был послан в Херсон и назначен командиром корабля. Потемкин, заметив его храбрость и распорядительность, поручил ему, во вторую турецкую войну, начальство над флотом. Ушаков оправдал доверие князя победами у Керченского пролива (18 июля), у Хаджибея (28 и 29 августа 1790) и у мыса Калиакрии (31 июля 1791). Это были первые победы, одержанные недавно созданным Черноморским флотом. Совершенное разбитие турецкого флота в последней битве и близкая опасность, угрожавшая Константинополю, так устроили султана, что немедленно послано было приказание верховному визирю возобновить переговоры о мире, которые за несколько дней велено было ему прервать. Долго памятен был туркам паша Ушак. Когда Турция, оскорбленная экспедициею генерала Бонапарте в Египте, объявила, в союзе с Россиею и Англиею, войну Французской республике, Ушакову было приказано идти через Дарданеллы в Архипелаг и Ионийское море для изгнания оттуда французов. Острова Чериго, Занте, Кефалония и другие были быстро очищены от неприятельских гарнизонов; но сильнейшим пунктом, в котором, под защитою грозной крепости, сосредоточивались главные силы французов, был остров Корфу. Порт Корфу тогда был укреплен пятью фортами, и главная цитадель считалась столь же неприступной, как Мальта и Гибралтар. До 650 орудий защищали стены, построенные на высоких скалах. Французский гарнизон состоял из 3000 человек, имел полугодовой запас провианта и в изобилии снабжен был боевыми снарядами. Ушаков почел удобнейшим начать нападение с острова Видо, прикрывающего мыс, на котором выстроена крепость. 18 февраля 1798 года сделана была атака на этот сильный форт. Корабли наши подошли к его стенам рано поутру. К 9 часам утра канонада достигла разрушительной силы, к 11 часам неприятельские батареи были большею частью сбиты. Тогда высадили на берег до 1500 человек русского десанта. Французы защищались храбро, но были побеждены быстрым натиском наших солдат и матросов. Форт был взят. Более 400 пленных достались в руки победителей; не многие успели спастись на лодках в крепость Корфу. То же самое утро назначено было и для нападения на форты,

соединенные на острове Корфу с главной крепостью. Оно увенчалось также полным успехом. Укрепления св. Сальвадора и св. Авраама были взяты штурмом. Французский генерал, командовавший крепостью, увидел невозможность дальнейшего сопротивления и немедленно объявил русскому адмиралу, что сдается на капитуляцию. Таким образом, крепость, считавшаяся непобедимой, была покорена русским оружием. 2931 человек военнопленных, в том числе 4 генерала, 510 пушек, 105 мортир, 21 гаубица, 5495 ружей, несколько военных судов, сотни тысяч ядер и патронов были нашими трофеями. Победитель был награжден за славный подвиг чином адмирала, и сам Нельсон поздравлял его с победой.

Блокада крепости Костромы, или Русские в 1608 году.
Исторические сцены в трех отделениях и трех картинах.
Сочинение А. П. С — на. СПб. 1856.

Счастливы тот, кого природа создала плохим ученым, несчастлив, кого создала она плохим романистом или драматургом! Например, чье остроумие не будет изостраяться над новым произведением г. А. П. С — на? ¹. И сколько уже раз жестоко смеялись над ним! А чем лучше его «Исторических сцен» многие книги и книжки с учеными заглавиями? Ровно ничем. То же пустословие, та же гладкость языка, та же витиеватость слога, та же реторика в мыслях, которые навязаны одна за другую без всякой надобности. А, между тем, кто решается без подобающего уважения к «познаниям» и т. д. ученых авторов говорить об этих книжках? Да откуда вы узнали, что у автора ученых книжек бывает всегда больше знаний, нежели у г. А. П. С — на? Одному известно, что Дант написал суровую эпопею, которую можно назвать апофеозом средних веков; другому известно, что в 1608 году поляки осаждали Кострому; один с восторгом открывает вам, будто важную новость, что статуи Фидиаса были идеально прекрасны; другому известно, что Григорий Отрепьев, назвав себя Лжедмитрием и Самозванцем, женился на Марине; одному знакомы имена Кантемира и Ломоносова, другому — Пожарского и Минина. Спрашиваем, на чьей стороне перевес по обширности знаний? Вы говорите: однако же, заметно, что одному равно доступны все века и народы, а другой ограничивается тесным кругом отечественных воспоминаний. Нимало. Г. А. П. С — н не упоминает в «Блокаде Костромы» о Данте и Фидиасе только потому, что понимает, как опытный автор, неуместность подобных рассуждений в его «Исторических сценах», а если бы захотел, мог бы говорить о них не хуже, нежели кто другой: разве он не доказал этого своею книгою «Жизнь Вильяма Шекспира, английского поэта и актера; с мыслями и суждениями об этом человеке

русских писателей: Н. А. Полевого, П. А. Плетнева, Л. А. Якубовича, и иностранных: Гете, Шлегеля, Гизо и Вильмена? Знаете ли вы эту книгу? В ней о Шекспире говорится с таким же красноречием, какое встречаем мы в иных книжках при рассуждении о Кантемире: «Поэт в душе, человек, в котором от начала рождения закован был Везувий; вековой представитель прекрасного и наслаждений, проявление целой высокой мысли, брошенной на землю на удивление векам, мир всеобъемлемости, — Шекспир утопал в океане пылкого воображения». Как вам нравится эта возвышенность слога, чреватого глубокими мыслями?

И, однако же, г. А. П. С—на, несмотря на его несомненные познания, несмотря на возвышенность его слога, без церемонии каждый называет плохим писателем, — потому, видите ли, что ведь он не считается ученым человеком, — и этот же самый судья, столь строгий в отношении г. А. П. С—на, делается снисходителем, осторожен, почти подобострастен, когда приходится ему оценивать какое-нибудь рассуждение о Хераскове или Сумарокове, о Кантемире или Пушкине, которое в ученом отношении ничем не отличается от книги г. А. П. С—на «Жизнь Вильяма Шекспира». О, верх несправедливости! «Но то писал человек ученый». Да кто бы ни писал книгу, не все ли равно, если книга не имеет никакого достоинства? И чем доказана его ученость? Быть может, она и есть у него, да мы какое основание имеем предполагать в авторе то, чего не заблагорассудил он обнаружить в своих сочинениях? Быть может, и г. А. П. С—н обладает гигантской ученостью, только не находит нужным обнаруживать ее, полагая, что красноречие заменяет собою все — и труд, и знание, и мысль?

Нет, мы не способны — по крайней мере в настоящее время — смеяться над г. А. П. С—ным и его «Блокадою крепости Костромы», мы уклоняемся от всяких суждений о нем; пусть читатель судит сам о неученых и ученых авторах, одаренных красноречием А. П. С—на. Мы только выпишем заглавия трех отделений и картин, на которые разделил он свои «исторические сцены».

Отделение 1. Картина 1. Все за веру и родину!

Отделение 2. Картина 2. Геройство русской боярыни.

Отделение 3. Картина 3. Огненная могила.

Содержание и художественные достоинства пьесы видны из последней сцены. Поляки пляшут краковяк в доме боярыни Образцовой-Хабаровой. В подвальном этаже дома устроен пороховой погреб.

В половине краковяка боярыня Образцова-Хабарова тихо входит слева, бледная, с распущенными волосами; в руках у ней горящий факел. Ляхи не замечают ее, краковяк продолжается.

Образцова-Хабарова. Пируйте, пируйте, друзья! Дешев пир нашли вы по вину, да по снадобьям, — дорог он по душам христианским! Весело вам теперь бесноваться! как-то запляшете вы под мою музыку! (Врывается в середину поляков. Краковяк останавливается, все в изумлении.) Злодеи! слушайте! Не опозорить вам нашей родины! Не насмеяться вам над

честью русской боярыни! Все готово! Дело сделано! Пора! (Бросает факел в окно; спустя минуту следует страшный взрыв, — стоны, вопль, молчание.)

Красноречиво, как видите, и даже грамотно; чего же больше требовать от бедной пьески без всяких претензий, когда и в сочинениях, предъявляющих огромные притязания на ученое значение, не бывает иногда других достоинств?

Значение Пушкина в истории русской литературы (введение в изучение его сочинений).

Речь, произнесенная в торжественном собрании императорского Казанского университета экстраординарным профессором русской словесности Николаем Буличем 9 октября 1855 года. Казань.

Мы никогда не могли победить в себе некоторого предубеждения против молодых ученых, занявшихся в последние годы разработкою истории русской литературы. Не то чтоб мы не ценили пользы, какую приносят их труды: напротив, только тот, кому судьба дала жребий писать рецензии, вполне понимает, как эти труды полезны, потому что они ему-то именно и должны служить пособием; и не то чтобы мы не умели уважать прекрасных дарований и обширных знаний, которыми обладают эти люди: напротив, никто не уважает их так глубоко, как рецензент, которому обыкновенно приходится скорбеть о том, что далеко не все писатели обладают этими качествами: после десятка пустых книжек и статей, одиннадцатая, если она хороша, кажется ему превосходною, и он готов бывает за эту отраду благодарить ее автора с восторгом, непонятным и смешным для человека, который читает книги по собственному выбору, стало быть, читает постоянно книги, которые не наводят на него скуки и тоски. Не потому чувствовали мы всегда какое-то предубеждение к специалистам, занимающимся историею нашей литературы, что не уважали их, а потому, что знание делает этих людей слишком требовательными: от каждого, кто хочет писать об истории литературы, требуют они, чтоб он изучал свой предмет серьезно, не отделялся пустыми фразами, общими местами. К чему такая суровость? она вовсе не гуманна; уступчивость, по нашему мнению, важная добродетель. Пусть каждый пишет как и что ему угодно, хотя бы даже пустые фразы: значит, лучшего он не умеет написать, и осуждать бедняка не за что. Есть и другая причина недоверия нашего к этим специалистам: они увлекаются любовью к своему предмету до того, что приходят в восторг от каждого, кто говорит с ними о библиографии, верят ему на слово, что он занимается историею литературы, готовы хвалить самую пустую книгу, если только автор наговорит им, что он библиограф. Это тоже недостаток: библиография прекрасное дело, но только тогда, когда ею занимаются серьезно, и ученые замашки не должны служить

защитою, если книга с такими замашками пуста. Справедливость должна быть выше самой любви к библиографии.

Это все мы говорим к тому, что теперь представился случай, вполне оправдывающий наши отчасти мрачные чувства к молодым специалистам. Вперед знаем, что новое сочинение г. Булича не понравится им, пожалуй, вызовет даже улыбку на их суровых устах. Не найдя в нем ни малейших следов разработки фактов, столь упорно ими требуемой от каждого будто бы во имя науки (да разве наука нуждается в каждом встречном?), они решительно осудят эту маленькую книжку, забудут даже — о, как люди злы! — что сами хвалили первое сочинение г. Булича «Сумароков и современная ему критика», в котором видели библиографические стремления; объявят это несчастное новое произведение того же самого ученого, конечно, в два года не успевшего утратить своих знаний, — объявят, говорим, это новое сочинение не выдерживающим самой снисходительной критики, набором общих мест, никому не нужных, и громких фраз, ничего не говорящих, — и мало ли чего могут они насказать в своем негодовании за то, что новое произведение г. Булича покажется им не похоже на первое.

Но мы им скажем: милостивые государи, библиографы молодого поколения! вы беретесь решительно не за свое дело. Послушайте нас, которые, быть может, не занимались разработкою истории русской литературы, но зато твердо помним изученные когда-то нами правила реторики. Судить о новой книге г. Булича наше дело.

Речь, произносимая в торжественных собраниях, где находятся люди всякого возраста и образования, должна быть приспособлена к разумению каждого. Вы знаете, что Карамзин был хороший русский писатель, а иной не знает: ему надобно рассказать об этом. Вы знаете, что Пушкин написал «Евгения Онегина», а для иного будет великою новостью, если сказать ему это. Вы знаете, что русские — народ храбрый, а иной и этого не зна... виноваты, мы заговорились: конечно, каждый знает, что русские — народ храбрый, но и об этом поговорить не мешает; хорошо также припомнить и Данта, и Гомера, и Александра Македонского, и Фидиаса, и всех прочих, кого знаешь: иному слушателю их имена тоже могут быть новостью. Таким образом составив речь, вы принесете почти каждому слушателю какую-нибудь пользу, а кому не принесете пользу, тому доставите удовольствие. Но не забудьте, что вы пишете торжественную речь: торжественная речь пишется высоким слогом, — иначе не бывало от плиниева панегирика Траяну до наших дней. Так и поступил г. Булич. Начинает он следующим образом:

В наше время, в годину великой борьбы, когда отечество наше на кровавых полях битв, перед целым светом, отстаивает независимость начал своих и вековую честь исторического существования, когда возвышенным порывом

звучит грудь каждого русского человека, отрадно русскому сердцу обратиться к одному из тех великих людей своей родины, которые в области мысли, в области прекрасной художественной деятельности составляют честь русского народа, гордость и славу его, и т. д.

Потом он поговорил о Пушкине, все тем же высоким слогом, потом об искусстве вообще, потом изложил всю историю русской литературы от Ломоносова до Пушкина, потом опять поговорил о Пушкине и заключил все таким образом:

Лавры поэзии сплетались у нас всегда с лаврами брани *. Ломоносов, Державин, Жуковский и Пушкин пели военные громы и славу русского сружия. И мы вызываем теперь всеми силами души из плодотворного лона нашей России будущего певца, мы громко зовем его, участника будущей славы, поэта грядущих надежд и стремлений народных, поэта грядущего величия, за которое говорит нам само сердце наше.

От начала и конца перейдем к середине. Автор излагает теорию искусства, а потом историю русской литературы. Теорию искусства мы пропустим: даже при изложении обыкновенным нынешним слогом, этот предмет у многих писателей дает повод к превосходным тирадам, а когда писатель придерживается высокого слога, то и подавно. Мы лучше прямо возьмемся за историю русской литературы и послушаем, что такое говорится о Кантемире. Говорится о нем не много, но и не мало, почти на трех страницах:

В диких, но благородных звуках Кантемира слышится великое время, вызвавшее его сатиру. Эта пестрая смесь слов и понятий, занесенных из разных мест, порожденных новыми потребностями общественными, этот неустановившийся склад речи и чуждый русскому уху размер стиха вполне выражают то время работы, когда из разобранных кирпичей старого здания складывалось новое, которому исполнская мысль и воля зодчего прочили такую великую и прекрасную будущность. Тотчас же вслед за этою первою работою раздались звуки русской поэзии. Естественно, что в этих первых слабых порывах ее трудно искать и невозможно найти художественного выражения мысли — прекрасной формы. Вполне изящная форма вырабатывается трудною работою, до нее достигают целой историей развития искусства, и она является только тогда, когда найдется для нее достаточное содержание в жизни, окружающей художника. Только тогда содержание празднует свой гармонический союз с формою, и создание является перед очами человека стройное и блестящее, полное жизни и красоты. Не готовыми и сразу изящными явились в скульптуре прекрасные типы древних богов и богинь Греции. Содержание, которое дало им такую роскошную форму, мифология должна была сама выдержать целый процесс в сознании древнего язычника, пока вылилась в свойственную ей и вполне совершенную форму. Эгипетские мраморы, выражая собою колебанье идей мифологических, очень далеки еще от идеальных созданий Фидиаса... и т. д.

* Брань в высоком слоге всегда значит война, и потому двусмыслия тут нет. Фраза означает, очевидно: «все наши поэты писали оды на победы», а вовсе не то, чтобы поэты у нас всегда подвергались разным неприятностям, как то: выговорам и проч. Этот смысл имела бы фраза только в низком слоге.

И т. д., еще около двух страниц. Посмотрим, что говорит автор о Жуковском:

Трудно мужу, искусившемуся жизнью, начать снова мечтательную жизнь юноши, увлекаться вновь давно разлетевшимися идеалами, плакать попрежнему горячими слезами молодости. Его положение будет и ложно и смешно. Как человек не возвращается на обратный путь жизни, так и народ не в состоянии воротить своего минувшего, отживших и вымерших начал. Средние века были юношескою порою европейского человечества; они необходимы были для его воспитания. Здесь, как в юности человека, все было нестройно, все было неопределенно. Благородный порыв рыцарского уважения к женщине, забытой и презренной древним миром, сменялся грубыми увлечениями феодальной силы; поэзия трубадуров и миннезингеров, вся проникнутая стремлениями сердца, раздавалась в замках баронов, перед которыми дрожали толпы жалких вассалов. Самое чувство в средних веках не имело определенных и точных границ: оно было порыванием к чему-то неизвестному и неясно сознаваемому. Личности человека открывался широкий произвол, и вот почему почва средних веков была плодородна для поэзии. Средние века имели свою собственную могучую поэзию в гигантской эпопее Данта, которая может быть названа апофеозом средних веков. Суровый флорентинец заключил в широких рамках своей поэмы все, что составляло сущность этой исторической эпохи. В ней и борьба светской и духовной власти, составлявшая большею частью всю историю средних веков; в ней и энергические личности Гвельфов и Гибеллинов, уносивших даже в могилу свои земные страсти и политические убеждения; в ней и нежная, мечтательная, без всякого вождения и раздела, любовь к Беатриче; в ней и наука средних веков, в которой... и т. д.

И т. д., пока будет написано 74 страницы, если хотите, действительно наполненные одними общими местами и риторическими фразами, но написанные очень красноречиво и возвышенным слогом. Вы удивляетесь, откуда берется столько громких слов при таком скудном запасе мыслей и фактов? Как откуда? «Источники изобретения» указываются правилами науки красноречия. Что такое источники изобретения? Вот что: мне нужно поговорить о Пушкине. Я ничего особенного не помню, а трудиться, собрать факты и обдумать предмет мне нет времени или охоты. Я поступаю следующим образом: Пушкин имел предшественников, — поговорим о них, изложим все, что помнится нам об истории русской литературы; поговорим и о литературе вообще, поговорим и о греках — ведь у них тоже была литература, поговорим и о средних веках — ведь у них тоже была своя поэзия, и т. д., и т. д., поговорим обо всем, что приходит на ум — и будет хорошо. Я ныне пишу речь о значении Грибоедова в русской литературе и непременно вставляю в нее следующее прекрасное описание, когда буду говорить о современном русском красноречии. Оратора я сравню с павлином.

О п а в л и н е

Расширив хвост свой разностию цветов, гордится, когда оны беспрестанно переменяются и приобретают тем новую приятность. Сие особливо бывает в прекрасных и радуге подобных кружках,

которые он на конце каждого пера показывает. Ибо где прежде сверкали рубины, уже тут по малом наклонении золото блистает, с одной стороны лазорью, с другой багряностью; на солнце жемчугом, в тени изумрудами взор увеселяют.

Мысли очень хороши. Язык несколько устарел, это правда, но его можно будет подновить ¹.

Статистическое обозрение промышленности Московской губернии, составленное Ст. Тарасовым. Москва. 1856.

Книга г. Тарасова составлена по официальным данным; потому цифры, ею представляемые, должны служить основанием всех статистических соображений о настоящем состоянии промышленности Московской губернии. Конечно, для читателей будет интересно познакомиться с этими важными данными: Москва с своею губерниею — центр всей русской мануфактурной деятельности. Общему статистическому обозрению у г. Тарасова предшествует исторический очерк развития московских мануфактур, и точно такое же правило соблюдается автором при обозрении каждой отдельной отрасли промышленности.

Москва сделалась средоточием нашей индустрии после падения Новгорода. В XVI—XVII столетиях она, ведя торговлю с Западною Европою через Архангельск, имела уже обширные сношения с Азиею через Казань, Макарьев и Нижний-Новгород. Мануфактуры наши, как известно, основаны Петром Великим. В 1773 году Московская губерния имела 90 фабрик. Но особенно развилась в Москве промышленность после издания охранительного тарифа 1822 года.

В 1853 году, к которому относятся сведения, собранные г. Тарасовым, в Московской губернии считалось 1485 фабрик; ткацких и набивных станков — 63 673; фабричных рабочих — 117 677 человек; товаров произведено на сумму 55 975 694 р. 28 коп. Цифры эти распределялись между столицею с ее уездом и 12 другими уездами ее губернии таким образом:

	Фабрик и за- водов	Станов	Работников	Сумма производства
Москва и ее уезд	939	29 651	58 324	36 813 818 р. с.
Уезды:				
Дмитровский . . .	40	1016	5955	2 310 915 » »
Клинский	45	442	1531	484 677 » »
Волоколамский . . .	21	572	711	36 366 » »
Можайский	17	139	960	234 219 » »
Рузский	13	352	2105	543 065 » »
Верейский	12	90	1827	842 737 » »
Звенигородский . . .	48	1069	3883	1 332 095 » »
Подольский	13	393	1539	590 813 » »
Серпуховский	66	119 19	12 059	3 243 852 » »
Коломенский	48	5918	6344	1 299 828 » »
Бронницкий	59	2285	4887	1 297 370 » »
Богородский	154	9810	17 522	6 886 009 » »

Из этого видим, что в юго-западных уездах промышленность развита несравненно сильнее, нежели в северо-восточных. Видим также, что Москва с своим уездом производит, по ценности, почти две трети всех товаров; Богородскому уезду принадлежит почти одна восьмая, Серпуховскому — одна пятнадцатая, Дмитровскому — одна двадцать пятая часть всех производимых фабричных ценностей.

По различным отраслям промышленности общая сумма производимых ценностей распределяется так:

Фабрики и заведения	Ценность производства
Ваточные, бумагокрасильные, бумаготкацкие и набивные	13 247 997 р.
Шерстяные	10 424 940 »
Бумагопрядильные	7 568 953 »
Шелковые и полушелковые	5 865 192 »
Шерсто-бумажные	4 237 468 »
Металлические, как-то: золотопрядильные, медные, бронзовые, колокольные, железные, проволоочные, игольные, чугунно-литейные и проч.	3 383 313 »
Кожевенные	1 754 958 »
Табачные	1 578 409 »
Химические	1 149 984 »

Из других отраслей промышленности более, нежели в 500 000 р., оценивается производство стеариновых заводов и экипажных заведений; от 250 000 до 500 000 — фабрик писчей бумаги, механических и оптических заведений, мыловаренных, салотопенных, пивоваренных и водочных заводов, воскобойных и парфюмерских заведений, фарфоровых и кирпичных заводов.

Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. С портретом Н. В. Гоголя. СПб. 1856.

Два года тому назад в нашем журнале был напечатан «Опыт биографии Н. В. Гоголя», заключающий в себе множество драгоценных материалов для изучения жизни и характера нашего великого писателя¹. С того времени автор, посвятивший себя этому прекрасному делу, неутомимо и, как видим, счастливо работал, собирая новые материалы.

Он ездил в Малороссию, был в родовой деревне Гоголя, виделся с почтенною матерью автора «Мертвых душ», Марьею Ивановною Гоголь, услышал от нее много воспоминаний о сыне, получил позволение пользоваться письмами Гоголя к ней и сестрам. Племянник Гоголя и издатель его сочинений, Н. П. Трушковский, также познакомил его с своею огромною коллекциею писем

Гоголя. С. Т. Аксаков, который лучше всех других друзей Гоголя знал его, не только сообщил автору «Опыта биографии» письма Гоголя, но и составил для него извлечение из «Истории своего знакомства с Гоголем», которая пока еще должна оставаться в рукописи². А. С. Данилевский, князь В. Ф. Одоевский, М. П. Погодин, г-жа А. С. См[ирно]ва, М. С. Щепкин и многие другие из близких знакомых Гоголя предоставили в его распоряжение корреспонденцию свою с Гоголем и воспоминания о нем. Ф. В. Чижев написал записку о своих встречах с Гоголем. Благодаря этим богатым материалам, биография в новой редакции приобрела объем втрое больший того, какой имела прежде, и теперь явилась в двух довольно толстых томах. Дополнения к прежней редакции далеко превосходят ее своею массою. Конечно, не все из них имеют одинаковую цену; но нет ни одного, которое не было бы интересно в том или другом отношении, а многие решительно неоценимы по своей важности, особенно материалы, полученные от г-жи М. И. Гоголь, от С. Т. Аксакова, А. С. Данилевского, А. С. См[ирно]вой и М. С. Щепкина. Почти все хронологические пробелы, оставленные в биографии Гоголя письмами Гоголя к М. А. Максимовичу и П. А. Плетневу, служившими главным пособием при составлении «Опыта биографии», восполнены теперь обильными извлечениями из новых материалов, и автор имел полное право считать новую редакцию своего труда совершенно новым трудом. Он выразил этот взгляд тем, что в настоящем издании дал своему сочинению новое заглавие. В первом томе «Записок о жизни Н. В. Гоголя» новых материалов не менее, нежели сколько перешло в него прежних, из «Опыта биографии», а второй том, обнимающий время с 1842—1844 годов до кончины Гоголя, почти весь составил из новых материалов: в «Опыте биографии» этот период занимал не более 50 страниц.

Конечно, материалы, столь богатые, еще далеко не полны. Сам автор чувствует это живее, нежели кто-нибудь; потому-то и выпустил он из заглавия своей книги слово «биография», говоря тем, что время для полной биографии Гоголя еще не пришло. Но если и в прежней редакции труд его представлял довольно данных для пояснения некоторых важных вопросов о судьбе и характере человека, после «Мертвых душ» напечатавшего «Выбранные места из переписки с друзьями», то в настоящем своем виде «Записки о жизни Н. В. Гоголя» еще положительнее объясняют и эти вопросы и многие другие факты, которых не касался «Опыт биографии». Полноты и совершенной удовлетворительности в нашем знании Гоголя, как человека, нет еще и теперь; но многое в его жизни мы знаем теперь несравненно точнее, нежели прежде. Новое издание — или новая книга — тем вернее достигает своей цели, что от своего лица автор не прибавил ничего. Он понял, что дело собирателя фактов важнее и выше всяких размышлений на готовые темы, и, перепечатав «Опыт биографии», обогатил его

единственно фактами, а не фразами. Он понял свою роль. Желаем, чтобы через два года потребовалось новое издание его книги, и чтобы в эти два года счастье благоприятствовало ему, как собирателю материалов, не менее, нежели благоприятствовало в предыдущие два года.

Пока не будет издана вполне вся обширная корреспонденция Гоголя, «Записки о его жизни» останутся богатейшим источником для изучения судьбы и личности автора «Мертвых душ» и «Ревизора». Да и тогда, когда полное издание корреспонденции отнимет ученую цену у «Записок», как сборника писем, достоинство многочисленных эпизодов, записанных автором со слов матери и друзей Гоголя, останется неприкосновенным.

Нужно посвятить довольно долгое время изучению такой книги, чтобы дать полный разбор ее; теперь мы ограничимся немногими замечаниями относительно некоторых отдельных фактов, из числа объясняемых новыми прибавлениями, и несколькими извлечениями из этих прибавлений.

У С. Т. Аксакова хранятся шесть черновых тетрадей, в которых заключаются подлинники многих произведений Гоголя, писанных до 1836 или 1837 года. Они показывают, по словам автора «Записок», что в то время «Гоголь долго обдумывал то, что желал написать, обдумывал до тех пор, пока его вымысел обращался как бы в сложившуюся песню. Он вписывал свое сочинение в книгу почти без помарок, и редко можно найти в его печатных повестях какие-нибудь дополнения или поправки против черновой рукописи. Часто его сочинения прерываются, чтобы дать место другой повести или журнальной статье; потом, без всякого обозначения или пробела, продолжается прерванный рассказ и перемешивается с посторонними заметками или выписками из книг». Тогда, как видим, Гоголь творил легко и беззаботно, не мучась ни сомнениями о достоинстве написанного, ни желанием довести обработку произведения до того, чтобы на каждом слове лежала печать гениальности, чтобы произведение вышло непременно «колоссальное», и чтобы каждая черта в нем была достойна колоссальности целого. Тоскливая дума об обязанностях, налагаемых на него саном «гения», не томила его — он и не думал о том, гений он или нет. «Вы, говоря о моих сочинениях (пишет он матери в 1835 году), называете меня гением. Как бы то ни было, но это очень странно для меня: доброго, простого человека, может быть не совсем глупого, имеющего здравый смысл — и называть гением! Нет, маменька, этих качеств мало, чтобы составить его: иначе, у нас столько гениев, что и не протолпиться». Тогда он еще не поклонялся самому себе. Не то было впоследствии. От этого последующего самообожания и происходит главным образом то, что он так долго не издавал второго тома «Мертвых душ»: он боялся, как бы не уронить себя, ему все казалось нужным переделывать и поправлять, чтобы произведе-

ние вышло как можно «колоссальнее». Это не болезнь: это просто эгоистическая слабость, которой подвергаются иногда гениальные люди, когда увидят, что стали в общественном мнении на неизмеримую высоту. Этому чувству подвергся и Гете, который поступал с «Фаустом» совершенно так же, как Гоголь с «Мертвыми душами». Слабость эта, конечно, вредна для самого человека и нимало не похвальна, но вовсе еще не доказательство болезни или упадка в его таланте: Гете до конца жизни умственно и физически был здоров как нельзя лучше. В малых размерах она заметна на всех людях, считающих себя оракулами своего муравейника: куда ни обернемся, везде увидим таких людей. Даже между нашими нынешними писателями найдутся такие олимпийцы, и они, однако же, очень здоровы телом и не утратили нимало своего таланта, насколько имели его.

В этих черновых тетрадах есть несколько отрывков из неоконченных произведений и, между прочим, довольно значительный по объему отрывок (первое действие вполне, за исключением небольшого пробела, и начало второго действия) трагедии из английской истории. Автор «Записок» напечатал его в числе приложений к своей книге, поместив другие отрывки, меньшего объема, в текст книги. Заглавие драмы остается неизвестным, потому что в черновых тетрадах Гоголь не надписывал заглавий. Действие происходит в эпоху нападений датских морских удалцов на Англию, во времена Альфреда, который и есть главное лицо пьесы. Идея драмы была, как видно, изображение борьбы между невежеством и своеволием вельмож, угнетающих народ, среди своих мелких интриг и раздоров забывающих о защите отечества, и Альфредом, распространителем просвещения и устройтелем государственного порядка, смиряющим внешних и внутренних врагов. Все содержание отрывка наводит на мысль, что выбор сюжета был внушен Гоголю возможностью найти аналогию между Петром Великим и Альфредом, который у него невольно напоминает читателю о просветителе земли русской, положившем основание перевесу ее над соседями, прежде безнаказанно ее терзавшими. Его Альфред несомненно был бы символическим апотеозом Петра. Если Гоголь сам не захотел закончить или напечатать эту драму, то, конечно, придавал ей менее значения, нежели своим другим произведениям. Но ошибся бы тот, кто, основываясь на нелепых повериях о невежестве и т. д. Гоголя, вздумал бы предположить, что он не сладил с предметом, ему мало известным, и что написанный им отрывок есть что-нибудь уродливое в историческом или художественном отношении. Напротив, в нем видно положительное достоинство, и, сколько можно судить по началу, в этой драме мы имели бы нечто подобное прекрасным «Сценам из рыцарских времен» Пушкина. Простота языка и мастерство в безыскусственном ведении сцен, умение живо выставить характеры и черты быта не изменили Гоголю и в этом слу-

чае. Историческая верность строго выдержана. В той же тетради находятся рецензии, из которых составилось библиографическое отделение в первой книжке пушкинского «Современника» (1836). Некоторые из этих рецензий доселе приписывались Пушкину. В основании журнала Гоголь принимал очень деятельное участие, как видим из письма его к г. Плетневу в 1846 г. Вот начало:

«Современник» даже и при Пушкине не был тем, чем должен был журнал... Впрочем, сильного желания издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получив разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещал быть верным сотрудником... Моя настойчивая речь и обещание действовать его убедили.

Напечатав «Ревизора», Гоголь уехал из России, и только в последние годы своей жизни решился снова поселиться в отечестве. Кроме мысли поправить здоровье, за границею удерживал его расчет, что это лучше для его литературной деятельности. Из «прекрасного далека», по его выражению, он лучше понимал и живее представлял себе русскую жизнь. Туманность фраз, в которых он выражал это побуждение, заставляла многих обманываться относительно истинного их смысла. Из сравнения фактов, обнародованных ныне биографом Гоголя, смысл этот становится очевиден. Вот, например, что писал он М. С. Щепкину весною 1836 года, когда г. Щепкин хлопотал о постановке на московскую сцену «Ревизора», который только что явился на петербургской:

Мочи нет. Делайте что хотите с моею пьесой, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама так же надоела, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я так дерзнул говорить о служащих людях; полицейские против меня; купцы против меня; литераторы против меня. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Досадно видеть против себя людей тому, кто их любит, между тем, братскую любовью.

(Письмо от 29 апреля 1836 г.)

...Еще раз повторяю: тоска! тоска! Я устал душою и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий! Бог с ними со всеми! мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы бежать теперь бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие далекие небеса могут одни только освежить меня. Я жажду их, как бог знает чего.

(Письмо от 25 мая).

Надобно прибавить к этому отчасти уже данные прежней редакции, отчасти новые письма Гоголя о неприятностях, которые предшествовали изданию «Мертвых душ», надобно прибавить многие другие факты того же рода, — например, то, что

в 1839 году ехал он в Петербург совершенно здоровый и веселый, а по приезде туда, вследствие различных столкновений и неприятностей, тотчас же лишился хорошего расположения духа, — и тогда мы согласимся с очень простым замечанием автора «Записок», что «Гоголь жил за границею для собственного спокойствия»: этим словом объясняется все, даже и смешная для многих фраза его, что покинул он Россию затем, чтобы вернее и лучше описывать ее. Художнику нужна некоторая степень душевного спокойствия: иначе, ему очень трудно писать, и еще труднее писать беспристрастно.

Те стороны гоголева характера и образа мыслей, следствием которых были «Выбранные места из переписки с друзьями», сделались разительно заметны для его близких знакомых еще с 1840—1841 годов; развитию их содействовал какой-то особенный случай, до сих пор остающийся необъясненным, вероятно находившийся в связи с жестокою болезнью, которую он вынес в это время, как писал (если только под «болезнью» надобно понимать не одни душевные страдания). Первое письмо, полученное от него после этого загадочного перелома С. Т. Аксаковым, странно отличалось от прежних тоном и содержанием, в духе «Выбранных мест». После того это настроение духа постоянно господствовало в Гоголе, — и, однако же, оно не помешало ему докончить и напечатать I том «Мертвых душ». Автор «Выбранных мест», как видим, вовсе не убивал в Гоголе прежнего великого писателя, не заставлял его в художнической деятельности изменять прежнему автору «Ревизора». Каждый помнит, что публика и литераторы обвиняли Гоголя в двуличности, притворстве, ханжестве, когда в 1847 году явились «Выбранные места». В том же самом винили его в 1841 году (перед изданием «Мертвых душ») ближайшие и лучшие его друзья, семейство гг. Аксаковых, когда он начал присылать им странные письма в духе этой книги. Они откровенно высказывали ему свое грустное подозрение и упрекали его, как видно, за все то, что позднее осуждала публика.

Вот как оправдывается перед ними Гоголь:

Скажу вам вообще, что моя природа совсем не мистическая. Внутренно я не изменялся никогда в главных моих положениях. С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаюсь и не колеблюсь в мнениях главных. И теперь могу я сказать, что в существе своем все тот же.

(Письмо к С. Т. Аксакову, от 16 мая 1844 г.)

В письме к другой особе, упомянув с прискорбием, что лучшие друзья стали его чуждаться, он продолжает:

Это до сих пор неразрешимая загадка, как для них, так и для меня. Но настоящего сведения об этих делах не дала мне до сих пор ни одна живая душа. Вот уже два года я получаю такие странные и неудовлетворительные намеки, и так противоречащие друг другу, что у меня просто голова идет кругом. Все точно боится меня. Никто не имеет духу сказать, что я сделал

подлое дело, и в чем состоит именно его подлость. А между тем мне все, что ни есть худшего, было бы легче понести этой страшной неизвестности.

(Письмо к А. О. См[ирнов]ой, от 24 октября 1844 г.)

И однако же, понимая, что его осуждают, он не покидал своей новой роли и, несмотря ни на что, напечатал «Выбранные места», хотя друзья умоляли его не делать этого. Справедливы ли были его оправдания? Действительно ли образ понятий, выразившийся «Выбранными местами», был искренним его убеждением, а не маскою, надетою по расчету? И действительно ли этот образ мыслей не был в нем новостью, а с детства постоянно жил в нем, и только сильнее прежнего овладел его душою вследствие различных душевных страданий? Надобно думать, что это было действительно так. Все в том убеждает: многочисленные проблески подобного настроения в прежних сочинениях и прежних письмах, и природная склонность, которая очень обыкновенна между малороссами, и твердость, с какою он его держался, самая смерть его и многие другие факты.

Путешествие в Иерусалим было решено в его уме еще в 1842 году, если не раньше.

Ханжество возможно только для людей с сухим сердцем, которые рассчитывают каждый шаг свой для достижения пользы, и не пренебрегают никакими выгодами, особенно денежными. Хладнокровие к деньгам может служить лучшим доказательством, что человек не ханжа. В Гоголе было это качество. При всей своей нищете, он очень легко прощал своим знакомым ошибки, имевшие следствием потерю денег, проходивших через их руки. Он, не имевший никакого обеспечения для жизни, беспрестанно больной и при болезни нуждающийся в деньгах, уступил сестрам свою часть наследства; нищему и больному отказаться от порядочного имения, в обеспечение участи сестер — это черта не дурная. Ханжа не мог бы тут поступить иначе, как выбрать на свою долю все лучшие участки, обсчитать и обобрать девушек, не знающих толку в денежных делах. Часть своих доходов, почти постоянно скудных, он употреблял на то, чтобы помогать нуждающимся. Что же касается его понятий о необходимости или излишестве просвещения, они хорошо доказываются фактом, который до сих пор был очень мало известен. В конце 1844 года он вздумал, что часть суммы, выручаемой от продажи его сочинений, надобно обратить на помощь «молодым талантливым людям, воспитывающимся в Петербургском университете». Сумма эта должна была проходить через руки посредника, одного из друзей Гоголя, и этот посредник должен был, конечно, хранить в глубокой тайне имя жертвователя. Тот, который избран был служить посредником в раздаче денег, почел такую мысль безрассудством со стороны человека, во всем нуждающегося, и просил совета у одной из уважаемых Гоголем особ, А. О. См[ирнов]ой; вместе

они старались отклонить Гоголя от его намерения, говоря, что им кажется это не только безрассудным делом, но и внушением дурного, самолюбивого чувства. Дело осталось неисполненным, потому что посредник не соглашался принять деньги, передаваемые ему для раздачи. Относительно Московского университета результат был удовлетворительнее для жертвователя, хотя С. Т. Аксаков, которого Гоголь просил быть посредником, также сначала старался доказать ему, что лучше бросить эту мысль. В Москве до сих пор хранятся у одного из друзей Гоголя банковые билеты на 2500 р. сер., положенных в приращение процентами «для помощи бедным талантливым студентам Московского университета». В то самое время, когда шло дело о печатании «Выбранных мест», он хотел издать в пользу бедных «Ревизора» с прибавлением новой пьесы «Развязка ревизора». Друзья отклоняли его от этого намерения, потому что находили «Развязку» еще более неуместною в печати, нежели «Выбранные места». Дело затянулось, и падение «Выбранных мест» заставило Гоголя отказаться от «Развязки», а вместе и от нового издания «Ревизора». Друзья Гоголя были чрезвычайно огорчены намерением Гоголя издать «Выбранные места» из тех странных писем, которые присылал он им с 1841 года. Приводим относящийся к этому делу отрывок из мемуара, составленного С. Т. Аксаковым для «Записок о жизни Гоголя».

В конце 1846 года, во время жестокой моей болезни, дошли до меня слухи, что в Петербурге печатается «Переписка с друзьями»: мне даже сообщили по несколько строк из разных ее мест. Я пришел в ужас и немедленно написал к Гоголю большое письмо, в котором просил его отложить выход книги хоть на несколько времени. На это письмо я получил от Гоголя ответ уже в 1847 году. Вот он:

«Неаполь, 1847, января 20, нов. ст.

Я получил ваше письмо, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Благодарю вас за него. Все, что нужно взять из него к соображению, взято. Сим бы следовало и ограничиться, но, так как в письме вашем заметно большое беспокойство обо мне, то я считаю нужным сказать вам несколько слов. Вновь повторяю вам еще раз, что вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только скрытен, потому что был неглуп — вот и все. Причиной нынешних ваших выводов и заключений обо мне (сделанных как вами, так и другими) было то, что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость свою, отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени еще немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне следовало еще несколько времени поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого ответа моим друзьям насчет сочинений моих. Отчасти неблагоприятные подталкивания со стороны их, отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего воспитания нахожусь, были причиной появления статей, так возмущивших дух ваш. С другой стороны, совершилось все это не без воли божией. Появление книги моей, содержащей переписку со многими замечательными людьми в России (с которыми

я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в России и оставался в Москве), нужно будет многим, несмотря на все непонятные места, во многих истинно существенных отношениях. А еще более будет нужно для меня самого. На книгу мою нападут со всех углов, со всех сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком нужны: они покажут мне более *меня самого* и покажут мне в то же время *вас*, то есть *моих читателей*. Не увидевши яснее, что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно; возьмите лучше это просто на веру: вы чрез то останетесь в барышах. А чувств ваших от меня не скрывайте никаких. По прочтении книги, тот же час, покуда еще ничто не остыло, изливайте все наголо, как есть, на бумагу. Никак не смущайтесь тем, если у вас будут вырываться жесткие слова: это совершенно ничего; я даже их очень люблю. Чем вы будете со мной откровеннее и искреннее, тем в больших останетесь барышах. Руку для того употребляйте первую, какая вам подвернется. Кто почетче и побойчее пишет, тому и диктуйте. Секретов у меня в этом отношении нет никаких — — —

Друг мой, вы не взвесили как следует вещи, и слова ваши вздумали подкреплять словами самого Христа. Это может безошибочно делать один только тот, кто уже весь живет во Христе, внес его во все дела свои, помышления и начинания, им осмыслил всю жизнь свою и весь исполнился духа христового. А иначе — во всяком слове Христа вы будете видеть свой смысл, а не тот, в котором оно сказано.

Но довольно с вас. Не позабудьте же: откровенность во всем, что ни относится в мыслях ваших до меня.

Из этого ответа видно (говорит С. Т. Аксаков), что если мое письмо и поколебало Гоголя, то он не хотел в этом сознаться: а что он поколебался, это доказывается отменением некоторых распоряжений его, связанных с изданием «Ревизора с развязкой». На них я нападал всего более, но об этом говорить еще рано. Между тем мне прочли кое-как два раза его книгу (я был еще болен и ужасно страдал). Я пришел в восторженное состояние от негодования и продиктовал к Гоголю другое, небольшое, но жесткое письмо. В это время N* N* в письме ко мне, сделал несколько очень справедливых замечаний. Я послал и его письмо вместе с своим к Гоголю. Вот его ответ на оба письма:

«1847 г., 6 марта. Неаполь.

Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки; от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие. Поблагодарите также доброго N* N* и скажите ему, что я всегда дорожу замечаниями умного человека, высказанными откровенно. Он прав, что обратился к вам, а не ко мне. В письме его есть точно некоторая жестокость, которая была бы неприлична в объяснениях с человеком, не очень коротко знакомым. Но этим самым письмом к вам он открыл себе теперь дорогу высказывать с подобной откровенностью мне самому все то, что высказывал вам. Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо. Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило меня лишний раз построже взглянуть на самого себя. Мы уже так странно устроены, что до тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это. Замечу только, что одно обстоятельство не принято ими в соображение, которое, может быть, иное показало бы им в другом виде; а именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все суждения и так умеет дорожить замечаниями умных людей даже тогда, когда они жестки и суровы, такой человек не может находиться в полном и совершенном самоослеплении. А вам, друг мой, сделаю я маленький упрек. Не сердитесь: уговор был принимать не сердясь взаимно друг от друга упреки. Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и непогрешительность его выводов? Делать замечания — это другое дело; это имеет право делать всякий умный человек

и даже просто всякий человек. Но выводить из своих замечаний заключение обо всем человеке, — это есть уже некоторого рода самоуверенность.

Через несколько времени после своего отца, послал Гоголю строгий разбор его книги К. С. Аксаков. Гоголь защищался следующим образом:

«Июля 3 (1848) Васильевка.

Откровенность прежде всего, Константин Сергеевич. Так как вы были откровенны и сказали в вашем письме все, что было на душе, то и я должен сказать о тех ощущениях, которые были во мне при чтении письма вашего. Во-первых, меня несколько удивило, что вы, вместо известий о себе, распространились о книге моей, о которой я уже не полагал услышать что-либо по возврате моем на родину. Я думал, что о ней уже все толки кончились и она предана забвению. Я, однако же, прочел со вниманием три большие ваши страницы.

Вот мысль, которая пришла мне в голову в то время, когда я прочел слова письма вашего: «Главный недостаток книги есть тот, что она — ложь». Вот что я подумал. Да кто же из нас может так решительно выразиться, кроме разве того, который уверен, что он стоит на вершине истины? Как может кто-либо (кроме говорящего разве святым духом) отличить, что ложь и что истина? Как может человек, подобный другому, страстный, на всяком шагу заблуждающийся, изречь справедливый суд другому в таком смысле? Как может он, неопытный сердцезнатель, назвать ложью сплошь, с начала до конца, какую бы то ни было душевную исповедь, он, который и сам есть ложь, по слову апостола Павла? Неужели вы думаете, что в ваших суждениях о моей книге не может также закрасться ложь? В то время, когда я издавал мою книгу, мне казалось, что я ради одной истины издаю ее; а когда прошло несколько времени после издания, мне стало стыдно за многое, многое, и у меня не стало духа взглянуть на нее. Разве не может случиться того же и с вами? Разве и вы не человек? Как вы можете сказать, что ваш нынешний взгляд непогрешителен и верен, или что вы не измените его никогда?

Мы видим, Гоголь уже сознается, что многого в своей книге стыдится. Никакие оправдания и извинения не помогли: надобно было согласиться, что книга, с равным негодованием принятая всеми образованными людьми, действительно принесла своему автору позор. Тогда он писал к бедному уездному священнику отцу Матвею, бывшему ему посредником при вспоможениях бедным — отец Матвей также осудил «Выбранные места» — следующие слова:

Все слова ваши — святая истина... Скажу вам нелицемерно и откровенно, что виной множества недостатков моей книги не столько гордость и самоослепление, сколько незрелость моя. Я начал поздно свое воспитание, — в такие годы, когда другой человек уже думает, что он воспитан. Обрадовавшись тому, что удалось в себе победить многое, я вообразил, что могу учить и других, издал книгу, — и на ней увидел ясно, что я — ученик. Желание и жажда добра, а не гордость, подтолкнули меня издать мою книгу, а как вышла моя книга, я увидел на ней то же, что есть во мне и гордость и самоослепление, и много того, чего бы я не увидел, если бы не была издана моя книга... вы сами, верно, знаете, что от людей близких не услышишь осуждения.

Но когда раздадутся со всех сторон крики по поводу какого-нибудь публичного нашего действия и разберут по нитке всякую речь нашу и всякое слово, и когда, руководимые и личными нерасположениями и недоразумениями, станут открывать в нас даже и то, чего нет, тогда и сам станешь искать

в себе того, чего прежде и не думал бы искать. Есть люди, которым нужна публичная, в виду всех данная оплеуха. Это я сказал где-то в письме, хотя и не знал еще тогда, что получу сам эту публичную оплеуху. Моя книга есть точная мне оплеуха. Я не имел духу заглянуть в нее, когда получил ее отпечатанную: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками, при одной мысли о том, как неприлично и как дерзко выразился я о многом...

Что же до влияния на других, то мне как-то не верится, чтобы от книги моей распространился вред на них. За что богу так ужасно меня наказывать? Нет, он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради моих бес- сильных молитв, то ради молитв тех, которые ему молятся обо мне и умеют угодить ему, — ради молитв моей матери, которая из-за меня вся превра- тилась в молитву.

Фраза из «Выбранных мест», применяемая здесь к себе Го- голем, была публично брошена в глаза ему одним из наших кри- тиков, более всех остальных содействовавшим утверждению ко- лоссальной славы Гоголя, как автора «Ревизора» и «Мертвых душ». В его полной негодования статье о «Выбранных местах» было сказано, после всех жарких опровержений:

«Теперь вопрос: зачем написана эта книга?»

Это так же трудно решить, как и то, зачем написаны автором эти строки: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!»

(«Современник». 1847. № 2. Библиография, стр. 124.)

Эта критика чрезвычайно сильно подействовала на Гоголя, вероятно, сильнее всего, что когда-либо он слышал в осуждение себе. Она послужила причиною, что Гоголь написал в оправда- ние себе «Авторскую исповедь». Но «Авторская исповедь» есть уже вторая, позднейшая редакция оправдания; прежде, Гоголь хотел дать ему форму обширного письма, — письмо это было им изорвано, но издатель «Записок» нашел разорванные лоскутки, сложил их, и таким образом восстановил очень важный факт для истории нашей литературы³.

Публика давно решила спор, признав «Выбранные места» пятном на имени Гоголя, как писателя. Приговор так единодушен и положителен, опирается на таких бесспорных фактах и внушен такими справедливыми понятиями об обязанностях писателя, что нет возможности противоречить ему. Но публика не знает еще — не знаем и мы — Гоголя, как человека, на столько, чтобы с до- статочною точностью решить, должно ли это пятно клеймить его как человека, по внешним соображениям или обстоятельствам ре- шившегося играть роль, жалкие стороны которой он понимал, но надеялся прикрыть блеском своей славы; или его книга свиде- тельствует только о слабости характера, не выдержавшего оболь- щений славы, но искреннего в своем заблуждении, думавшего пе- реучить всех, заставить всех силою своего таланта и славы при- знать справедливым то, что прежде казалось им несправедливым; или, наконец, он предвидел насмешки, которым подвергнется, но совершал высокий, как ему казалось, подвиг, подвергая себя на-

падениям, лишь бы только исполнить долг, возлагаемый на него совестью. Поступал ли он в этом деле как Чичиков, или гордец, или энтузиаст? Кажется, и то, и другое, и третье вместе, но с решительным перевесом на стороне двух последних элементов — гордого самообольщения и особенно энтузиазма. Энтузиазм его несомненен. Как велико было участие расчета? И было ли оно? Об этом пока ничего еще нельзя сказать решительного, кроме только того, что искренность его убеждений едва ли подлежит сомнению; и что если в нем, как во всяком человеке, к чистым побуждениям примешивались расчеты, то все-таки в основании лежало бескорыстное (хотя ошибочное и по своим следствиям вредное) убеждение, а не расчет; что, совершая поступок, повредивший его литературной славе и могший иметь вредное влияние на литературу, он в сущности действовал как честный (хотя и заблуждающийся) энтузиаст. Должно жалеть о нем, но едва ли возможно, несмотря на слабости, развитые в нем различными отношениями, не уважать его, потому что натура его была, как то по всему видно, чрезвычайно благородна и в самом падении сохраняла свою высоту. Кого из пылких людей жизнь не увлекала часто в поступки, недостойные их характера? И, каковы бы ни были некоторые поступки Гоголя и даже некоторые стороны его характера, все-таки нельзя не видеть в нем одного из благороднейших людей нашего века. Лейпциг и Ватерлоо не мешают нам признавать в Наполеоне величайшего полководца своего времени. С жизнью не всегда сладит самый сильный человек, — а Гоголь, при чрезвычайно пылкой натуре, был одарен, как по всему видно, довольно слабым характером. На столько мы уже знаем этого человека, чтобы извинять ему все, в чем еще не можем оправдать его; и все вероятности убеждают нас, что многого мы не можем еще оправдывать только потому, что многого еще не знаем. Гоголь принадлежит к числу людей, которые тем более выигрывают, чем ближе узнаешь их.

Возвращаясь к его обширному оправдательному письму, должны мы заметить, что в сущности защита его против критика, изобличавшего «Выбранные места», ограничивается тем же аргументом, который противопоставлял он г. К. Аксакову: «не ваше дело судить об этом; человеку не дано силы безошибочно различать истину от неправды; вы обижаете меня вашими подозрениями; вы не знаете моих побуждений; вы не поняли моей книги; вы не имеете столько знаний, чтобы судить о подобных вещах; я в вас не признаю авторитета» и т. п. — доводы, к сожалению, очень слабые. Более сильных Гоголь и не мог представить, пока дело шло о том, что напечатано в книге; книгу его нельзя оправдать: она лжива. Можно только понять из его жизни, каким образом дошел он, вовсе не по своей воле, до странных заблуждений, которые казались ему истиной — и теперь это уже довольно ясно.

Мы не воспользовались еще и десятою частью тех новых материалов, которые хотели указать читателю, как особенно важные в «Записках о жизни Гоголя». Но чрезвычайная важность их уже видна из немногих примеров, нами приведенных.

Повторяем: «Записки о жизни Н. В. Гоголя», по высокому интересу содержания, заслуживают самого внимательного изучения со стороны каждого, хотя сколько-нибудь интересующегося историею нашей литературы.

Для легкого чтения. Повести, рассказы, комедии, путешествия и стихотворения современных русских писателей. Том I. СПб. 1856¹.

Книжный магазин Давыдова и Комп. предпринял опыт дешевого компактного издания современных русских беллетристов, и ныне представляет публике начало своего предприятия. Покуда мы успеем сказать только о наружности издания и перечислить его содержание. Наружность довольно красивая, объем значительный (362 стр. в 12 д.), цена 1 р. сер. Содержание 1-го тома:

«Полинька Сакс», повесть *А. Дружинина*.
«Дурочка Дуня», *А. Майкова*.
«Необдуманный шаг», рассказ *Н. Станицкого*.
«Из Байрона» (два стихотворения), *Л **.
«Прохожий», рассказ *Д. Григоровича*.
Три стихотворения *Н. Некрасова*.
«Дневник лишнего человека», повесть *И. Тургенева*.
«Переписка двух барышень», *Н. Станкевича*.

По заглавиям статей читатель видит, что «Легкое чтение» предлагает ему вещи, уже бывшие однажды в печати. Действительно, такова цель издателей: они желают соединить в своем издании повести и рассказы русских писателей, разбросанные в журналах и заслуживающие перепечатки. Вопрос, стало быть, в том: удовлетворителен ли выбор издателей, или, яснее, доступны ли им произведения тех русских писателей, которыми интересуется публика? Ответ на это в вышеприведенном содержании первого тома и в нижеследующем оглавлении второго, который изготовляется к выходу. Содержание 2-го тома:

«Иван Савич Поджабрин», повесть *И. А. Гончарова*.
«Дант в Венеции», стихотворение *Л*.
«Не в свои сани не садись», комедия *А. Н. Островского*.
«На Черном море» (1855), стих. *Я. П. Полонского*.
«Капризная женщина», повесть *Н. Н. Станицкого*.
«Срубленный лес» (отрывок), стихотв. *Н. А. Некрасова*.
«Соседка», повесть *Д. В. Григоровича*.
«Вечерние визиты», рассказ *А. В. С. ****.
«Записки маркера», рассказ *г-р. А. Н. Толстого*.

Мы убеждены, что издание Давыдова и Комп. приобретет себе огромную массу читателей, если состав его будет всегда так блистателен, как в двух первых томах. Обращаем внимание читателей на дешевизну издания, так как эта попытка у нас совершенно новая, принадлежащая магазину, недавно начавшему свою деятельность, — попытка, которую весьма приятно было бы видеть поддержанною со стороны публики: за 400 компактных страниц текста, написанного известными писателями, издатели назначили 1 р. сер. Это, действительно, дешево.

< ИЗ № 6 «СОВРЕМЕННОГО» >

Сочинения Н. В. Гоголя. Тома V и VI. Москва. 1856.

Перепечатывая вторым изданием прежние четыре тома «Сочинений Гоголя», г. Трушковский объявил, что надеется со временем присоединить к ним пятый том, в котором будут собраны не вошедшие в прежнее издание статьи Гоголя, помещенные в «Арабесках» и разных периодических изданиях. Вместо одного тома, г. Трушковский дает теперь два, присоединив к этим статьям «Выбранные места из переписки с друзьями» и несколько неизданных произведений и отрывков, найденных в бумагах Гоголя. «Таким образом, — говорит г. Трушковский, — эти шесть томов, вместе с «Мертвыми душами», составят почти полное собрание сочинений Гоголя». Действительно, только «почти», но еще не совершенно полное. Из напечатанных произведений Гоголя пропущены издателем две статьи, указанные г. Геннади («Список сочинений Гоголя», «Отечественные записки», 1853, № 9); 1) Разбор «Утренней зари» в «Москвитянине», 1843, и 2) «Письмо к М. С. Щепкину из Венеции, о постановке пьесы: «Дядька в затруднительном положении». Кроме того, г. Кулеш указал, что Гоголю принадлежат многие из рецензий, помещенных в пушкинском «Современнике»; без сомнения, некоторые другие статьи могли бы быть указаны друзьями Гоголя и библиографами, например, г. Тихонравовым, которому обязаны мы открытием Ганца Кюхельгартена». Из ненапечатанных отрывков в издание г. Трушковского не вошли отрывки, отысканные и напечатанные г. Кулешем в «Записках о жизни Н. В. Гоголя». Нет сомнения, что при внимательном разборе бумаг, сохранившихся у родственников и друзей Гоголя, найдется еще многое. Содействие библиографов, — особенно г. Тихонравова, могло бы, как видим, быть полезно для г. Трушковского. Со временем, конечно, опущения, теперь сделанные, будут пополнены; но для публики и самой литературы было бы лучше, если бы за один раз дали нам все что отчасти уже найдено, отчасти могло бы быть найдено.

Пересмотрим пока то, что вошло в изданные два тома. Пятый

том разделен на три отдела: 1) статьи из «Арабесков», 2) две статьи из «Современника» 1836—1837 годов: «О движении журнальной литературы» и «Петербургские заметки», 3) неизданные сочинения: «Отрывок неизвестной повести», «Развязка Ревизора», «Отрывок из Мертвых душ». В шестом томе перепечатаны «Выбранные места из переписки с друзьями», и к этим письмам, под именем «Юношеских опытов», присоединены: поэма «Ганц Кюхельгартен», стихотворение «Италия», два отрывка из повести «Страшный кабан» и отрывок «Женщина».

Со временем о каждом из этих произведений и отрывков мы будем говорить подробно, когда будем рассматривать всю литературную деятельность Гоголя. Теперь же, ограничиваясь извещением о содержании вновь изданных томов, взглянем только на статьи, которые являются в печати в первый раз.

«Отрывок из неизвестной повести» принадлежит, по замечанию издателя, к самым ранним произведениям Гоголя и написан им, быть может, еще до «Вечеров на хуторе». Сюжет повести заимствован из малороссийской истории, из времен казацких войн с поляками. Главное действующее лицо знаменитый предводитель казаков Острица. В художественном отношении отрывок слабее «Вечеров на хуторе», но тем не менее многие страницы его таковы, что могли быть написаны только автором «Тараса Бульбы». Приводим две небольшие сцены из первой главы.

Все православные собрались к обедне на светлый праздник. Между народом особенно замечен высокий казак с смелым, одушевленным, но покойным лицом. С церковной паперти слышится крик. Народ бросается узнать, в чем дело, — дело в том, что жида, которым отданы на откуп русские церкви, обижают старика, принесшего к церкви пасху, для освящения.

Три жида отбирали у дряхлого, поседевшего, как лунь, казака пасху, яйца и барана, утверждая, что он не вносит за них денег. За старика вступилось двое стоявших около него; к ним пристали еще, и наконец целая толпа готовилась задавить жидов, если бы тот же самый широкоплечий, высокого роста, чья физиономия так поразила находившихся в церкви, не остановил одним своим мощным взглядом. «Чего вы, хлопцы, сдуру беснуетесь? У вас, видно, нет ни на волос божьего страха. Люди стоят в церкви и молятся, а вы тут чорт знает что делаете. Гайда по местам!» Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам, рассуждая, что это за чудо такое, откуда оно взялось и с какой стати вяжется он, когда его не просят, и отчего он хочет, чтобы слушались. Но это каждый только подумал, а не сказал вслух. Взгляд и голос незнакомца как будто имели волшебство: так были повелительны. Один жид стоял только не отходя, и как скоро оправился от первого страха, незваную помощью, начал было снова приступать, как тот же самый и схватил его могучею рукой за ворот так, что бедный потомок Израилев съехался и присел на колени. — «Ты чего хочешь, свиное ухо? Так тебе еще мало, что душа осталась в галанцах? Ступай же, тебе говорю, поганая жидовина, пока не оборвал тебе пейсики». После того толкнул он его, и жид растался на земле, как лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бежать; спустя несколько времени, возвратился с начальником польских улан. Это был довольно рослый поляк, с глупо дерзкою физиономиею, которая всегда почти отличает полицейских служителей. «Что это? Как это?.. Гунство, теремтете?

Зачем драка, холопство проклятое? Лысый бес в кашу с смальцем! Разве? Что вы?.. Что тут драка? Порвала бы вас собака!.. Блюститель порядка не знал бы, куда обратиться и на кого излить поток своих наставлений, приправляемых бранью, если бы жид не подвел его к старому козаку, которого волосы, вздуваемые ветром, как снежный иней серебрились. «Что ты, глупый холоп, вздумал? Что, ты драку начал, драку? Пасе мазепято, гунство! Знаешь ты, что жид? Гунство проклятое!.. Знаешь, что борода поповская не стоит подшвы?.. Чорт бы тебя схватил в бане за луп!.. У него оломец краше, чем ваша холопска вяр...» Тут он схватил за волосы старца и выдернул клоч серебриных волос его...

Глухое стенание испустил старый козак.

«— Бей еще! Сам я виноват, что дожил до таких лет, что и счет им потерял. Сто лет, а может и больше, тому назад меня драли за чуб, когда я был холопом у батка. Теперь опять бьют. Видно, снова воротились лета мои. Только нет, не то, не в силах теперь и руки поднять. Бей же меня!..» При сих словах двадцатилетний старец наклонил свою белую голову на руки, сложенные крестом на палке, и, подперевшись ею, долго стоял в живописном положении. В словах старца было невероятно трогательное. Заметно было, что многие хватились рукою за сабли и пистолеты, но вид стольких усатых уланов на лошадях и несколько слов, сказанных незнакомцем, заставили всех принять положение моельщиков и креститься.

«— Что ты врешь, глупый мужик, теремтете! Чтобы я на тебе руки поганил, гунство пооклятое! Лысый бес рогатый тебе в кашу! Грошко! Возьми от него пасху! Пусть его одним овсяным сухарем разговеешь. Вишь, гунство проклятое!» говорил блюститель правосудия, подвигаясь к ряду девичьему и ушипнув одну из них за руку. «Что за лоака? Ох, славная девка! Вишь драку!.. Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь, глупый мужик... порвала бы его собака!.. Ай, ай, ай! Сколько тут жиру!..» Блюститель порядка верно себе позволил нескромность, потому что одна из девушек вскрикнула во все горло. В это время пасхи были освящены и обедня кончилась, и многие уже стали расходиться. Несколько только народу обступило козака, так заинтересовавшего толпу, который между тем подходил к исправлявшему звание алгнзичила.

«— Славный у тебя вс, пан!» проговорил он, подступив к нему близко.

«— Хороший! У тебя, холопа, не будет такого», произнес он, расправляя его рукою. — «Славный! Только не туда ты, пан, крутишь его. Вот куда нужно крутить!» Мощный козак дернул сильною рукою так, что половина уса осталась у него. Старый волокита захрапел и заревел от боли. Лицо его сделалось цвета вареной свеклы. «Рубите его, рубите лайдака!» — кричал он, но почувствовал себя в руках высокого козака и, увидя насмешливые лица всех, стал искать глазами своих воинов. Малеванный шут струсил...

«— Как же тебе, пан, не совестно бить такого старика! А если бы твоего старого отца кто-нибудь стал бесчестить так поносно при всех, как ты обесчестил старейшего из всех нас? Что тогда? Весело тебе было бы терпеть это? Ступай, пан! Если бы ты не у короля в службе был, я бы тебя не выпустил живого». — Выпущенный пленник побежал, отряхиваясь. За ним следом повалил народ. Между тем козак, отвязавши коня, привязанного к церковной ограде, готовился сесть, как был остановлен среднего роста воином, посевевшим человеком, который долго не отводил от него внимания и заглядывал ему в глаза с таким любопытством, как иногда собака, когда видит ядущего хлеб. «Добродию! ведь я вас знаю». «Может быть и правда.» «Ей-богу знаю. Не скажу, так точно знаю. Ей-богу знаю! Чи вы Острица, чи вы Омельченко?» «Может, и он». «Ну так! Я стою в церкви и говорю: вот тот, что стоит возле его, то Острица. Ей, ей, Острица. Да может быть и нет, может быть и не Острица. Нет, Острица. Ей, тебе так показалось. Ну как нет? Острица да и Острица. Как только послушал голос, ну тогда и рукою махнул. Вот так точнехонько, покойный батюшка. Пусть ему легко икнется на том свете! Так же разумно, бывало, каждое слово ответит».

Острианица узнает в старике удалого казака Пудька. Они вместе едут на хутор Острианицы. Проезжая мимо площади, Пудько замечает, что народ весь столпился в кучу. «Верно что-нибудь произошло между народом», говорит он своему спутнику.

В самом деле, на открывшейся в это время из-за хат площади, народ сросся в одну кучу. Качели, стрельба и игры были оставлены. Острианица, взглянувши, тотчас увидел причину: на шесте был повешен, вверх ногами, жид, тот самый, которого он освободил из рук разгневанного народа. На ту же самую виселицу тащили храбреца с оборванным усом. Острианица ужаснулся, увидев это. «Нужно поспешить», — говорил он, прищиприв коня. «Народ не знает сам, что делает. Дурни! Это на их же головы рушится. — Стойте, казаки, рыцарство и посполиный народ! Разве этак по-козацки делается?» произнес он, возвыся голос. — «Что смотреть его!» послышался говор между молодежью. «В другой раз хочет у нас вытащить из рук». — «Послушайте, у кого есть свой разум». — «Он правду говорит», — говорило несколько умеренных. «Молоды вы еще, я вам расскажу, как делают по-козацки. Когда один да выйдет против трех, то brave козак против десяти — еще лучше! Один против одного не штука. Когда ж три на одного нападут, то все не казаки. Бабы они тогда, то, что... плюнуть хочется, для святого праздника не скажу срамного слова. Как же хотите теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитного, как будто на какую крепость страшную? Спрашиваю вас, братцы», продолжал Острианица, заметив внимание, — «как назвать тех?..» — «А чем назвать его», заговорили многие вполголоса. «Что ж есть хуже бабы, или того, что он постыдился сказать, мы не знаем?» — «Э, не к тому речь, паночке, своротил», произнесло в голос несколько парубков. «Что ж? Разве мы должны позволить, чтоб всякая падала топтала нас ногами?» — «Глупы вы еще, не велик ус у вас», продолжал Острианица. При этом многие ухватились за усы и стали подкручивать их, как бы в опровержение сказанного им. «Слушайте, я расскажу вам одну присказку. Один школяр учился у одного дьяка. Тому школяру не удалось слово божье. Верно, он был придурковат, а может быть и лень тому мешала. Дьяк его поколотил дубинкою раз, а после в другой, а там и в третий. «Крепко бьется проклятая дубина», сказал школяр, принес секиру и изрубил ее в куски. «Постой же ты», сказал дьяк, да и вырубил дубину, толщиною в оглоблю, и так погладил ему бока, что и теперь еще болят. Кто ж тут виноват, дубина разве?» — «Нет, нет», — кричала толпа: «Тут виноват король!..»

Радуюсь, что наконец удалось успокоить народ и спасти шляхтича, Острианица выехал из местечка и прищипорил коня сильнее, и услышал, что его нагоняет Пудько. Как-то тягостно ему было видеть возле себя другого. Множество скопившихся чувств нудило его к раздумью. Свежий, тихий весенний воздух и притом нежно одевающиеся деревья как-то расположили в такое состояние, когда всякий товарищ бывает скучен в глазах вечно упористой природы. И потому Острианица выдумал предлог отослать вперед Пудьку в хутор и ожидать его там; а сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил с дороги.

Этим распоряжением Пудько, кажется, не был недоволен, или, может, только принял на себя такой вид, потому что через это нисколько не изменял любимой привычке своей говорить. Вся разница, что, вместо Острианицы, он все это пересказывал своему гнедко... «О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, гнедко! Он тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляхов, он славно им дал перепойку. Дали б и они ему перцу, когда бы не улизнул на Запорожье. А правда, не важно жид боится на виселице. А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в голове, ну да что ж делать? Он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь, за что ж жид повесили, ведь и он от короля поставлен? Гм! ведь ты дурак, гнедко! Он за то

враг Христов, нашего бога святого». Тут он ударил хлыстом своего скромного слушателя, который, убаюкиваемый его рассказами, развесил уши и начал ступать уже шагом. «Оно не так далеко и хутор, а все лучше раньше поспеть. Уже давно пора, хочется разговестись святою пасхою. Говори, мол, мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко: у пана славный овес, и пшеницы дам вволю, и сивухю попотчивают. Я давно хотел у тебя спросить, гнедко, что лучше для тебя, пшеница или овес? Молчишь? Ну и будешь же век молчать, потому что бог повелел только человеку, да еще одной маленькой птичке...»

При этом он опять хлестнул гнедка, заметив, что он заслушался и стал выступать попрежнему...

Очевидно, повесть оставлена недоконченною потому, что Гоголь нашел в «Тарасе Бульбе» сюжет, более удобный для осуществления его идеи — представить Запорожье и казачество в полном разгаре борьбы за веру и народность. Некоторые эпизоды «Тараса Бульбы» сохранили следы близкого родства с найденным теперь отрывком.

«Развязка Ревизора», написанная в 1847, представляет мало новых мыслей, после «Театрального разъезда» и «Выбранных мест». Гоголь выводит на сцену артистов, игравших в пьесе, и трех любителей театра, отдавая главную роль — «главного комического актера» — г. Щепкину, которому актеры подносят венок за игру его в роли городничего. Любители театра высказывают о «Ревизоре» мнения, сходные с теми, какие уже были подмечены Гоголем в «Разъезде»; главный комический актер разрешает их недоумения размышлениями в духе «Переписки с друзьями». Гоголь заходит так далеко, что хочет даже выставить «Ревизора» не комедиею из общественных нравов, а аллегориею. Один из любителей театра говорит, что автор оскорбляет зрителей, изображая своею комедиею их недостатки, заставляя зрителей видеть в самих себе нравственных уродов. «Нет, возражает ему главный комический актер, автор имел вовсе не ту цель:

Нет, Семен Семеныч, не о красоте нашей должна быть речь, но о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедию, да не окончилась бы такой трагедией, какою кончилась эта комедия, которую только что сыграли мы. Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться! Ревизор этот наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же откроется такое страшное, что от ужаса подымается волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее. На место пустых разглагольствований о себе и похвальбы собой да побывать теперь же в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей! В начале жизни взять ревизора, и с ним об руку переглядеть все, что ни есть в нас, настоящего ревизора, не подложного! не Хлестакова! Хлестаков — щелкопёр, Хлестаков ветреная светская совесть, продажная обманчивая совесть, Хлестакова подку-

пят как раз наши же, обитающие в душе нашей, страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и оправдался. Вышел чуть не святой. Думаете, не хитрей всякого плута-чиновника каждая страсть наша, и не только страсть, даже пустая пошлая какая-нибудь привычка? Так ловко перед нами вывернется и оправдается, что еще почтешь ее за добродетель, и даже похвастаешься перед своим братом и скажешь ему: «Смотри, какой у меня чудесный город, как в нем всё прибрано и чисто!» Лицемеры наши страсти, говорю вам, лицемеры, потому, что сам имел с ними дело. Нет, с ветреной светской совестью ничего не разглядишь в себе, и ее самую они надуют, и она надует их, как Хлестаков чиновников, и потом пропадет сама, так что и следа ее не найдешь. Останешься, как дурак-городничий, который занесся уже было ни весть куда, и в генералы полез, и наконец стал возвещать, что сделается первым в столице, и другим стал обещать места, и потом вдруг увидел, что был кругом обманут и одурачен мальчишкою верхоглядом, вертопрахом, в котором и подобья не было с настоящим ревизором. Нет, Петр Петрович, нет, Семен Семеныч, нет, господа, все, кто ни держитесь такого же мнения, бросьте вашу светскую совесть. Не с Хлестаковым, но с настоящим ревизором оглянем себя! Клянусь душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем.

Это натянутое объяснение, конечно, нимало нейдет к делу и замечательно только своею странностью. Вообще, «Развязка Ревизора» есть следствие того же настроения духа, которое побуждало Гоголя напечатать «Завещание» и «Выбранные места»; пьеса эта так же слаба, как худшие страницы в «Выбранных местах».

Отрывок из «Мертвых душ» был напечатан в 1-й книжке «Русского вестника». Произведения, собранные издателем под названием «Юношеских опытов», все напечатаны Гоголем до издания «Вечеров на хуторе», но могут считаться почти совершенно неизвестными публике, кроме стихотворения «Италия», которое недавно было приведено г. Тихонравовым в одной из его статей. О том, что «Ганц Кюхельгартен» поэма очень слабая даже и для тогдашнего времени (1829 г.), не может быть ни малейшего спора; но она интересна в том отношении, что по сюжету не походит на тогдашние кровавые поэмы с небывалыми злодействами и трескучими катастрофами: Ганц, увлеченный идеальными стремлениями, начинает тосковать в скромной и тихой доле, которую дает ему судьба; он покидает любящую его кроткую невесту, чтобы предаться науке, искусству, утолить жажду кипучей юношеской деятельности, но, утомленный бесплодною погоней за мечтами, возвращается в свой мирный и прозаический городок, к своей милой Луизе, и поэма кончается веселою свадьбою; и насколько поэма Гоголя в художественном отношении ниже других тогдашних поэм, настолько же сильнее их она тем, что есть в ней некоторые проблески чего-то похожего на сочувствие к действительной жизни, а не к одним только вычитанным из непонятого Байрона мелодраматическим грёзам.

Отрывки из рассказа «Страшный кабан», напечатанные в «Литературной газете», должны быть поставлены выше отрывка

из исторической повести, о которой говорили мы выше, — если бы «Страшный кабан» был закончен, он был бы разве немногим слабее «Сорочинской ярмарки» или «Ночи перед рождеством».

История балтийских славян А. Гильфердинга.

Том I. Москва. 1855.

Людям, занимающимся славянскою филологиею, имя г. Гильфердинга известно по двум сочинениям, которые отличались более странностью тенденции, нежели основательностью изыскания. Не подлежит ни малейшему сомнению, что славянский язык имеет ближайшее сродство с другими европейскими языками индо-европейского семейства: литовским, немецким, латинским, греческим; все они вместе составляют западную ветвь индо-европейского семейства; другие языки того же племени — санскритский, зендский и персидский, принадлежат к восточной его ветви; с ними европейские языки находятся уже не в таком близком родстве, как между собою. Это истина, такая же очевидная для каждого филолога, как для каждого из нас то, что Москва есть европейский город, а Бенарес — азиатский. Но г. Гильфердингу вздумалось, что ближайшее родство с индийцами есть почетнейший титул, каким только может украшаться какой бы то ни было народ, и он решился доставить нам эту честь, — намерение доброе, но противоречащее положительным выводам науки. Г. Гильфердинг отверг все правила, которые в деле филологических исследований необходимы, чтоб не сбиться с прямого пути, и написал две книги в доказательство того, что славянский язык не европейский, а азиатский язык; чтобы Европа, лишаясь одного из лучших своих языков, не осталась в убытке, он доказывал в то же время, что она должна отнять у Азии персидский язык¹. Не знаем, считает ли теперь он свою цель уже достигнутою, или убедился в бесполезности желания и в невозможности достигнуть ее, только за двумя книгами, сочиненными им в доказательство азиатства славян, не являются следующие пять или шесть книг, которые он хотел написать в дальнейшее подтверждение вышеобъясненного доброго намерения. Вместо того, он занялся, как теперь видим, «Историею балтийских славян».

Это дело гораздо полезнее для русской публики, да и для науки, нежели противные научной очевидности рассуждения о ближайшем родстве славян с браминами. Но и тут г. Гильфердинг имел отчасти умысел, которого нельзя похвалить: он хочет запугать нас немцами, хочет научить нас, что от немцев следует нам держать себя подальше, а то — долго ли до беды? — как раз они погубят нашу славянскую народность, онемечат нас. Он представляет тому поразительный пример в судьбе балтийских славян. Сколько их было! — лютичи, бодричи, стодоряне, поморяне, — и

все говорили по-славянски; и какой народ был! — воинственный и храбрый, сносливый и упорный, честный, в семейном союзе крепкий, добродушный, гостеприимный, человеколюбивый; и какие города у них были! — Рана, Колобрег, Гданск, Аркона, Щетин, Радигощ, — какие у них идолы были! — Триглав, Белбог, Чернобог, Радигость, Яровит, Святовит, да еще не просто Святовит, а Сварожич; и какие пироги пекли они Святовиту! — из сладкого теста, круглые, вышиною почти в человеческий рост... и что же теперь? нет ни Триглава, ни Святовита Сварожича, — пироги из сладкого теста правда есть, но уже не в человеческий рост вышиною, — и Щетин называется Штеттином, а Гданск Данцигом, и не умеют потомки поморян и стодорян говорить по-славянски, и будто истые немцы пьют пиво вместо славянского меда.

А отчего погибли балтийские славяне? Не оттого только, что были побеждаемы немцами, но еще больше оттого, что полюбили немецкие нравы и сами исказили свою народность. «Предмет близок нам, — говорит г. Гильфердинг в предисловии, — есть много поучительного в судьбе балтийских славян, ибо не одна только внешняя сила погубила их: сильнее оружия германцев действовало внутреннее зло, искажение коренных начал славянской жизни». Предмет вовсе не близок нам, — думаем мы, — если близость его полагать в сходстве нашего положения с положением балтийских славян в IX—XII веках, и никакого поучения не можем мы извлечь из их судьбы, а могли бы извлекать его для себя разве немецкие колонисты в Саратовской губернии, Новороссийском крае и т. д.: не русским грозит опасность онемечиться — она от нас так же далека, как опасность отуречиться или омордвиниться; во всем русском царстве нет ни одного русского человека, дети или внуки которого могли бы сделаться немцами; напротив, люди немецкого происхождения мало-помалу принимают нашу народность; например, г. Гильфердинг, как по всему видно, чисто русский человек, никак не менее всех наших Ивановых, Андреяновых, Поповых или Калашниковых, а, между тем, фамилия г. Гильфердинга доказывает, что его предки были немецкого происхождения. Какое же тут сходство с балтийскими славянами? Те сами онемечивались; а живучи между нас, русеют иноплеменники, к обоюдному удовольствию коренных русских и самих русеющих иноплеменников.

Вот совершенно другое дело вторая причина «близости к нам предмета», также указываемая нам г. Гильфердингом: «балтийские славяне были братья русского народа», — это указание основательно. Мы рады выслушать подробный рассказ о судьбе своих братьев. Но не мешает при этом заметить, что онемечившиеся потомки балтийских славян, населяющие восточную часть Пруссии, Мекленбург и пр., совершенно довольны своею участью, забыли о всякой вражде с немцами и даже считают себя немцами с такою

же основательностью, как мы, согласно с самим г. Гильфердингом, считаем г. Гильфердинга вполне русским. А если сами потомки балтийских славян не имеют ныне охоты сердиться на немцев, то мы с г. Гильфердингом уж и подавно не имеем основания сердиться на немцев, за то, что они онемечили поморян, череспенян, доленчан и глинян. Пора говорить хладнокровно о том, что было за тысячу или за восемьсот лет. Можно, кажется, не оскорбляя никого, сознаться, что если немцы, во время войны с балтийскими славянами, делали им много вреда, то и балтийские славяне не оставались у немцев в долгу. Мы советуем г. Гильфердингу оставить вражду к немцам: иначе — чего доброго — явится по его примеру какой-нибудь историк, который будет враждовать против русских и в том числе против г. Гильфердинга за то, что ныне муромцы говорят по-русски — ведь они потомки муромы, которая, в то самое время, когда балтийские славяне говорили по-славянски, говорили не по-славянски, а по-муромски.

Но хорошо, по крайней мере, то, что г. Гильфердинг от фантастических изысканий перешел к занятию предметом серьезным; еще лучше то, что в новой его книге гораздо менее произвольных толкований, нежели в первых сочинениях, — ныне он соблюдает правила науки, которым не подчинялся прежде. Желает, чтобы этот шаг вперед не был последним и чтоб г. Гильфердинг вполне убедился, что беспристрастная истина — лучшее поучение и русскому, и немецкому, и всякому другому народу.

Новое сочинение показывает в г. Гильфердинге человека трудолюбивого и умевшего приобрести довольно обширные знания по своей специальности. Важных ученых открытий в истории балтийских славян до IX века, которым кончается первый том, мы не заметили в его книге; но некоторые частные догадки его справедливы. Надобно надеяться, что мы будем иметь в нем хорошего и деятельного славяниста.

<ИЗ № 7 «СОВРЕМЕННОГО»>

Понятия Гопкинса о народном хозяйстве. С английского. В*.**
Москва. 1856.

«Сочинение, предлагаемое в настоящем переводе, принадлежит к наиболее удачным опытам изложения главных положений науки о народном богатстве, в самой простой и удобопонятной форме», говорит издатель перевода, г. И. Вернадский, в предисловии. — Оно до такой степени приспособлено к понятиям большинства современных читателей, прибавляет «библиографическая заметка», подписанная буквами И. В., что его «с равною пользою

может читать и человек, получивший некоторое образование, и круглый невежда или дитя». — Сообразно тому, дополняет в предисловии г. И. Вернадский, «некоторые из издаваемых рассказов были помещены в детском журнале «Звездочка». — Посмотрим же, чему Гопкинс может научить большинство современных читателей и детей.

Гопкинс думал, что если бы не было на свете излишней роскоши, то не было бы и крайней бедности. Волшебница, по его желанию, уничтожает всю роскошь в мире. Что же выходит? Бедняки, которые до сих пор снискивали пропитание тем, что работали в мастерских, где делаются великолепные экипажи, ткуются тончайшие батисты и кружева, и т. д., остаются без работы и умирают с голоду. Тогда Гопкинс бросается к ногам волшебницы и умоляет ее привести дела в прежний порядок, — волшебница взмахнула жезлом — опять появляются великолепные дома, богатые экипажи, кружева и т. д., и снова все «приняло вид довольства и счастья». — Нравоучение изложено, как видим, очень популярно: роскошь не источник нищеты, а, напротив, истинное благодеяние для бедняков; только благодаря ей бедняки имеют средство существовать на свете. Еще осязательнее выражена эта мысль «Благотворителем» г. Н. Ф. Павлова («Русский вестник», № 9-й):

В увеселениях безвредных
Спектаклей, балов, лотерей,
Весь год я тешил в пользу бедных
Себя, жену и дочерей.

Для братьев сирых и убогих
Я вовсе выбился из сил;
Я танцевал для хромоногих,
Я для голодных ел и пил.

Рядился я для обнаженных,
Для нищих сделался купцом,
Для погоревших, разоренных
Отделал заново свой дом.

Моих малюток милых кучу
Я человечеству обрек:
Плясала Машенька качучу,
Дивила полькою Сашок.

К несчастным детям без приюта
Питая жалость с ранних лет,
Занемогла моя Анюта
С базарных фруктов и конфет.

Я для слепых пошел в картины
И отличался как актер,
Я для глухих пел каватины,
Я для калек катался с гор.

Ведь мы не варвары, не турки:
Кто слезы отереть не рад?
Ну, как не проплясать мазурки,
Когда страдает меньший брат?

Во всем прогресс по воле неба;
Закон развития во всем:
Людей без крова и без хлеба
Все больше будет с каждым днем.—

И с большей жаждой дел прекрасных
Пойду, храня священный жар,
Опять на все я за несчастных —
На бал, на раут, на базар!

Кто ж, кроме Гопкинса, поверит фокусам волшебницы? Книжка, изданная г. Вернадским, приспособлена «к понятиям большинства современных читателей»; стало быть, современные читатели считаются круглыми невеждами, которые верят в колдунов, которых можно забавлять волшебными сказками (очень лестное и деликатное предположение!); но и круглые невежды не лишены хотя природного здравого смысла, а он говорит, что роскошь разорительна каждому: это известно из ежедневных примеров. Это знают и дети, для которых также предназначена книжка: древняя история объяснила им, что пока Цинциннаты и Регулы пахали землю, Рим был могуществен, а когда явились в Риме Лукуллы и Апиции, вся Италия обратилась в пустыню и Римская держава погибла. Неужели, в самом деле, политическая экономия противоречит здравому смыслу, житейскому опыту и истории? Вовсе нет. Волшебница обманула Гопкинса, являсь перед ним истолковательницей политической экономии; она запугала его галлюцинацией. В самом деле, производство предметов роскоши дает пропитание только незначительному числу работников, а не большинству их, как уверяет волшебница; масса работников во всех странах занята производством предметов первой необходимости: хлеба, мяса, холста и хлопчатобумажных тканей, инструментов и машин и пр., и из их скромного заработка половина, если не больше, берется роскошью для прихотей незначительного по числу меньшинства. При уменьшении роскоши, общественное благосостояние возвышается потому, что капитал и труд обращаются на усиление производства предметов первой необходимости. Тогда и работники, прежде занимавшиеся производством предметов роскоши, легко находят себе занятие при усиленном производстве предметов первой необходимости. Напротив, при увеличении роскоши, от сельского хозяйства и необходимых обществу работ отнимаются руки и капиталы на служение тщеславию, прихотям, бесплодным в экономическом отношении. Эти истины науки, конечно, известны г. Вернадскому, пользующемуся у нас известностью одного из лучших экономистов, и тем более странно, что он одобряет книгу,

в которой на первых же страницах защищаются односторонние понятия, уже давно отвергнутые наукою.

Посмотрим, не вознаградит ли за ошибочность первой сказки основательность второй. Гопкинс, разочаровавшись в своем желании заменить растрату экономических сил на роскошь обращением их на полезный для общества труд, думает, что, по крайней мере, хорошо было бы, если бы заработная плата повысилась, потому что в настоящее время она (в Англии) недостаточна. Волшебница исполняет и это желание. Гопкинс и другие работники получают платы вдвое больше, — и что же? цены на все товары поднялись вдвое. Гопкинсу и его товарищам нет никакой выгоды, потому что, вдвое больше получая, они должны вдвое больше платить за все. — Волшебница опять обманула нерасчетливого Гопкинса: от двойного повышения заработной платы цена товаров не поднимется вдвое, а только в гораздо меньшей пропорции. Это легко доказать. Нормальная цена товаров определяется издержками производства; они состоят из двух элементов: 1) заработной платы, 2) процентов с капитала, употребляемого на производство. Из 10 000 р. сер., доставляемых продажей товаров известной фабрики, разве 5000 выплачивается рабочим; остальная часть ценности идет на проценты употребленного капитала. Положим теперь, что заработная плата повысилась вдвое. Тогда общие издержки производства повысятся в полтора раза (10 000 заработной платы, 5000 процентов с капитала, — всего 15 000). Цена товаров поднимется тоже только в полтора раза. Гопкинс, в качестве работника, прежде получал 100 р., теперь получает 200 р. сер. Предметы, которые он прежде покупал за 100 р. сер., теперь он купит за 150 р.; а 50 р. останутся у него в кармане, и он может приберечь их на черный день или приобрести за них житейские удобства, которых не имел прежде. Это давно объяснено наукою.

Волшебница обманывает бедного Гопкинса своими фокусами.

Английская книжка, изданная теперь в русском переводе г. Вернадским, написана вовсе не за тем, чтобы изложить науку в истинном ее виде, а просто с тою целью, чтобы правдою и неправдою доказать английским фабричным, что напрасно мечтают они о средствах к улучшению своего положения: положение фабричных рабочих не может быть улучшено. В Англии распространять такое безотрадное и несправедливое убеждение нужно для политических видов некоторых партий, противящихся всем улучшениям, — тех самых партий, которые хотели бы восстановить законы против католиков, запретить ввоз иноземного хлеба, которые защищают продажность офицерских чинов в английской армии и подкупы на парламентских выборах. Книжка написана с односторонней и лживой целью. Она излагает понятия, неосновательность которых давно доказана. Мы жалеем о том, что выбор переводчика был так ошибочен: жалеем также, что ученый

издатель книжки, г. Вернадский, не заметил необходимости исправить, по возможности, эту ошибку прибавлением замечаний, которыми бы обнаружилась лживость фокусов, придуманных автором английской книжки для ослепления людей, не знакомых с политической экономией.

Статистическое описание Киевской губернии, изданное тайным советником, кавалером Иваном Фундуклеем. Три тома. СПб. 1852.

Хотя печатание трех первых томов громадного труда, изданного г. Фундуклеем и чрезвычайно драгоценного по богатству представляемых им данных, было окончено еще в 1852 году, как видим из заглавного листа, но поступили в продажу эти три тома только на-днях, почти четыре года пролежав в кладовых. Спешим известить читателей о выходе в свет этого важного сборника, оставляя за собой приятную обязанность в непродолжительном времени говорить подробно о капитальном труде, изданном г. Фундуклеем.

Г. Фундуклей уже заслужил признательность наших ученых двумя прекрасными изданиями: «Обозрение Киева в отношении к древностям» (Киев, 1847 г.) и «Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии» (Киев, 1848 г.). Изданное теперь сочинение доставляет ему новые права на общую благодарность.

Занимая в продолжение тринадцати лет должность киевского гражданского губернатора, г. Фундуклей имел для этого дела средства, каких не может иметь частный человек, и воспользовался своим положением самым благородным и полезным для науки образом. По его поручению, многие лица трудились над доставлением или обработкою статистических материалов; главным распорядителем труда и редактором сочинения был известный наш экономист г. Журавский. Материалы не только извлекались из всех официальных документов, но также собирались из сведений, нарочно для этой цели доставляемых, по желанию г. Фундуклея, многими частными лицами (помещиками и управителями имений, заводчиками, фабрикантами и проч.), и, наконец, добывались посредством особо назначаемых исследований. Масса материалов, собранных таким образом, громадна.

Из вышедших ныне томов, первый содержит обозрение площади Киевской губернии, ее населения, населенных мест и путей сообщения; второй — обозрение сельского хозяйства и поземельной собственности; третий — обозрение промышленности и торговли. Четвертый том, еще не изданный в свет, будет заключать обозрение местного управления и правительственных учреждений.

De l'or et de l'argent etc., par Narcès Tarassenko Otreschkoff. Paris. 1856. (О золоте и серебре, их происхождении, количестве их, добытом во всех странах известного света, с отдаленнейших времен до 1855 года, нынешнем накоплении этих металлов в главнейших государствах и их взаимном отношении по весу и ценности. Сочинение Тарасенко-Отрешкова, камергера двора его величества императора всероссийского, статского советника, члена императорского Экономического общества, Московского общества сельского хозяйства и общества сельского хозяйства Южной России и проч. Том первый. Париж. 1856.)

Открытие богатых золотых приисков в Калифорнии и Австралии, значительно увеличив массу золота, находящегося в обращении, заставило многих ученых, занимающихся государственным хозяйством, опасаться, что если новооткрытые прииски не истощатся в скором времени, то золото упадет в цене и быстрое понижение его ценности произведет экономический кризис. В последние пять или шесть лет являлось очень много сочинений об этом вопросе. Один из наших соотечественников, г. Тарасенко-Отрешков, пожелал принять деятельное участие в этих исследованиях. Первая часть его сочинения, теперь изданная на французском языке, включает в себе сведения о добывании золота и серебра и о количестве этих металлов, ныне находящемся в обращении. Его известия о способах добывания благородных металлов в России представляют несколько подробностей, интересных для западных ученых, и потому книга его, во всяком случае, имеет положительные достоинства.

Во второй части своего труда г. Тарасенко-Отрешков намерен изложить соображения о влиянии, какое будет иметь настоящее увеличение массы золота на ценность этого металла и на экономические отношения. С изданием этой части точнее определится ученое значение сочинения, и до того времени мы отлагаем суждение о нем.

Рассказы и воспоминания охотника. С. Аксакова. Издание второе, с несколькими новыми заметками. Москва. 1856.

В предисловии к первому изданию этой книги почтенный автор «Записок ружейного охотника» говорил:

«Есть что-то невыразимо утешительное и обольстительное в мысли, что, передавая свои впечатления, возбуждаешь сочувствие к ним в читателях, преимущественно охотниках до каких-нибудь охот. Вот причина, заставляющая меня писать: я признаюсь в ней откровенно, а равно и в желании, чтобы книжка моя имела такой же успех, как и прежние мои охотничьи заметки».

Желание его исполнилось, и второе издание книги, встреченной общими похвалами, служит тому доказательством.

Общий курс истории средних веков. Сочинение М. Стасюлевича.
СПБ. 1856.

Не отличаясь никакими положительными достоинствами, «курс» г. Стасюлевича, однако ж, заслуживает одобрения потому, что лучше многих других руководств, которыми пользуются преподаватели всеобщей истории, не имеющие возможности ввести в употребление между своими учениками сочинение г. Лоренца. Факты изложены у г. Стасюлевича сухо, бесцветно, но все-таки он сделал некоторое различие между мелочными подробностями и существенно важным и не слишком обременил свое руководство излишними именами и цифрами. Важные события выставлены у него не так рельефно и ясно, как того было бы можно требовать, но все-таки не совершенно закрыты длинными перечнями ничтожных походов и стычек. И если вообще «курс» г. Стасюлевича написан по той же неудовлетворительной системе, как прежние наши учебники всеобщей истории, то написан с несколько большим знанием и искусством. Многие из преподавателей, вероятно, будут и этим довольны.

Южно-русские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским.
Том I. Киев. 1856.

В маленькой книжке, изданной под этим заглавием г. Белозерским, напечатано шесть небольших сочинений, относящихся к истории Малороссии и отысканных издателем в рукописных сборниках XVII—XVIII столетий. Четыре первые статьи имеют летописный характер, именно: 1) «Черниговская летопись», 1587—1700 годов (стр. 11—44); 2) «Краткое летоизобразительное знаменитых и памяти достойных действ и случаев описание, что в каком годе в Украине Малороссийской деялось», 1506—1783 годов (стр. 53—106); 3) «Хронология высокославных яснегельможных гетманов» (стр. 109—124), и 4) «Именная перепись малороссийских гетманов», 1505—1782 годов (стр. 129—140). К этим хронологическим перечням приложением служат: 5) «Слово во время бездождья и глада и всякая пагубы», относящееся к концу XVII века, и 6) «Лямент людей побожных, що ся стало в Литовской земли», написанный несколько раньше «Слова». Эти материалы, остававшиеся доселе неизданнымч, представляют несколько фактов и указаний, которые не будут бесполезны для исследователя малорусской истории. Из шести напечатанных в I томе статей важнее других №№ 1 и 3: «Черниговская летопись» и «Хронология яснегельможных гетманов».

Руководство статистики европейских государств. Составлено ординарным профессором императорского С.-Петербургского университета и проч. Игнатием Ивановским. СПб. 1856.

Сочинение г. Ивановского, с высочайшего разрешения, посвящено августейшему имени благополучно царствующего государя императора. Это разрешение, а также и известность, какую пользуется ученый автор, ручаются за достоинство его «Руководства».

В Статистике г. Ивановского гораздо менее цифр и таблиц, нежели бывает обыкновенно в сочинениях подобного рода. Автор, конечно, имел при этом в виду сделать свое руководство удобным для классного преподавания и не желал обременять учащихся численными данными, которые с таким трудом удерживаются памятью. Зато он, повидимому, особенно заботился о передаче общих статистических и политико-экономических понятий в надлежащей полноте и ясности, и хорошо достиг этой цели.

<ИЗ № 8 «СОВРЕМЕННОГО»>

О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала.

Речь, произнесенная в торжественном собрании императорского Казанского университета ординарным профессором политической экономии и статистики Иваном Бабстом 3 июня 1856 года. Казань. 1856.

Привычка заставляет нас, наученных горькими опытами, не ожидать от «торжественных речей» ничего другого, кроме пышных и пустых фраз, кроме велеречивого многословия, кроме безжизненных общих мест. К счастью, не такова «Речь» г. Бабста. Это произведение, можно сказать, образцовое по дельности и благородству мысли, по живости изложения, по обилию интересных и поучительных фактов. Рекомендуем эту прекрасную «Речь» вниманию каждого образованного читателя. Нам хотелось бы, чтоб вся публика познакомилась с нею, и так как брошюра г. Бабста напечатана, без сомнения, только в незначительном числе экземпляров, то мы считаем своею обязанностью сообщить читателям хотя некоторые отрывки из нее, как прекрасные примеры благородного применения науки к жизни. Примеры эти, к сожалению, еще редки у нас; но тем большего внимания заслуживают немногие опыты, представляемые в этом роде нашей ученою литературою.

Еще очень недавно (так начинает г. Бабст) мы отпраздновали, м. г., радостное известие о заключении мира. Мы знаем, как благотельно по-

действовал на наше сельское хозяйство, нашу торговлю и промышленность один только слух о близости этой радостной минуты великого народного примирения. Вдохнул свободнее и помещик, имея надежду на сбыт хлеба и на хорошие цены, потянулась к нам вереница купеческих прикащиков для закупа продуктов наших родимых нив и полей, встрепенулись и зашумели наши фабрики, прекратившие работы, и толпы коммерческих агентов появились уже в наших портах и промышленных центрах для закупа наших продуктов. Встречая с радостью мир, не возмутим нашего счастья сетованием о прошедших страданиях, а возблагодарим войну за те великие плоды, которыми мы отчасти уже начинаем пользоваться. Тяжкие народные борьбы и страдания заставляют народы осматриваться, проверять свою пройденную жизнь, проверять учреждения, изменять их и поправить свои ошибки. Воспользуемся же дружно, м. г., спасительными опытами войны и плодами ее. Она и в экономическом нашем быту раскрыла нам также во всей их наготе недостатки и упущения наши. Она указала нам на недостатки в путях сообщений, на монопольный характер многих сторон нашей промышленной деятельности, на отсутствие кредита, на исключительно еще почти естественный характер народного и государственного хозяйства, на медленное обращение капиталов, наконец, на недостаток в них. Возблагодарим ее за то, что она нам указала на все означенные темные стороны. Нам предстоит теперь только не дрогнуть перед ними, но с ними бороться и одолеть их. Подобно нашим доблестным витязям, отстаивавшим грудью российские пределы, пускай отстаивает честь родины каждый из нас: и купец, и земледелец, и мужи закона и науки. Ополчимся все дружно и дружно станем действовать для распространения нравственного образования, для умножения нашего богатства...

Прежде всего науке приходится бороться с тупыми, устарелыми предрассудками, с недоверием большинства, привыкшего к рутине, — большинства, выражающего на каждом шагу свое недоверие, неуважение, а нередко и злобу к теории. Нет почти ни одного вопроса, ни одного явления в народном хозяйстве, где бы теория не встретила упорного сопротивления и где бы нам не пришлось вступать в бой с отживающими уже формами народного хозяйства, но за которые говорят вековая давность, привычка, рутина и неподвижность — эти постоянные признаки отживающих форм. Подобные препятствия встречала политическая экономия везде. Везде против нововведений и реформ, вызываемых изменившимся содержанием народной жизни и условий народного хозяйства, выступали защитники старого быта, ветхих форм; но зато везде в Европе была эта борьба облегчена тем, что там существует полемика, что каждый заживо затронутый в своих интересах выступает на защиту своих мнений словом, что там экономическое образование составляет необходимую принадлежность образованного большинства; наконец, тем, что там вообще образование разлито шире, чем у нас. Предрассудки, недоверие к теории, рутину найдем мы везде. Везде, где только существует человеческое общество, везде встретим мы две великие партии, на которые оно дробится: приверженцев старины и рутины, не доверяющих теории, и партию прогресса, сознающую необходимость реформы. Но дело в том, что нигде уже не найдем мы зато такого неуважения к теории и науке, как у нас; не услышим уже подобных слов, что не дворянское дело заниматься хозяйством, не услышим похвал нашей внутренней торговле, по душе, без всякого счетоводства, без книг, где редкий купец, редкий помещик в состоянии сделать баланс своим оборотам, не услышим уже подобных мнений, которые питает у нас большинство даже образованного народонаселения, хранившего детское убеждение, что, запретив вывоз хлеба, Россия может голодом принудить Западную Европу к уступкам, не найдем уже людей, как у нас в захолустье, которые бы удивлялись, что случайно заехавший к нам образованный купец так живо интересуется иностранными газетами, тогда как в Дворянском собрании лежат они почти нетронутыми, не найдем и представителей финансового управления, высказывающих мнение, что, умно-

жив налог на соль, необходимо получить больше дохода от увеличившегося потребления. В таких словах видны уже и не нападки на теорию, а совершенное непонимание первых начал народного хозяйства; здесь приходится учить, здесь только всеобщее образование, учение может вызвать общество на прямую дорогу.

Распространение здравых экономических понятий, м. г., составляет одну из самых необходимых потребностей нашего общества. Пора, наконец, перестать жить зря, как говорится, делать все зря. Наступает для нас пора проверить все, что мы сделали, что совершили, и достойно ли совершили. Пора нам задать себе вопрос, так ли мы воспользовались и обширным пространством нашей родины и громадными богатствами, кроющимися в ее недрах и выпавшими по воле провидения на нашу долю. Русская история сделала громадные успехи в последнее время; предоставим даровитым ее деятелям следить за судьбами русского человека в течение его долгой исторической жизни. Пора и экономистам проверить историю экономического быта русского человека, проследить историю его пищи, одежды, жилья, проследить все, чего он желал, чего хотел, чего добивался и как добивался, чего, наконец, успел достигнуть, и каковы успехи нашего экономического быта.

Тогда, вероятно, реже встретим мы эту самоуверенность в нашем превосходстве, это китайское самодовольствие и эту возмутительную леность ко всем улучшениям экономического быта. Тогда не встретим мы странного убеждения, что без нас и нашего хлеба, без нашего леса или сала не может обойтись Западная Европа, что она зависит от нас, и что в нашей воле морить ее голодом или дать наесться досыта; а, между тем, английский помещик продолжает есть хлеб, какой у нас ест только высшее сословие, и ежедневно потребляет полтора фунта мяса, тогда как наш крестьянин ест его по праздникам редко и круглый год довольствуется хлебом, о котором уже с XVII ст. в Западной Европе и не знают. Не хвастовство, не самоуверенность приведут нас к добру, а истинный патриотизм и беспристрастное, благородное сознание в своих недостатках. Пора нам перестать быть Расплюевыми, уверяющими, что сельское хозяйство оттого в Западной Европе хорошо, что ведь с голоду они все это делают. Мы, что ли, уж так богаты? Ежели кто припомнит голодные наши годы и все, что ему приходилось видеть на дорогах и в деревнях, тот сознается, что подобного голода в Западной Европе и быть не может, при ее экономическом развитии, при ее богатстве, путях сообщений и других улучшениях экономического быта.

Не раз случалось нам слышать возгласы против промышленного материального направления нашего века, и преимущественно Западной Европы; нередко говорится о новом Вавилоне, о поклонении золотому тельцу, о том, что все нравственные интересы принесены в жертву интересам промышленным, и затем все нападки обрушиваются на науку о народном хозяйстве. Но где же более видим мы корыстолюбия, бесчеловечия, как не в народах неразвитых и экономически необразованных? да и где мы найдем, не у нас ли, патриархальность нравов и золотой век, о котором мечтают поэты? Не в житье ли, старом житье Степана Михайловича Багрова видим мы патриархальность нашего экономического быта, не в наших ли купеческих сделках по душе, где чаще всего бывают банкротства, чаще, нежели где-нибудь на Западе, где книговодство и счетоводство обеспечивают всех и каждого? Нам указывают на широту нашей жизни, на ее размахистость, на расчетливость западной жизни. Но последняя проистекает оттого, что каждый и должен и обязан жить сообразно с своими средствами, не может позволить себе излишества, не может захватить чужой порции, да средняя-то порция каждого и больше и лучше.

Могущественнейшее средство к возвышению государственного благосостояния, — продолжает ученый профессор, — заключается в увеличении капитала, которым располагает нация; но капитал приносит действительную пользу только тогда, когда не

остаётся лежать мертвым и не растрачивается для суетных целей, а энергически употребляется на предприятия, истинно полезные для народного благосостояния:

Для ленивого, для беспечного народа капиталы — это мертвые силы, и накопление их, равно как и силы, направленные на последнее, считаются, пожалуй, бесплодной тратой. Нужно, чтобы в самом народе крылись и убеждения и сознание необходимости бережливости и труда, без которого невозможно накопление капиталов. Что пользы было Испании, когда все сокровища Нового Света прилипли к ней? Она не стала от них богаче, потому что с приливом сокровищ не усилилась народная деятельность. Дурные государственные учреждения, исторические условия, при которых развивалась Испания, подавили в народе смысл и желание к труду, и она осталась бедна. Много есть, значит, условий, при которых образуются и накапливаются капиталы. Энергия и стремление к накоплению последних не одинаковы у разных народов, но зависят от самых разнообразных причин: от бережливости народной, от обеспеченности его собственности, от производительности его труда, от отношения между его производительным и непродоводительным народонаселением, от более или менее быстрого обращения ценностей, от степени нравственного и умственного образования народного. Капиталы — результат бережливости. Чем развитее народ, чем он трудолюбивей, тем он обыкновенно бережливее. По песчинкам накапливаются капиталы, но каждая песчинка пропитана трудовым потом рабочего сословия, и все силы верховной власти, вся задача умного и благомыслящего правительства должны быть направлены на то, чтобы драгоценные сии песчинки не развеяны были по ветру и не прилипли бы к нечистым рукам.

Первое и главное условие для поощрения бережливости и накопления народного капитала, это — полное обеспечение труда и собственности. Когда мы уверены, что плоды наших трудов, будь они результаты труда вещественного или невещественного, не пропадут, тогда все мы готовы трудиться, тогда народная производительность делает чудеса, и капиталы вещественные, равно как и нравственные, быстро умножаются. Где мало безопасности, где мало уверенности в пользовании плодами своей бережливости, там ничтожно и стремление к последней. Солдат в военное время, моряки и в особенности китоловы всегда чрезвычайно расточительны и беспорядочны. Домовитость, мудрое скопидомство могут быть только в таких народах, где каждый уверен в своей безопасности и где вследствие такой уверенности деятельность каждого отдельного лица получает большие размеры, и где в целом народе заметно стремление копить, чтобы умножить свое богатство и улучшить свое материальное положение. Мы часто слышим нападки на врожденную лень и беспечность некоторых народов, на отсутствие всякого смысла к улучшению своего быта. Это отчасти справедливо. Но нельзя согласиться, чтобы лень и беспечность были уделом целого народа, и нельзя предположить, чтобы в целом народе существовало полное отсутствие желания улучшить свой быт. Это невозможно, и мы должны скорее искать объяснения того грустного явления в условиях, среди которых живет известный народ. Когда избытки народа так малы, что и копить их нечего, когда он даже и в них не уверен, потому что каждую минуту его трудолюбие может быть потревожено произвольными наездами баши-бузуков самого разнообразного рода, где же тут может быть возможность бережливости? Лучше пропить последнюю копейку, чтобы она только другому не досталась. Все же она как будто не пропала. Когда промышленник не может начать ни одного предприятия, не рискуя потерять своего капитала, когда заимодавец тщетно преследует своего должника, переезжающего преспокойно из одного города в другой, где же тут может быть бережливость, где же тут возможность быстрого накопления капиталов? Практики, вероятно, улыбнутся, читая эти строки, и укажут на громадные капиталы, обращающиеся в нашей торговле, укажут на громкие имена наших аристократов торговли;

но нам не приходит в голову отрицать существования капиталов в России. Они есть; но их все-таки мало. Высота процента служит лучшим тому доказательством; а он у нас очень высок. Причина же высоты роста двоякая: или у нас мало капиталов и, значит, мало еще стремления к накоплению, или же капиталы есть, и тогда высокий рост происходит от высоты страховой премии — от недостатка безопасности; а где нет безопасности, там не может быть и бережливости. При таком отсутствии безопасности не могут развиться и главные побудительные причины накопления — предусмотрительность и забота об общем благе. Народы на низкой степени нравственного развития почти не знают предусмотрительности.

Трудно себе представить, до какой степени дурная администрация, отсутствие безопасности, произвольные поборы, грабительство, дурные учреждения действуют губительно на бережливость, накопление, а вместе с тем и на умножение народного капитала. Междоусобные войны, борьба политических партий, нашествия, мор, голод не могут иметь того губительного влияния на народное богатство, как произвольное управление. Чего не перенесли благословенные страны Малой Азии, каких ни испытала они переворотов, — и постоянно вновь обращались в земной рай, покуда не скрутила их турецкая администрация! Что было с Францией в XVIII столетии, когда над земледельческим народонаселением тяготела безобразная система налогов и когда вдобавок еще, под видом последних, каждый чиновник мог смело и безнаказанно грабить? Против воров и разбойников есть управа; но что же делать с органами и служителями верховной власти, считающими свое место доходным производством? Тут иссякает всякая энергия труда, всякая забота о будущем, об улучшении своего быта.

Умножение народного богатства зависит, главным образом, от производительного употребления плодов бережливости. Было время, когда господствовало общее мнение, что правительство может потребить весь капитал народный, что такое потребление будет даже полезно, ежели только все истраченные капиталы разойдутся в народе. Это невольно напоминает нам правило самосского тирана Поликрата, уверявшего, что друзья его гораздо довольнее, когда он отдает им назад, что у них награл, нежели когда он оставляет их в покое. Такие самосские понятия не исчезли и до сих пор. Мы и теперь часто услышим, что расточительность не только не вредна, но даже и полезна, ежели только деньги остаются в государстве. Но что, если бы все капиталы, издержанные в продолжение всеобщего мира в Европе на громадные морские и военные силы, были употреблены на производительное и для народа полезное дело, разве результаты были бы те же? Употребить миллион на фабрику или на другое промышленное предприятие и истратить миллион на потешный огонь, хотя бы даже и в том и другом случае деньги остались в народе, не одно и то же. До пышного фейерверка народный капитал представляет две ценности: миллион в деньгах и миллион в ценностях, предназначенных для потешного огня; но после него 1 000 000 в деньгах остался, но другой миллион исчез навсегда, за исключением только той прибыли, которая осталась в руках людей, занятых приготовлением торжества. Каждая ненужная трата, каждый лишний расход имеют точно такое же вредное действие. Употреблять двух работников, где достаточно одного, держать легионы чиновников, где в них вовсе нет такой нужды, не менее вредно. Так, мы знаем, что в некоторых областях Австрии расходы на чиновников поглощают половину доходов областей, где они имеют свои места, а все расходы на чиновников, равно как и большая часть государственных расходов, это суммы, совершенно уже погибшие для капитализации, и все они потребляются по большей части непроизводительно. Всякая лишняя трата, всякая лишняя издержка вредны для капитализации, и вот почему все силы умного и заботливого правительства должны быть постоянно направлены на то, чтобы не издерживать ничего лишнего и, с другой стороны, чтобы дать всю возможность частным лицам беспрепятственно и безопасно пользоваться копейкою, приобретенною трудом и потом. «Каждая копейка, говорит пословица, алтынным гвоздем прибита».

Мы указали уже, что одно из главных условий накопления капиталов и умножения народного богатства — это правильное и производительное его потребление; а для этого всего прежде нужно раскрыть все пути, дать самую широкую возможность к быстрому обращению капиталов. Чем быстрее обращаются капиталы, тем они приносят более дохода, тем они производительнее. Капитал, обращающийся три раза в год, более приносит выгоды и пользы, нежели капитал, обращающийся только раз.

Бросив взгляд на экономический быт разнородных обществ Европы, мы придем к одному заключению, что те общества беднее, где медленнее обращение ценностей, где менее развит кредит, где пути сообщений хуже. Громадные успехи, совершившиеся в Австрии и Венгрии с 1848 года, вызваны были благотворительными мерами правительства, проведением линий железных дорог и основанием обширных кредитных учреждений. Говоря здесь о материальных успехах в экономическом быту Австрии, нельзя не упомянуть здесь о ее великом финансовом муже Бруке, вышедшем, подобно Кольберу, из купеческой конторы, внесшем новые силы и новую жизнь в экономический быт империи. Он указал на великую истину, что удобство сообщений — главное условие для дружного содействия всех производительных сил народа, что умножение материального богатства Австрии не может идти в уровень с материальным развитием остальной Европы, ежели в одних областях ее много промышленных сил, в других много суровья, но когда ни то, ни другое не могут удобно сообщаться и размениваться, — и сеть железных дорог прорезывает уже по его указанию и настоянию Австрийскую империю, а обширные кредитные учреждения начинают уже живить народную промышленность.

Но как же помочь делу, когда нация имеет недостаток в собственных капиталах или эти капиталы скрываются или расточаются, не употребляясь на полезные предприятия? Капитал не прикован ни к какой стране: он не знает границ, разделяющих государства и народности. Нужно только одно: силою не отгонять капитала, не убивать кредита, и сам собою капитал прильет из стран, изобилующих им, в страны, которые в нем нуждаются:

Против иностранных капиталов и прилива их к нам случалось нам часто слышать грозные речи. Говорят о какой-то постыдной зависимости от иностранцев, о потерях в звонкой монете, которою мы должны будем уплачивать проценты, ущербе народному хозяйству, когда иностранец, наживший себе в России состояние, уезжает пользоваться плодами своего труда на родину и увозит наши капиталы. Но взглянем поближе, попристальнее в это утешительное и многознаменательное явление переселения капиталов, взглянем прямо, а не сквозь плохие очки старых теорий и воззрений, и явление представится нам совершенно в ином виде.

Чем дешевле нам обходится удовлетворение какой-нибудь экономической потребности, тем для нас это выгоднее, потому что стоит нам меньше усилий. Ежели один из факторов производства дорог, то его стараются достать подешевле. В стране с высокой заработной платой очень рады дешевым работникам, при дороговизне капиталов, т. е. высоком росте, стараются приобрести их из-за границы. Правительство, производя заем за границей и получая там необходимые ему капиталы за 5%, поступает гораздо бережливее, нежели занимая у себя дома по 8 или 6. Мы богаты землею, богаты естественными продуктами, но бедны капиталами, необходимыми для усиления нашего производства, для обработки богатых и разнообразных произведений нашей родины: очевидно, значит, что нам гораздо выгоднее воспользоваться чужими дешевыми капиталами. Ежели Россия занимает на полезное предприятие капиталы за границей и платит ежегодно 3 и 4 процента,

А сама получит от производительного употребления 10%, то, конечно, мы все-таки будем в выигрыше, и в этом отношении иностранный заем на Московскую железную дорогу был, во всяком случае, выгоднее займа внутреннего. Международное движение капиталов и помещение иностранных капиталов в больших промышленных предприятиях — одна из самых характеристических сторон нашей эпохи. Английские капиталы давно уже начали свою космополитическую деятельность. Капиталы английские давно уже пополняют передержки в государственных расходах, питают и живут промышленность континентальной Европы. Многие из французских железных дорог построены при содействии их, и наконец, не далее, как в прошлом году, австрийское правительство уступило и передало большую часть своих линий железных дорог, как отстроенных, так и проектированных, уступило несколько значительных рудников и горных заводов обществу английских, французских и немецких капиталистов. Уступить главные линии своих дорог, богатые рудники и часть государственных имуществ частной компании казалось и в Австрии делом безрассудным и возбудило в приверженцах старой финансовой рутины и казенных предприятий ропот и неудовольствие; но не так думал и думает Брук. Как купец и промышленник, он понимает очень хорошо, что каждое казенное промышленное предприятие плетется всегда медленно и вяло, и что только частные предприятия приносят все возможные выгоды. Не забудем также и еще одного важного обстоятельства, что продажей дорог и рудников австрийское правительство получило в свои руки значительный капитал, который дал ему возможность поправить и привести в порядок свою систему ассигнаций, от беспорядка которой страдает до сих пор еще австрийское народное хозяйство. Призвав иностранные капиталы, австрийское правительство получило, значит, двоякую пользу: дало толчок дремлющим производительным силам богатой страны и спаслось само от банкротства. Призыв иностранных капиталов несколько, одним словом, не вредит государству, но только приносит пользу, конечно, ежели их употребляют только производительно. Всякий же заем для цели непроизводительной вреден, потому что народное богатство не умножается, но уменьшается, и народ должен нести на себе всю тяжесть уплаты процентов, которые уплачиваются вдобавок из прежде существовавшего капитала. Такое выгодное перемещение капиталов возможно только при содействии кредита, и когда все разнообразные ветви народной промышленности чувствуют в нем необходимость, когда они без кредита не могут подняться и распустить крылья, тогда задача каждого правительства должна состоять в доставлении всех возможных средств для развития и расширения кредита. Не трудно найти причины, отчего кредита в народе мало, и у правительства всегда в руках средства, у него всегда и сила и возможность поднять кредит или, чего боже избави, задавить его скромные начатки. Чахнет же кредит, как и всякая сторона экономической жизни, тогда, когда частная деятельность и промышленность стеснены, когда народной промышленности навязывают устаревшие экономические законы и правила.

Но под капиталом разумеются не одни только деньги, не одни материальные богатства:

Есть еще одна отрасль народного капитала — это капитал нравственный, заключающийся в народной честности, в народной предприимчивости и степени трудолюбия, в живом и ревностном участии к общему благу, в привычке не полагаться на внешнюю помощь, не искать себе в силах, лежащих извне, опоры, но в самом себе, в привычке к самостоятельности. Не одинаково и не ровно распределены сии высокие качества нравственного достоинства народного, этого неоцененного запаса нравственного капитала. Подобно вещественному богатству, проявляющемуся в разных степенях, встречаем мы и нравственный капитал не в одном и том же количестве. Мы найдем многочисленные здесь ступени, начиная от жидовского торгашества и барышничества, врожденного восточным народам, до непоколебимой честности ква-

кером, известной целому миру, от лени неаполитанского лазарони до трудолюбия английского работника и от совершенной апатии, от совершенного отсутствия потребности к улучшению своего быта земледельческого населения на Востоке до неутомимого духа к спекуляции северо-американца. Вглядитесь в весь общественный организм восточных государств, и вы увидите, что там, где дети от своих родителей заимствуют с самых молодых лет презрение к честному труду, презрение к честности и образованию, где все управление основывается на продажности и на подкупе, где господствует полный произвол везде и всюду, где уголовное законодательство существует почти единственно для потачки преступлению, а не для того, чтобы карать его, — там, конечно, не может быть честности; а где нет честности, там не может развиваться и умножаться народное богатство. И, действительно, где более бедности и нищеты, как не в самых благословенных странах Азии и Европы, но страдающих от дурного управления? Развитие промышленности может быть только там, где господствует честность в народе и где развит кредит.

Но ежели честность, м. г., и народная нравственность так много содействуют умножению народного богатства, то не забудем, что вместе с цивилизацией усиливаются в народе и дух предприимчивости и трудолюбие. Никакие поощрения, никакие правительственные меры не в состоянии вызвать в народе двух этих необходимых для его благосостояния качеств, ежели только народная собственность не обеспечена, ежели у народа нет возможности дать полного развития всем своим промышленным силам, ежели его деятельность стеснена на каждом шагу вмешательством в его промышленные дела, и он не может без спросу с места двинуться, без платежа предпринять чего-нибудь. Но для того, чтобы в народе возбудить, вызвать благородный дух предприимчивости и уважения ко всякому полезному труду, возбудить честность и чувство правоты, для этого, м. г., необходимее всего широкое, всепроникающее образование.

Возблагодарим же нашего державного миротворца за мир, под сенью которого да развивается у нас истинное и благородное образование, да развивается народное богатство, да крепнет в народе чувство чести и правоты. Высочайшее разрешение приема неограниченного числа студентов в университеты, высочайшее дозволение отправлять молодых людей для усовершенствования за границу указывает нам путь, которым хочет державный вождь вести народ свой, и радостно отзывается на его призыв каждое сердце истинного патриота, истинно образованного русского гражданина. Без образования, без распространения полезных знаний нет возможности для материального благосостояния народов, нет возможности умножения народного богатства, а без последнего нет у народа и средств к образованию и к нравственному развитию.

Мы уверены, что читатели будут нам благодарны за сообщение этих прекрасных слов; не сомневаемся в том, что приведенных нами отрывков достаточно для того, чтобы оправдать живое сочувствие, с которым говорили мы о достоинствах «Речи» г. Бабста. Дай бог, чтобы подобные произведения чаще и чаще являлись в нашей литературе¹.

Военно-исторические очерки Крымской экспедиции, составленные Генерального штаба капитаном Аничковым. Части I и II. СПб. 1856.

Г. Аничков говорит в предисловии к своим «Очеркам», что не хочет писать полной истории достопамятной Крымской экспедиции. Цель его гораздо скромнее: он только сводит в один связ-

ный рассказ показания наших и иностранных газет, поверяя их обнаруженными реляциями наших главнокомандующих и объясняя изображениями местностей. В первой книжке он описал таким образом битвы при Альме, Балаклаве, Инкермане и Черной, во второй — осаду и оборону Севастополя, доведя свой рассказ до штурма 6 июня. Надобно сказать, что г. Аничков вообще хорошо исполняет свою программу, и из его брошюрок можно составить себе более отчетливое понятие о ходе военных действий, нежели из отрывочных реляций и газетных известий. Но само собою разумеется, что его рассказ не заменяет прагматической истории Крымской экспедиции и только заставляет с большим нетерпением ожидать появления в свет сочинения, которым занимается генерал Е. П. Ковалевский. Отрывок из этой истории, помещенный недавно в «Современнике»¹, показывает, что г. Ковалевский обогатит нашу военную литературу книгою, в высшей степени замечательною как по обилию и достоверности фактов, так и по высокому достоинству изложения.

Руководство к гальванопластике. Составил Ф. Даль. Перевел с шведского гвардии поручик К. Вельдт. СПб. 1856.

Исследование стекловаренного производства и современного состояния его в России. Андрея Чугунова. Казань. 1856.

Обе эти книги составлены дельно. «Исследование стекловаренного производства» показывает в г. Чугунове человека, хорошо изучившего свой предмет и в теории и в практике. Его сочинение, без сомнения, принесет пользу хозяевам и управителям наших стеклянных заводов.

Руководство к правильному воспитанию детей в первом возрасте. Составлено для образованных матерей доктором Ма т н е о м С немецкого перевел А. Кашин. СПб. 1856.

Доктор Маутнер, как по всему видно, опытный детский врач; его советы основаны на многочисленных наблюдениях, подкреплены и объяснены сотнями примеров, вообще здравы и удобоисполнимы. Перевод хорош, издание книжки недурно.

История православной христианской церкви, составленная священником, магистром А. Рудаковым. СПб. 1856.

Написанная с тою целью, чтобы быть руководством при преподавании церковной истории в средних учебных заведениях, книжка г. Рудакова удовлетворяет своему назначению. Язык ее прост и понятен, а обозрение фактов довольно полно.

Для легкого чтения. Повести, рассказы, комедии, путешествия и стихотворения современных русских писателей. Том II.
СПБ. 1856.

Мы предполагали, что издание, предпринятое г. Давыдовым, будет иметь успех; и, действительно, первый том «Легкого чтения» был принят публикою с одобрением, которого и заслуживал по удачному своему составу и доступной всем цене. Второй том, по всей вероятности, будет пользоваться таким же успехом, потому что достоинством содержания не уступает первому. В нем помещены:

- «Иван Савич Поджабрин». Очерки *И. А. Гончарова*.
- «Дант в Венеции». Стихотв. *Л**
- «Капризная женщина». Рассказ *Н. Станицкого*.
- «Срубленный лес». (Отрывок.) Стихотворение *Н. А. Некрасова*.
- «Не в свои сани не садись». Комедия *А. Н. Островского*.
- «На Черном море» (1855). Стихотворение *Я. П. Полонского*.
- «Соседка». Повесть *Д. В. Григоровича*.
- «Вечерние визиты». Очерки уездной жизни. *А. В. С — ча*.
- «Записки маркера». Рассказ графа *А. Н. Толстого*.

В третьем томе, который выйдет в этом месяце, будут напечатаны, между прочим:

- «Антон Горемыка». Повесть *Д. В. Григоровича*.
- Пять стихотворений *А. А. Фета*.
- «Жена часового мастера». Рассказ *Н. Станицкого*.
- «К отцу». Стихотворение *А — ого*.
- «Красильников». Повесть *А. Печерского*.
- «Один, опять один я». Стихотворение *Т. Л.*
- «Осенняя скука». Драматическая сцена *Н. А. Некрасова*.

Таким образом, первые три тома «Легкого чтения» дают шестнадцать повестей, рассказов и драматических пьес гг. Гончарова, Григоровича, Дружинина, Некрасова, Островского, Печерского, С***, Станицкого, С[танкеви]ча, Толстого, Тургенева, — и шестнадцать стихотворений: гг. Л***, Майкова, Некрасова, А — ого, Полонского, Т. Л. и Фета.

Некоторые из этих произведений являются в «Легком чтении» в новом виде; особенно должно заметить это о повестях г. Тургенева «Записки лишнего человека» и гр. Толстого «Записки маркера». Перечитывая их, мы нашли в той и другой пьесе несколько новых прекрасных сцен, и оттого они теперь производят впечатление более полное и цельное.

< ИЗ № 9 «СОВРЕМЕННОГО» >

Стихотворения Н. Огарева¹. Москва. 1856.

Господин Огарев никогда не пользовался шумною популярностью. Правда, критика всегда с почетом говорила о нем, когда ей приводилось перечислять «лучших наших поэтов в настоящее

время»; правда, публика всегда уважала талант господина Огарева, и ей даже полюбились некоторые из стихотворений, подписанных его именем, — кто не помнит прекрасных пьес: «Старый дом», «Кабак», «Nocturno», «Младенец» (*Сидела мать у колыбели*), «Обыкновенная повесть» (*Была чудесная весна*), «Еще любви безумно сердце просит», «Старик, как прежде, в час привычный», «Проклясть бы мог свою судьбу», и многих других? Так; но, тем не менее, публика наша, еще в такой свежести сохранившая наивную готовность увлекаться, не увлекалась поэзией г. Огарева, и наша критика, в последние годы творившая себе столько кумиров, не рассыпалась перед г. Огаревым в тех непомерных панегириках, на которые бывала она так щедра в последние годы. Произведения г. Огарева не делали шума. Ему всегда принадлежало только тихое сочувствие, да и то не слишком многочисленной части публики.

Нет вероятности, чтобы даже и теперь, когда стихотворения его, до сих пор остававшиеся рассеянными по журналам, собраны в одну книгу, положение его в современной литературе изменилось. Без сомнения, все журналы похвалят его, — но умеренно; публика будет читать его книгу — также умеренно. Все скажут: «хорошо»; никто не выразит восторга. Поэт не будет ни огорчен, ни удивлен. Он и не требует себе шумной славы: он писал не для нее, не рассчитывал на нее, быть может, и не думал, что имеет права на нее.

Поэт может быть доволен. Но мы, — мы не хотим быть довольны за него этою полуизвестностью, этим одобрением без горячего чувства, этим почетом без лаврового венка. Мы не встаем ни против нынешней публики, ни даже против нынешней критики: быть может, та и другая правы с своей точки зрения. Но мы должны сказать, что через тридцать, через двадцать лет, — быть может, и ближе, — это изменится. Холодно будут тогда вспоминать или вовсе не будут вспоминать о многих из поэтов, кажущихся нам теперь достойными панегириков, но с любовью будет произноситься и часто будет произноситься имя г. Огарева, и позабыто оно будет разве тогда, когда забудется наш язык. Г. Огареву суждено занимать страницу в истории русской литературы, чего нельзя сказать о большей части из писателей, ныне делающих более шума, нежели он. И когда, быть может, забудутся все те стихотворения, которым пишем и читаем мы похвалы, будет повторяться его «Старый дом»:

Старый дом, старый друг, посетил я
Наконец в запустеньи тебя,
И бывшее опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.

Двор лежал предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой,

И в саду не шумел лист зеленый —
Желтый тлея он на почве сырой.

Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругом,
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.

Я вошел. Те же комнаты были —
Здесь ворчал недовольный старик;
Мы беседы его не любили —
Нас страшил его черствый язык.

Вот и комнатка: с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой;
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.

В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.

В этой комнатке счастье былое,
Дружба светлая выросла там...
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я, —
На кладбище я будто стоял, —
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал...

«Конечно, «Старый дом» прекрасен; но в наше время было написано довольно много других пьес, которые надобно поставить выше его, или по мысли, или по отделке. За что же ему суждено прожить дольше, нежели всем им?» Не знаем, есть ли в нынешней русской литературе произведения более прекрасные; но дело в том, что «Старый дом» принадлежит истории, как принадлежат ей вообще жизнь и произведения г. Огарева: счастье, или, вернее сказать, достоинство, которое достается на долю немногим избранныкам. Да, г. Огарев имеет право занимать одну из самых блестящих и чистых страниц в истории нашей литературы. Мы отчасти излагаем эти права, говоря в «Очерках гоголевского периода» о развитии русской литературы в сороковых годах и о соединении в «Отечественных записках» (1840—1846) замечательнейших людей тогдашнего молодого поколения. Но там, конечно, мы говорим не в частности о г. Огареве, а вообще о школе, к которой принадлежал он. Здесь мы пользуемся случаем, чтобы в поэзии его показать отпечаток школы, в которой воспитался его талант².

Знали ли вы когда-нибудь восторженную дружбу? Если не владело вами это чувство хотя в поре молодости, вы, быть может,

улыбнетесь. Но нет, не спешите смеяться: смеяться и мы любим, но не над тем, что было необходимо и оказалось благотворно в историческом развитии. Патрокл не Дафнис³, созданный праздностью: он необходимое лицо в «Илиаде». Сколько известно, никто не доказывал противного. Да и Троя, если не им взята, то без него не была бы взята⁴. Быть может, теперь наше развитие имеет довольно твердые опоры и без восторженных чувств (а быть может, по недостатку их и замедлилось оно). Но то несомненно, что двадцать лет тому назад энтузиазм этот был очень сильным деятелем в нравственном развитии нашего общества, или, чтобы выразиться точнее, лучших его представителей; и преимущественно его энергическому стремлению обязана своею силою деятельность людей, которым, в свою очередь, мы обязаны тем, что в настоящее время имеем хотя какую-нибудь литературу, хотя какие-нибудь убеждения, хотя какую-нибудь потребность мыслить. Но мы, кажется, отклонились от предмета: ведь мы хотели говорить об одной из сторон поэзии г. Огарева. Чтобы найти переход к ней от этого эпизода, скажем, что этим энтузиазмом проникнут был и г. Огарев. Честь ему за то, что он остался верен своему чувству: доказательство верности — стихотворение, которое поставлено первым в его книге, как бы заменяя посвящение:

ДРУЗЬЯМ

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем,
Мы в жизнь вошли с неробкою душой,
С желаньем истины, добра желаньем,
С любовью, с поэтической мечтой;
И с жизнью рано мы в борьбу вступили,
И юных сил мы в битве не щадили.
Но мы вокруг не встретили участия,
И лучшие надежды и мечты,
Как листья средь осеннего ненастья,
Попадали и сухи и желты, —
И грустно мы остались, между нами
Сплетая дружно голыми ветвями...

В лирической поэзии личностью автора затмеваются обыкновенно все другие личности, о которых говорит он. У г. Огарева напротив: когда он говорит о себе, вы видите, что из-за его личности выступают личности тех, которых любил или любит он; вы чувствуете, что и собою дорожит он только ради чувств, которые питал он к другим. Даже любовь, под которою чаще всего скрывается себялюбие, у него чиста от эгоистического оттенка. Тем более у него преданности в дружбе, которая и вообще часто отличается от других чувств человека сильнейшим участием этого качества. Когда г. Огарев говорит о своих друзьях, он говорит действительно о них, а не о себе; да когда говорит и о себе, то всегда чувствуется отсутствие всякого себялюбия, чувствуется, что наслаждение жизни для такой личности заключается в том, чтобы

жить для других, быть счастливым от счастья близких и скорбеть их горем, как своим личным горем.

Действительно, таковы были люди, тип которых отразился в поэзии г. Огарева, одного из них.

И вот, между прочим, одно из качеств, по которым она останется достоянием истории: в ней нашел себе выражение важный момент в развитии нашего общества. Лицо, чувства и мысли которого вы узнаете из поэзии г. Огарева, лицо типическое. Вот как оно обрисовано перед вами сполна в прекрасной пьесе «Монологи»:

I

И ночь и мрак! Как все томительно-пустынно!
 Бессонный дождь стучит в мое окно,
 Блуждает луч свечи, меняясь с тенью длинной,
 И на сердце печально и темно.
 Былые сны! душе расстаться с вами больно;
 Еще ловлю я призраки вдали,
 Еще желание кипит в груди невольно;
 Но жизнь и мысль убила сны мои.
 Мысль, мысль! как страшно мне теперь твоё движенье,
 Страшна твоя тяжёлая борьба!
 Грозней небесных бурь несешь ты разрушенье,
 Неумолима, как сама судьба.
 Ты мир невинности давно во мне сломила,
 Меня навек в брожение вовлекла,
 За верой веру ты в душе моей сгубила,
 Вчерашний свет мне тьмою назвала.
 От прежних истин я отрекся правды ради,
 Для светлых снов на ключ я запер дверь,
 Лист за листом я рвал заветные тетради,
 И все, и все изорвано теперь.
 Я должен над своим бессилием смеяться
 И видеть вокруг бессилие людей,
 И трудно в правде мне внутри себя признаться,
 А правду высказать ещё трудней.
 Пред истиной покой исчез^б,
 И гордость личная, и сны любви,
 И впереди лежит пустынная дорога,
 Да тщетный жар ещё горит в крови.

II

Скорей, скорей топи средь диких волн разврата
 И мысль и сердце, ношу чувств и дум!
 Насмейся надо всем, что так казалось свято,
 И смело жизнь растрать на пир и шум!
 Сюда, сюда бокал с играющею влагой!
 Сюда, вакханка! слух мне очаруй
 Ты песней, полною разгульною отвагой!
 На золото продай мне подалуй..
 Вино кипит, и жжет меня лобзанье..
 Ты хороша, о, слишком хороша!
 Зачем опять в душе проснулось страданье
 И будто вздрогнула душа?
 Зачем ты хороша? забытое мной чувство,

Красавица, зачем волнуешь вновь?
Твоих томящих ласк постыдное искусство
Ужель во мне встревожило любовь?
Любовь, любовь!.. о, нет, я только сожаленье,
Погибший ангел, чувствую к тебе...
Поди: ты мне гадка! я чувствую презренье
К тебе продажной, купленной рабе!
Ты плачешь? Нет, не плачь. Как, я тебя обидел?
Прости, прости мне — это пар вина;
Когда б я не любил, ведь я б не ненавидел.
Постой, душа к тебе привлечена.
Ты боле с уст моих не будешь знать укора.
Забудь всю жизнь, прожитую тобой,
Забудь весь грязный путь порока и позора,
Склонись ко мне прекрасной головой,
Страдалица любви, страдалица желанья!
Я на душу тебе навею сны,
Ее вновь оживит любви моей дыханье,
Как бабочку дыхание весны.
Что ж ты молчишь, дитя, и смотришь в удивленье,
А я не пью мой налитый бокал?
Проклятие! опять ненужное мученье
Внутри души я где-то отыскал!
Но на плечо ко мне она склоняся, дремлет,
И что во мне — ей непонятно то.
Недвижно я гляжу, как сон ей грудь подымлет,
И глупо трачу сердце за ничто!

III

Чего хочу?.. Чего?.. О, так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что, кажется порой, их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.
Чего хочу? — всего, со всею полнотою!
Я жажду знать, я подвигов хочу!
Еще хочу любить с безумною тоскою,
Весь трепет жизни чувствовать хочу!
А втайне чувствую, что все желанья тщетны,
И жизнь скупа, и внутренно я хил;
Мои стремления замолкнут безответны,
В попытках я запас растрочу сил.
Я сам себе кажусь, подавленный страданьем,
Каким-то жалким, маленьким глупцом,
Среди безбрежности затерянным созданием,
Томящимся в брожении пустом...
Дух вечности обнять за раз не в нашей доле,
А чашу жизни пьем мы по глоткам;
О том, что выпито, мы все жалеем боле,
Пустое дно все больше видно нам;
И с каждым днем душе тяжеле усталость,
Больнее помнить, и страшней желать.
И кажется, что жизнь — отчаянная смелость,
Но биться пульс не может перестать.
И дальше я живу в стремлении безотрадном,
И жизни крест беру я на себя
И весь душевный жар несу в движении жадном,
За мигом миг хватая и губя.
И все хочу!.. Чего?.. О, так желаний много,

Так к выходу из силе нужен путь,
Что, кажется порой, их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.

IV

Как школьник на скамье, опять сижу я в школе
И с жадостью внимаю и молчу;
Пусть длинен знания путь, но дух мой крепок волей,
Не страшен труд — я верю и хочу.
Вокруг все юноши: учительское слово,
Как я, они все слушают в тиши;
Для них все истина, им все еще так ново,
В них судит пыл неопытной души.
Но я уже сюда явился с мыслью зрелой,
Сомнением испытанный боец,
Но не убитый им... Я с призраками смело
И искренно расцелся наконец;
Я отстоял себя от внутренней тревоги,
С терпением пустился в новый путь
И не собьюсь теперь с рассчитанной дороги —
Свободна мысль, и силой дышит грудь.
Что, Мефистофель мой, завистник закоснелый?
Отныне власть твою разрушил я,
Болезненную власть насмешки устарелой;
Я скорбью многой выкупил себя.
Теперь товарищ мне иной дух отрицаю;
Не тот насмешник черствый и больной,
Но тот всеильный дух движения и создання,
Тот вечно юный, новый и живой.
В борьбе бесстрашен он, ему губить — отрада,
Из праха он все строит вновь и вновь,
И ненависть его к тому, что рушить надо,
Душе свята, так, как свята любовь.

Быть может, многие из нас приготовлены теперь к тому, чтобы слышать другие речи, в которых слабее отзывалось бы мученье внутренней борьбы, в которых раньше и всевластнее являлся бы новый дух, изгоняющий Мефистофеля, — речи человека, который становится во главе исторического движения с свежими силами; но когда-то мы услышим такие речи? — да и в самом ли деле многие из нас приготовлены к тому, чтобы слышать и понять их? И те, которые действительно готовы, знают, что если они могут теперь сделать шаг вперед, то благодаря тому только, что дорога проложена и очищена для них борьбою их предшественников, и больше, нежели кто-нибудь, почтут деятельность своих учителей. Онегин сменился Печориным, Печорин — Бельтовым и Рудиным. Мы слышали от самого Рудина, что время его прошло; но он не указал нам еще никого, кто бы заменил его, и мы еще не знаем, скоро ли мы дождемся ему преемника. Мы ждем еще этого преемника, который, привыкнув к истине с детства, не с трепетным экстазом, а с радостною любовью смотрит на нее; мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышалась бы не робость теории перед

жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью, и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями⁶.

И вот потому-то, между прочим, что он один из представителей свей эпохи, г. Огареву принадлежит почетное место в истории русской литературы — слава, которая суждена очень немногим из нынешних деятелей. Есть у него и другие права — о них мы отчасти говорим в наших «Очерках» и подробнее будем говорить когда-нибудь, при первой возможности⁷.

Но мы все говорим об историческом значении деятельности г. Огарева, а еще не сказали своего мнения о чисто поэтическом достоинстве его стихотворений. Правда, кто знает, что такое истинная слава, тот право на доброе слово истории поставит выше всякого блеска. Но ведь историческое значение поэта должно же отчасти основываться на чисто поэтическом достоинстве его произведений. Мы не касались этой стороны произведений г. Огарева, потому что надеемся через несколько времени поместить статью, в которой будет разобран поэтический талант г. Огарева.

**Областные учреждения России в XVII веке. Сочинение
Б. Чичерина. Москва, 1856.**

Г. Чичерин начинает свою ученую деятельность блистательным образом. Первый напечатанный им труд — о развитии сельской общины¹ — возбудил общий интерес: все заговорили о г. Чичерине; многие не соглашались с его выводами, но все соглашались в том, что автор статьи должен быть человек замечательного таланта. Споры его с «Русскою беседою» о народном воззрении в науку и исследования о несвободных состояниях² соответствовали своими достоинствами тем ожиданиям, какие внушены были первою статьею. Обширный трактат, о котором теперь должны мы говорить, самые строгие ценители признают капитальным трудом. В несколько месяцев г. Чичерин составил себе известность, какую обыкновенно разве в несколько лет приобретают люди даже очень даровитые; с первого раза он стал в первом ряду между людьми, занимающимися разработкою русской истории. Успех редкий и, что еще лучше, успех совершенно заслуженный³.

Мы ничего не имеем возразить против общего мнения и публики и специальных ученых в пользу г. Чичерина: оно справедливо. Скажем более: как ни высоко уважается теперь талант г. Чичерина, но ему, как нам кажется, предстоит в будущем пользоваться еще более громкою известностью. Труды г. Чичерина доказывают, что он обладает всеми качествами, нужными для того, чтобы со временем, — и, по всей вероятности, в скором времени, — приобрести знаменитость, какая достается на долю только очень немногим избранныкам. В его сочинениях обнаруживается свет-

лый и сильный ум, обширное и основательное знание, верный взгляд на науку, редкая любовь к истине, благороднейший жар души; он имеет дар прекрасного изложения. Если, при таких силах, он не сделается в скором времени одним из корифеев наших, то разве в том случае, когда покинет ученую деятельность. Если же он будет продолжать трудиться для науки с тою ревностью, как начал, то, без сомнения, деятельность его составит эпоху в развитии науки, которую он избрал главным предметом своих занятий.

Значит ли это, что мы не находим никаких слабых сторон в исследованиях г. Чичерина? — нет; труды, которые до сих пор им изданы, отличаясь редкими и высокими достоинствами, имеют, конечно, и свои недостатки, но самые эти недостатки такого рода, что еще более ручаются за будущность его таланта, носят в себе залогов высших достоинств: они происходят, как по всему видно, главным образом оттого, что он еще не вполне пользуется своими силами, еще верит в сообразность с его собственными понятиями тех решений, какие были даны тою или другою из наших исторических школ, — словом, еще полагается во многом на авторитет того или другого из наших историков.

Это очень натурально: до сих пор г. Чичерин занимался исследованием только частных, хотя очень важных вопросов. Ему еще не представлялось случаев подробно рассматривать общих понятий о развитии русской исторической жизни, обыкновенно принимаемых ныне; он принимает эти общие понятия без ближайшей проверки. Так делают и многие другие исследователи, занимающиеся частными изысканиями. Но, между тем, как другие спокойно подчиняются в направлении своих исследований духу школы, авторитет которой принимают, г. Чичерин обнаруживает в своих частных изысканиях независимый взгляд. Из этого иногда возникает, быть может, еще незаметное для него, несогласие между его взглядом и духом школы, терминологию которой он употребляет, иногда терминология, которой он считает нужным держаться, получает в его сочинениях новый смысл. Таким образом, г. Чичерин иногда не избегает некоторой сбивчивости в изложении своих понятий, которые не находят себе соответствия в терминологии, принятой им без точного исследования. Конечно, это недостаток, но недостаток, возникающий не от слабости, а от избытка сил; и не трудно предвидеть, к чему приведут противоречия, которых теперь не избегает г. Чичерин, соединяя результаты своих исследований с понятиями, взятыми из прежних школ: мало-помалу он увидит необходимость подвергнуть критике те общие воззрения на русскую историю, которые сначала оставались вне круга его частных изысканий; увидит, что его исследованиями потрясаются те основания, на которые прежде он полагался, — и постепенно образуется у него самостоятельная точка зрения на ход событий русской истории. Это произойдет

само собою, если только г. Чичерин намерен специально посвятить свои дарования разработке русской истории.

И достоинства и нынешние недостатки его исследований доказывают, как мы сказали, что он не из тех людей, которые живут чужими понятиями, а из тех, которые имеют силу пролагать новые пути в науке.

К такому убеждению пришли мы, прочитав исследование г. Чичерина об областных учреждениях России в XVII веке. Только там, где автор, принимая без ближайшего разбора общие воззрения прежних исторических школ, берет на себя ответственность за идеи, не им самим выведенные из строгого разбора фактов, можно и, кажется нам, должно с ним спорить. Но когда он является самостоятельным исследователем фактов, трудно не соглашаться с ним вполне.

Начнем с тех понятий в книге г. Чичерина, которые кажутся нам или не совершенно справедливыми, или изложенными не совершенно удовлетворительною терминологиею.

Автор считает учреждение воевод применением «государственных начал» к областному управлению. Нам казалось вернее бы заменить выражение «государственные начала» просто — ну хоть бы словом «централизация в областном управлении». Понятия «государство» и «централизация» совершенно различны. В Англии, в Северной Америке централизации нет; а государства эти и сильны и благоустроены. Централизация является необходимою формою только там, где существует партикуляризм, где части одного и того же народа готовы жертвовать областному интересу национальным единством. У нас этого никогда не было (за исключением разве Новгорода): сознание национального единства всегда имело решительный перевес над провинциальными стремлениями, если только были со времени Ярослава какие-нибудь провинциальные стремления, — которых, надобно сказать, вовсе не видно, и которых потому не должно предполагать: распадение Руси на уделы было чисто следствием дележа между князьями, делом потомков Ярослава или, пожалуй, и самого Ярослава, но не следствием стремлений самого русского народа. Удельная разрозненность не оставила никаких следов в понятиях народа, потому что никогда не имела корней в его сердце: народ только подчинялся семейным распоряжениям князей. Как только присоединяется тот или другой удел к Москве, дело кончено: тверитянин, рязанец — такой же истый подданный московского царства, как и самый коренной москвич; он не только не стремится отторгнуться от Москвы, даже не помнит, был ли он когда в разрозненности от других московских областей: он знает только одно — что он русский. При такой силе национального чувства, государственное единство нимало не нуждалось в поддержке централизациею управления. [Она возникла по другим причинам, которые известны г. Чичерину не менее, нежели нам. Причины эти можно

подвести под одно общее выражение: стремление власти к расширению своих границ — стремление, замечаемое во всех странах и во всех веках.]

Мы предлагаем заменить выражение «государственные начала» понятием «централизация» не потому, чтобы последнее слово было совершенно удовлетворительно своею точностью; оно все еще слишком широко: централизация, государственная и областная, была и есть во многих странах, а нам нужно было бы найти выражение, которое применялось бы именно к русской истории, — и если господину Чичерину или кому другому удастся найти более точное определение централизующего принципа, от которого зависело развитие русской жизни, мы будем тому очень рады; но пока мы будем употреблять хотя слово централизация, за недостатком более точного выражения: «централизация» все-таки гораздо определительнее, нежели «государственные начала», потому все-таки оставляет менее простора для недоразумений, каким очень во многих случаях подвергает употребление выражения «государственные начала».

Г. Чичерин, конечно, не нуждается в наших пояснениях, чтобы видеть, до какой степени могут измениться понятия о смысле различных явлений русской истории, когда точнее определяются принципы, управлявшие развитием этих явлений.

Так, например, если воеводы признаются представителями государственного начала в областном управлении, то все областные учреждения, замененные воеводами, признаются противоречившими государственному началу, национальному интересу. Если же воевод считать только представителями централизации, учреждения воевод и падение других учреждений являются в ином свете.

Нам кажется, что с характером воззрений, принадлежащих самому г. Чичерину, гораздо более гармонирует понятие о воеводах просто как о представителях централизации в областном управлении.

В числе воззрений, не столько принадлежащих самому г. Чичерину, сколько принимаемых им по авторитету различных исторических школ, есть еще одно довольно важное, с которым мы не хотели бы соглашаться. Это воззрение состоит в том, что, при падении учреждений, главная вина падения всегда заключается в несоответственности с потребностями прогресса, при возвышении учреждений всегда главною причиною возвышения бывают потребности прогресса. К сожалению, факты не всегда соответствуют такому понятию об историческом движении. Мы нимало не принадлежим к приверженцам какой бы то ни было старины; мы не сомневаемся и в том, что если нет слишком сильных причин, извращающих натуральное развитие народной жизни, то жизнь идет вперед, и позднейшие явления бывают совершеннее предшествовавших им. Но часто бывает и иначе. Если историческое движение целого человеческого рода всегда идет путем прогресса, то отдель-

ные народы подвергаются часто влиянию неблагоприятных обстоятельств. В пример, довольно указать на историю Испании. Понятие о прогрессе имеет свои ограничения в жизни народов. Еще чаще такие несоответственные прогрессу явления замечаются, когда мы берем исключительно одну сторону народной жизни. Поэтому едва ли может соответствовать истине такое построение истории отдельной нации, в котором решительно каждое важное явление в каждой отрасли народной жизни представляется возникающим и упадающим сообразно правилу прогрессивного развития. А именно таково построение, принимаемое без ближайшей критики г. Чичериным. Нельзя сомневаться, что замещение воевод другими учреждениями было делом прогресса: факты подтверждают то; но действительно ли надобно видеть прогресс в учреждении воевод, мы не можем сказать утвердительно.

Пределы статьи не позволяют нам приводить выписок из актов и летописей, подтверждающих замечания, кратко нами высказанные; но читатель в книге самого г. Чичерина найдет множество фактов, которые доказывают, что учреждение воеводского управления было следствием не государственного начала вообще, которое не нуждалось в воеводах, а скорее делом административной централизации. Мы должны также, чтобы не увеличивать чрезмерно нашу рецензию, отказаться от нескольких более частных замечаний: почти все они, как мы уже сказали, относятся только к тем мнениям, которые приняты г. Чичериным на веру, без ближайшего рассмотрения, и которые, по всей вероятности, будут опровергнуты проникательным анализом самого автора, как скоро представится ему случай подробнее исследовать их. Что же касается тех отделов книги, которые посвящены самостоятельному исследованию частного вопроса, избранного автором, то есть форм и духа областных учреждений XVII века, мы можем только отдать полную справедливость добросовестности его труда и верности его взгляда, с которым невозможно не соглашаться. Постараемся в нескольких словах изложить результаты изысканий г. Чичерина, справедливость которых несомненна.

Первоначально князья, имея право суда и управления в подчиненных им областях, смотрели на это право единственно как на источник дохода для себя и для обогащения людей, которые служили им. Судебная и административная власть была средством «кормления» служилых людей. Определенных учреждений в этом деле не существовало: все зависело от частных распоряжений — и назначение судьи-правителя (кормленщика), и округ его ведомства, и степень власти. Сколько доходов получит судья-правитель, это было уже его собственным делом; он затем и назначался, чтобы «кормиться». Произвол его ограничивался, правда, некоторыми постановлениями. Но постановления эти вообще не имели силы: они отменялись по произволу в частных случаях, да и сами по себе были недостаточны. Должно было,

кроме того, ограничиваться отчасти ведомство, отчасти самоуправство назначаемых правителей-судей властью, присвоенною в некоторых делах выборным людям; но власть эта была также слишком слаба, чтобы служить действительною преградой произволу, и, как бессильная и бесполезная, теряла действительное, а потом даже и формальное значение.

Таково было положение областного управления в начале XVII века, когда повсюду стали назначаться воеводы, до того времени посылавшиеся только в немногие города по особенным обстоятельствам, преимущественно на военное время. «В смутное время, в начале XVII века, когда войны и мятежи распространились по всей земле, и всюду было необходимо присутствие военной силы, воеводы являются почти во всех городах; со времен Михаила Федоровича они составляют общее учреждение всей России».

Таким образом, сам г. Чичерин дает нам удовлетворительное объяснение происхождения воеводского управления. Воеводы первоначально были временными правителями округов, находившихся на военном положении. В этом качестве, разумеется, они имели чрезвычайную (дискреционную) власть. Когда все области были на военном положении, такие полномочные правители явились повсюду; власть их была удержана и тогда, когда обстоятельства, подавшие повод к их установлению, миновались — явление, очень обыкновенное в истории почти каждого народа: власть стремится к всегдашнему удержанию объема, приобретенного по поводу скоропреходящих обстоятельств. Такое точное объяснение напрасно стали бы мы делать бесполезным, относя его к слишком отвлеченному понятию «государственного начала»: оно, очевидно, относится к более определительному понятию «полномочной централизации».

Быстро все другие учреждения исчезают или подчиняются власти воевод, или изменяют свой характер сообразно духу преобладающей воеводской власти.

В понятии государственного начала вообще лежит идея стремления к постоянному, прочному, легальному порядку; напротив того, диктатура, хотя и составляет одну из форм государственного быта, по самой сущности своей противоположна этой идее постоянства и определительности: потому-то мы находим совершенно соответствующими сущности того стремления, из которого возникло упрочение и распространение по всем областям России воеводского управления, ту неопределительность и беспорядочность, которая составляла отличительный характер воеводского учреждения; все усилия высшего правительства поставить власти воевод какие-либо определенные пределы оставались безуспешны, потому что несовместны были с самым принципом, из которого возникло и которым поддерживалось воеводское управление — принципом полномочия.

В учреждении воеводского управления все было делом произвола и случая, начиная от пределов округа, поручаемого воеводе, до пределов вручаемой ему власти. Иной воеводский округ обнимал целую обширную область, иной был очень невелик; иные воеводы имели сношения прямо с московскими приказами, иные были подчинены другим воеводам и, будучи подчинены им, иногда с тем вместе зависели прямо от приказов. В больших городах у воеводы были товарищи, один или двое, как случится, в одном и том же городе, а иногда в том же самом городе бывал воевода и без товарищей. Отношение воеводы к своим товарищам бывало различно: то он ничего не мог сделать без их совета, то поручались им отдельные части управления, то воевода повелевал своими товарищами. Определенных правил на эти отношения не существовало. В малых городах бывал один воевода, без товарищей.

Так как мы не можем в равной подробности изложить содержание всех отделов книги г. Чичерина, то ограничимся только главнейшим отделом — «о воеводах больших городов». К воеводам приписных городов вообще можно приложить все, что известно о воеводах главных городов, только с тою разницею, что они были подчинены, в большей части случаев, не прямо московским приказам, а воеводам главных городов; но дух управления и характер власти был один и тот же. Все другие областные учреждения далеко уступали своею важностью воеводам, которым обыкновенно и подчинялись. Потому о характере областных учреждений в XVII веке можно составить себе достаточное понятие, рассмотрев только воеводство главных городов.

Прежде всего повторим, что общих правил, которые бы постоянно действовали, не было ни в назначении, ни в границах власти воевод, ни в чем другом, относящемся до них: все определялось частными распоряжениями, так что были только случаи более частые и случаи менее частые. Мы будем, говоря о характере воеводской власти, определять ее сообразно с более частыми случаями; но не должно забывать, при каждом определении, что оно применялось далеко не ко всем воеводам и не постоянно, а везде и во всем бывали частые случайные исключения, не подходившие под более обычный распорядок: все зависело от обстоятельств и от воли назначавших или от личного положения назначаемых.

Воеводы избирались из числа просителей, хлопотавших о получении воеводского места; в челобитных они писали: «прошу отпустить покормиться». Воеводство было обыкновенно жалованьем за военную службу и отдыхом от нее. [Так, однажды царь Алексей Михайлович, посылая воеводу в Кострому, имел целью дать ему средство нажить 500 рублей. Но человек возвратился из Костромы, нажив только 400 рублей, — удостоверившись в том, царь послал его на значительнейшую поживу в другой

город. В приказах, от которых назначались воеводы, было приведено в систему, какую взятку должен дать проситель, чтобы получить воеводство в известном городе. Кто платил взятку, тот и получал место. Продавцы мест не давали в обиду определенных ими воевод, и потому воеводы не боялись никаких жалоб.]

Воеводы посылались на срок, на два или на три года: этого срока было достаточно, чтобы «покормиться». Притом, сдача дел и казенного имущества преемнику была единственною несколько серьезною отчетностью, и бессрочность была бы совершенною безотчетностью. Обыкновенно и двух лет не удерживался воевода на месте (в Шуе в течение 76 лет сменилось 52 воеводы): челобитчиков, просившихся на эти места, было так много, что приказы не затруднялись сменять назначенных людей новыми.

При назначении воеводе давался наказ для руководства в управлении. Общей системы для этих наказов не существовало: иногда они бывали очень подробны, иногда ограничивались немногими указаниями. Прежними наказами воеводе предоставлялось руководствоваться, когда нужно, по его собственному усмотрению; да и тот наказ, который давался ему самому, не был для него обязателен: «буде в сих вышеписанных статьях (говорилось в наказах) что явится к нынешнему делу и времени к исправлению несогласно, и чего будет делать не мочно и казне убыточно, и воеводам чинить в тех статьях по своему правому рассмотрению». Иногда — впрочем, редко — предписывалось о недоумениях спрашивать разрешения приказов, обыкновенно же разрешалось «делать как бог вразумит». Таким образом, давался полный простор произволу воеводы.

Приехав на место, воевода принимал дела и казенное имущество от своего предшественника; но ответственность обыкновенно лежала тут на дьяках, по частой безграмотности воевод и незнакомству их с делами и счетами. Приказы получали отчеты, но не могли уследить по ним действий воевод; потому сдача дел при смене была в сущности единственною отчетностью, да и за ходом этих сдач приказы не могли уследить, потому что новые воеводы или их дьяки не всегда сообщали о том приказам.

Если при сдаче финансовые дела оказывались в порядке, за упущения и злоупотребления по другим частям воевода не подвергался ответственности, разве в случае особенного челобитья на него царю.

Ведомству воеводы подлежали «всякие дела», так что вообще не было определенных границ воеводской власти: воевода заведывал делами духовными, иностранными, военными, разрядными, поместными, судебными, полицейскими и финансовыми. Но в подвластности воеводам дел каждого рода было множество изъятий или случаев столкновения с другими властями. Так, например:

По духовным делам — воеводам запрещалось вмешиваться в

«духовные дела и духовный чин»: церковь была независима от светской власти. Но часто воевода заведывал постройкою церквей, раздачею церковным причтам земли и жалованья, обыкновенно поверял отчетность монастырей при смене настоятелей; ему предписывалось вообще давать епископу своих стрельцов и пушкарей для помощи против ослушников, а иногда — без собственного розыска не делать того; иногда воеводе поручался даже надзор за поведением священников, иногда — за исполнением церковных обрядов со стороны прихожан; иногда воеводы управляли монастырскими вотчинами.

По иностранным делам — воеводам пограничных городов то разрешалось, то запрещалось сноситься с иноземными державами и их чиновниками.

По военным делам, которые были сосредоточены в руках воевод, их власти не подлежали монастырские крепости (а иногда и подлежали). Такое же то изъятие от власти, то предоставление посторонних дел власти воевод встречаем в делах разрядных и поместных.

В судопроизводстве одни и те же гражданские дела то решались воеводами, то отсылались везеводами в приказы, то решались приказами мимо воевод, которыми должны были бы решаться: все зависело либо от усмотрения воеводы, либо оттого, воеводе или московскому приказу вздумает подать жалобу свою истец. Уголовные дела подлежали воеводе, где не было губных старост, или губным старостам, если не было для этих дел особенных сыщиков. Все зависело от случая: беспрестанно то отнимались у воевод уголовные дела и поручались губным старостам, то уничтожались губные старосты и дела их передавались воеводам. Иногда уголовные дела в округе одного воеводы поручались заведыванью воеводы другого округа. Воеводы иногда казнили, иногда не могли казнить смертью, иногда посылали, иногда не обязывались посылать в Москву ведомости о наказанных преступниках. Целые классы и отдельные лица были изъяты из общей подсудности; но и тут не было постоянных или ясных правил, так что вопрос о подсудности был очень запутан.

Дела, подлежащие ведомству воевод, были чрезвычайно разнородны. Вообще, когда и случалось, что воевода не всеми отраслями администрации и судопроизводства заведывал сам, то он должен был вмешиваться во все, при перевесе своей власти над другими учреждениями и при недостатке точных границ в распределении дел по разным родам. Но главною его заботою был сбор податей; а все остальные дела были уже второстепенными в сравнении с этим важнейшим для государства.

Система податей была чрезвычайно разнообразна и запутана. Подати и устанавливались и изменялись по отдельным распоряжениям, без всяких общих соображений; точно так же определялся и порядок их сбора. И тут, как везде, существовало мно-

жество изъятий и временных и местных правил или исключений. Тут была полнейшая свобода собственному усмотрению воеводы, потому что ответственность за сбор падала на него и была единственною важною его ответственностью: недобор в податях взыскивался с него, за недобор ему грозили опала и наказание.

В делах питейного и таможенного сбора бывали обыкновенно сначала, под надзором воеводы, особенные выборные головы и целовальники (впрочем, иногда их назначал сам воевода, иногда они присылались из Москвы), — и тут ответственность за недоборы и упущения падала на них, а не на воеводу, которому они, однако, были подчинены; но, мало-помалу, таможни и кабаки были — впрочем, не везде — изъяты от власти воеводы, хотя преследование корчемства и контрабанды осталось в его ведомстве.

Таким образом, к ведомству воевод принадлежали все дела областного управления; но были в областном управлении и другие власти, кроме воевод. Ясного разграничения в ведомствах не существовало, повсюду было множество изъятий и временных мер, так что областное управление в XVII веке представляется совершенным хаосом, — и над всем этим хаосом возвышалось в областях только обыкновенное разрешение воеводам поступать, когда покажется нужно, по собственному усмотрению, как лучше для выгод казны.

Такую же запутанность встречаем мы в подчиненности воевод московским приказам, в делопроизводстве и отчетности их, если только можно назвать отчетностью почти совершенное отсутствие контроля и всякой определительной ответственности.

Подле воевод, почти всегда в подчинении власти их, существовали некоторые учреждения, основанные обыкновенно на выборах: таможенные и кабацкие головы и целовальники, губные и земские старосты и целовальники; но не было ни определительности в порядке выборов, ни самостоятельности избирающих и избираемых; часто, вместо выборов, назначение делалось из Москвы или властью воеводы; все было подчинено власти или доступно вмешательству воеводы. Потому, на деле, выборные учреждения не имели силы и сохраняли (когда сохраняли) свое существование только тем, что проникались тем же самым духом, который господствовал в воеводском управлении.

Таковы были областные учреждения России в XVII веке, и только с Петра Великого начинает появляться определительный порядок в этом хаосе.

Мы изложили выводы, к которым приводит самостоятельное исследование г. Чичерина: против этих выводов невозможно сделать никакого сколько-нибудь значительного возражения, которое могло бы назваться основательным.

Нет надобности говорить, как важен вопрос, объясняемый прекрасным трудом молодого историка. От вопроса о состоянии

России в XVII веке зависит решение вопроса о необходимости реформы Петра Великого и о том, много ли зародышей благоустроенного развития представляет историческая жизнь наша до Петра Великого. Благодаря г. Чичерину, вопрос этот решен относительно одной из важнейших сторон народной жизни — относительно порядка дел, существовавшего в селах, городах и областях русских.

Надобно желать, чтобы столь же основательные и проницательные исследователи рассмотрели другие стороны народной жизни в XVII веке. Г. Забелин представил превосходные исследования о некоторых сторонах домашнего быта⁴. Остается еще широкое поле для других подобных исследований о том же периоде. Хорошо было бы, если б у нас являлось больше таких людей, как г. Забелин и г. Чичерин, являлось побольше ученых, столь даровитых и живых.

Но наш отчет о труде г. Чичерина был бы слишком неполон, если бы мы, высказав, в чем, по нашему мнению, не должен был соглашаться г. Чичерин с понятиями, чуждыми его собственному направлению, и пересказав собственные его выводы, с которыми нельзя не соглашаться, не дали читателю возможности видеть, до какой степени простирается ныне самостоятельность понятий г. Чичерина и на сколько еще допускает он в свое изложение чуждую ему терминологию. Отчасти с этою целью, отчасти для того, чтобы читатели, еще не имевшие случая познакомиться с его трудами, убедились в высоких достоинствах, какими отличаются его произведения, мы представляем довольно обширную выписку из его книги. Мы берем страницы, в которых высказывает он сам «заключение», общий вывод из своего исследования:

Государство было исходною точкою всего общественного развития России с XV века. Возникшее на развалинах средневековых учреждений, оно нашло вокруг себя чистое поле; не было мелких союзов, крепких и замкнутых; отдельные личности, бродящие с места на место и занятые исключительно своими частными интересами, одни противостояли новому общественному союзу. Главною задачею сделалось устройство государства, которое организовалось сверху, а не снизу: нужно было ему устроить общий союз, а частные должны были служить ему орудием. Поэтому на всех учреждениях лежал государственный характер, и так как прежде всего нужны были государству материальные средства, то и задача управления была преимущественно финансовая. Этим XVII век отличается от XVIII, в котором целью управления сделались также промышленность и образование, хотя и эти отрасли деятельности первоначально развивались в видах государственной пользы.

Средства нового государства были, однако же, ничтожны: ему не хватало людей и оно сделало государственную службу повинностью сословий. Ему не хватало денег, и оно учредило множество местных повинностей в пользу государства. Ему не хватало, наконец, и административных средств, и оно восполняло их ответственностью подданных. Таким образом, надзор за местными правителями был почти невозможен; поэтому ответственность за сборы возложена была как на местных жителей, которые обязаны были выбирать «верных» сборщиков, так и на самих сборщиков и правителей, которые отвечали за успех своим лицом и имуществом. Точно так же и

богатство отдельных лиц мало подлежало влиянию государства, которое не имело средств ни узнать количество имущества подданных, ни удержать их на местах, ни даже принудить их к уплате податей. Поэтому уплата была возложена на целые общины, которые отвечали за всех членов и сами уже взыскивали с них деньги. Эта система повинностей проникла, таким образом, во все отношения: земские люди несли службы, отправляли повинности, отвечали за сборы, отвечали даже за поведение всех живущих среди них подозрительных людей, хотя не имели на них никакого влияния.

Ничтожность государственных средств, незначительное влияние центральной власти на областное управление делали необходимым усиление власти воевод. Поэтому всякого рода дела сосредоточивались в их руках, к чему, с другой стороны, вели младенческое состояние правительственных учреждений и самая запутанность администрации.

Эти три черты областного управления: государственный характер учреждений, система повинностей и соединение всех дел в руках воевод, характеризуют всю эпоху, простирающуюся от возникновения государства в XV веке до времен Екатерины II; только начальство над постоянными войсками отнято было у воевод при Петре. Но Московское государство имело свои особенности, которые резко отличают его от петровских времен. В основании всех этих обязанностей лежит самый способ законодательной деятельности: в Московском государстве почти все совершалось не на основании общих соображений, а частными мерами; оно *управлялось не законами, а распоряжениями*. Главным руководством в областном управлении служили указы, которые давались должностным лицам; но эти указы вручались отдельно каждому лицу; содержание их было чрезвычайно разнообразно; изложенные в них правила далеко не обнимали собою всех случаев, и обыкновенно они не были даже обязательны для правителей. Общего же наказа не было до времен Петра Великого. Этот ход законодательства определил собою весь характер областного управления того времени.

Первым следствием было то, что административные учреждения не были повсеместными: одним округом управляли воеводы, другим городовые приказчики, третьим губные старосты, в четвертом были одни земские власти. Губные дела заведывались где воеводами, где губными старостами, где сыщиками; в одних местах были земские судейки, в других их вовсе не было. То же можно сказать и о множестве других учреждений.

Самые меры были отрывочны; законодательство не составляло системы, исходящей из общего начала и проникающей во все частности. По мере появления случайной практической потребности делалось в одном месте одно распоряжение, в другом иное; прежние учреждения оставались подле новых, которые часто им противоречили, и все это вместе составляло беспорядочную массу самых разнородных и отрывочных распоряжений. Таким образом, в учреждениях XVII века можно видеть следы всех прежних систем управления: жалованные грамоты и привилегии, кормы, частное поручительство, родственные отношения в службе напоминали средневековую жизнь; от системы XVI века остались земские судейки, губные старосты и городовые приказчики, самостоятельно управлявшие отдельными округами. Все это перемешивалось без всякого порядка, без всякой системы.

Правительственные меры, кроме того, были чрезвычайно разнообразны. Способов управления было много, и каждый избирался по местному удобству и случайным соображениям. Не было для каждого дела единого, общего, законного способа, определенного государственными потребностями; частные виды решали все, и если от этого выигрывало иногда местное удобство, то целое управление делалось от этого необыкновенно сложным и запутанным. Одно и то же дело поручалось иногда одному лицу, иногда другому; ведомство, права и взаимные отношения должностных лиц определялись самими разнообразными постановлениями, без руководствующих норм; различные системы управления — коллегияльная, бюрократическая, приказная, верная, земская, заменялись одна другою без всякого установленного правила. Спо-

собы действия были также различны и весьма часто определялись, иногда в очень важных случаях, не общим законом, а усмотрением местных властей. Наконец и самое подчинение было весьма разнообразно: одни и те же дела заведывались то одним приказом, то другим.

Отсюда происходило неравенство во всех сферах областного управления. Развитое государство, устанавливая общественный порядок, уравнивает все явления общественной жизни и подводит их под общие категории, определяемые государственными потребностями. Но таких общих категорий или разрядов не было в Московском государстве; все явления оставались в том случайном виде, какой они получили, возникая каждое отдельно от других. Если в каком-нибудь месте неравенство было слишком ощутительно и слишком затрудняло управление, происходило частное уравнивание. Иногда же все неравные явления располагались по известной лестнице, которая, сохраняя неравенство, придавала ему, однако же, некоторую правильность. Так произошло: лестница городов, лестница воеводской части, которая выражалась в некоторых преимуществах одних воевод перед другими, лестница подъячих в приказной избе. Но обыкновенно даже и этого не было; неравенство оставалось в случайном беспорядке, без всякого определяющего правила. Таким образом, областное деление осталось в том хаотическом виде, в каком оно было при постепенном образовании Московского государства; происходили только частные уравнивания, которые еще более увеличивали пестроту. То же самое можно сказать и о степени власти правителей: она определялась не общими категориями, а случайными соображениями, различными не только по местности, но и по времени. Одному давалось более прав, другому менее; получивший больше прав в одном разряде дел получал их меньше в других; воевода значительного города в некоторых отношениях имел менее власти, нежели воевода ничтожного города. То же должно сказать и о подчинении воевод одних другим, равно как и о подчинении других местных правителей и сборщиков. Самые штаты были различны, как по местности, так и по времени, или, лучше сказать, правильных штатов вовсе не было: в один город посылалось то больше правителей, то меньше, на основании случайных соображений. Так же неравны были, наконец, и права отдельных союзов и лиц: права даровывались им жалованными грамотами, по особенной царской милости или за деньги, так что одни имели более прав, другие менее, некоторые же их вовсе не имели, и все это не на основании каких-либо государственных видов, но единственно потому, что одни сумели их выпросить, а другие нет. Это был остаток средневековой системы частных привилегий.

Такое неравенство устанавливалось самими указами, которые имели в виду только частные цели. Но во многих случаях закон вовсе не определял отношений, и тогда все решалось уже собственным усмотрением правителей и случайными местными обстоятельствами. В Московском государстве не было общих юридических начал, строго определяющих и разграничивающих права и обязанности лиц; отсюда происходила юридическая неопределенность, которая господствовала в администрации. Вообще точность юридических правил может происходить из двоякого источника: из частных прав и из государственного начала. Но в администрации Московского государства было весьма слабое развитие частного права; оно предполагает самостоятельную жизнь частных союзов, а в древней России частные союзы, вследствие отсутствия союзного духа, были очень непрочны и получили некоторую крепость уже от государства. Поэтому они не имели в самих себе твердых юридических начал, которые могли бы определить все их права и отношения. Только там, где дело касалось до личных прав отдельных людей, например, в местничестве, были и строгие юридические правила и развитая юридическая казуистика. В мелких же союзах юридической жизни почти не было, и даже те права, которые они приобретали жалованными грамотами, безнаказанно нарушались воеводами, а нередко даже самим центральным правительством, которое, между тем, подтверждало прежние грамоты. С другой стороны, и государственное начало не могло еще установить точных юриди-

ческих правил. Оно было слишком мало развито; все решалось частным удобством, все делалось частными мерами, распорядительным образом. Личное усмотрение имело гораздо более значения, нежели законное правило; общих соображений, общей системы вовсе не было. Поэтому весьма много отношений оставались совершенно неопределенными. Установлялась, например, коллегияльная форма управления, но отношения лиц и способ решения дел не определялись законом; производились выборы, но правила выборов, способ подачи голосов предоставлялось определять самим избирателям; не было даже законного большинства, и все несогласия решались не установленными правилами, а частными распоряжениями.

Так же неопределенно было и разграничение ведомств, прав и обязанностей правителей. Не было сознательного различия между центральной властью и местною; одни и те же дела, на совершенно одинаковом основании, производились то теми, то другими, и это решалось не только случайными соображениями, частными правами, но и просто прихотью просителя, который мог подавать просьбу и в московский приказ и местному правителю. Самое подчинение было часто очень неопределенно; в некоторых делах, особенно в финансовых, довольно часто определялась степень власти местных правителей, но во многих случаях их отношения к приказам оставались совершенно неопределенными, и они действовали по собственному усмотрению. Им предписывалось отсылать в приказы те дела, «которых за чем вершить не мочно» и писать «по часту о всяких делах», а вследствие этого они делали донесения, как им вздумывалось. Даже и в тех случаях, когда им именно приказывалось доносить в Москву о каком-нибудь деле, они нередко пренебрегали этою обязанностью и в продолжение целых годов не посылали ни донесений, ни отчетов. Это отсутствие иерархического порядка выражалось и в отношении подчиненных правителей к своим местным начальствам. К первым посылались из Москвы грамоты иногда через начальников, иногда мимо их; сами подчиненные делали донесения иногда своим начальникам, иногда мимо их московским приказам, иногда тем и другим вместе.

Не более порядка было и в разграничении отдельных систем управления и ведомств различных должностных лиц. Одни и те же дела находились в ведомстве различных правителей, которых взаимные отношения не были точно определены законом. В особенности это проявлялось в отношениях воевод к земским властям. Об отношениях их к верным сборщикам были еще некоторые постановления в наказах таможенным и кабацким головам, хотя и здесь многое оставалось неразрешенным, и самые постановления были разнообразны. Но отношения воевод к земским старостам и целовальникам и к земским судейкам до последней четверти XVII века оставались без всяких законных определений. Они заведывали одними и теми же делами; но права их и обязанности вовсе не были разграничены. Иногда только отдельным общинам давались жалованные грамоты, определявшие некоторые их права; но и те часто нарушались воеводами.

С другой стороны, не было юридического определения самих должностей. Известная должность не устанавливалась для известного разряда дел, но одно и то же дело поручалось, по усмотрению, то одному, то другому, то третьему лицу, и, наоборот, в одних руках соединялись дела самые разнообразные, часто не имевшие никакой связи между собою. Не было юридического анализа, разделяющего дела на известные разряды, и каждая должность носила более характер поручения, нежели постоянного государственного учреждения.

Наконец, и самые округа, на которые простиралось ведомство правителей, не были точно разграничены: один воевода посылал в округ другого своих подчиненных, которые сами делали нужные распоряжения. Земские округа, устанавливаемые для платежа податей и для отправления повинностей, изменялись беспрерывно, без всякого твердого основания. Не было юридически определенных, прочных местных союзов, которые бы служили постоянными

единицами для сбора податей и отправления повинностей, но частное удобство определяло, с какого округа должны быть взимаемы сборы.

Понятно, что при такой юридической неопределенности личному произволу было обширное поприще. К этому присоединялись: отсутствие законных форм делопроизводства, запутанность управления и недостаток административных средств, которые не позволяли правительству иметь точные сведения о состоянии местного управления; наконец, дальность расстояния и трудность сношений. Последствием всего этого было то, что злоупотреблениям не было конца: не только тайное лихоимство, но явное нарушение законов, открытый и явный грабеж и насилия были явлением очень обыкновенным. Для предупреждения этих зол правительство должно было прибегать к самым стеснительным мерам, к частым переменам правителей, что, с другой стороны, не было выгодно для управления и, собственно, даже приносило мало пользы. Поэтому подчиненные должны были иногда прибегать к самовольным поступкам, которые правительство дозволяло, потому что невозможно было вынести злоупотреблений.

Из всего этого можно вывести, что в областном управлении Московского государства видно отсутствие единообразного повсеместного, систематического законодательства, отсутствие общих разрядов и категорий, отсутствие юридических начал, — словом, отсутствие государственной системы. Все совершалось распоряжениями, частными мерами, на основании частных соображений. Но такой порядок возможен только в частном хозяйстве, где личный надзор хозяина служит лучшим руководством в управлении; в обширном же государстве такой надзор невозможен, и необходимы твердые, постоянные правила, вытекающие из государственных потребностей и стесняющие личный произвол.

Вообще, при развитии государственного организма, ход законодательства может быть двоякий: практический и теоретический. Практическое законодательство отправляется от частных потребностей и соображений и медленно, незаметно изменяет старый порядок вещей: теоретическое же, напротив того, отправляется от общей системы и прилагает ее к жизни, разрушая старый порядок и заменяя его новым. Практический ход имеет ту выгоду, что он не вдруг изменяет привычки, не нарушает обычных форм, в которые люди уже жились веками, не сбивает с толку и правителей и управляемых. Но зато, с другой стороны, из чисто практического хода может выйти самая безобразная, беспорядочная и запутанная система законодательства. Все прежние постановления держатся, пока могут, потеряв смысла, противореча новым, без всякой связи с другими; то, что прежде было разумным, делается бессмысленным, прежнее благодеяние обращается в гнет, и внуки страдают от остатков отцовских учреждений. Новые постановления делаются без всяких общих соображений, без всякой системы; общий порядок приносится в жертву частному удобству, управление осложняется и запутывается до бесконечности, произвол является всюду, и злоупотреблениям нет конца... Поэтому, если при изменении старого порядка вещей сначала преобладает практический ход законодательства, то самая безвыходность положения ведет к необходимости теоретического преобразования. Последнее отправляется также от практической потребности установить порядок и стройность в государственном организме; оно временно нарушает привычки, производит смятение, иногда даже, при недостатке практического взгляда, вводит учреждения несвоевременные или противные народному духу; но эти частные неудобства выкупаются водворением общественного порядка, установлением единства и правильности в управлении, умножением государственных средств и развитием народного благосостояния.

Из всех исторических народов одни римляне умели удивительным образом сочетать теоретический ход с практическим; на основании теоретических воззрений, они медленно, незаметно изменяли одну законодательную систему в другую. Поэтому их законодательство служит образцом для всех народов. Но римляне изменяли свои национальные учреждения, составлявшие строй-

ную систему, в учреждения общечеловеческие, составлявшие также стройную систему разумных юридических начал. Новые же народы должны были вывести систему государственного организма из хаотического беспорядка средневековой жизни. Это были две противоположные крайности: средневековая жизнь с своими частными правами, с мелкими союзами, с обособлением каждой частной сферы, с бесконечным раздроблением частей и неисчерпаемым разнообразием общественных явлений; новое государство с началом общественного блага и порядка, с подчинением всех частных общему праву, с нераздельностью частей, с единообразным систематическим законодательством, с правильным устройством государственного организма. При таком изменении общественной жизни, новые народы шли различными путями: одни, находясь под влиянием средневековых учреждений, разнообразных и частных, пошли путем практическим; другие, основываясь на новом начале, дали законодательству направление теоретическое. Образцом первых служит Англия, где государство сложилось, как связь местных и частных союзов, как сделка различных элементов общественной жизни средних веков. Потому английское законодательство, основанное на частных правах и привилегиях, на местных постановлениях, на древних законах, которые изменяются только вследствие настоятельной практической необходимости, представляет такой беспорядок, такое отсутствие всякой стройности и системы, такое множество безобразных явлений, как никакое другое европейское законодательство. Но в Англии это искупается развитием личных прав и основанного на них чувства законности. Каждый сознает право, как свое, и подчиняется ему с любовью. Этого развития личных прав нет в других западных европейских законодательствах, которые развивались теоретически. Там изменения совершались на основании общих государственных потребностей, которые сознавались теоретически и вводились в жизнь вследствие этого сознания: нередко это делалось систематическими преобразованиями и даже насильственными переворотами. Это в особенности можно сказать о Франции, где законодательство получило вследствие того необыкновенную стройность, так что ее административные учреждения послужили образцом для всей Европы.

Московское государство по существу своему принадлежало к тому ряду, где законодательство должно было развиваться путем теоретическим. Оно возникло не из условного соединения мелких союзов, не из сделки различных общественных элементов, но образовалось вследствие новых понятий об общественной жизни, об общественном порядке и о верховной власти. Менее, нежели где-нибудь, было в нем прочных мелких союзов; поэтому более, нежели где-нибудь, было в нем потребности в государственной системе. Оно развилось не на основании частных прав, а на основании государственных нужд и пользы; все совершалось правительством, все устанавливалось сверху; поэтому все должно было делаться на основании систематических воззрений. Общие юридические нормы должны были заменить недостаток юридического сознания в народе.

Однако ж, этого не было; в законодательстве Иоанна IV видна попытка установить государственную систему: в Судебниках, в Уложении, в Новоторговом уставе видна государственная мысль; но вообще все управление основано было на частных распоряжениях; общих соображений не было, и все делалось практическим, бессознательным образом. Это происходило оттого, что Московскому государству не доставало теоретического образования. Только сознательная теория, только разумные юридические положения могут дать ключ к систематическому устройству государственного организма; чисто практический ход может привести к этому разве в продолжение многих веков. Объясним это примером: при бесконечном разнообразии предметов управления, нужно разделить их на известные отрасли, чтобы дать управлению правильное устройство. Но частные изменения никогда не приведут к такому разделению; разнородные явления, смешанные в жизни, будут смешаны и в управлении; общий порядок, о котором нет ясного сознания,

будет всегда принесен в жертву частному удобству. Систематическое разделение можно, следовательно, сделать только теоретически, отправляясь не от того, что есть, а от того, что должно быть; потом уже следует приложить его к жизни, применяясь к практическим потребностям народа. То же должно сказать и об устройстве армии: нужно теоретическое знание военного искусства для того, чтобы привести ее в желанное состояние. При всяком систематическом устройстве государственных учреждений необходимо, следовательно, теоретическое образование, и когда является потребность одного, является потребность и другого. Западные народы получили свое теоретическое образование из римского права, на почве которого они возникли; Россия должна была получить его от западных народов. Поэтому, когда Петр Великий дошел до сознания о необходимости государственной системы, к которому привела его современная ему жизнь, он прежде всего поехал на Запад, перенял западное образование и существовавшую целью поставил себе сближение России с западными государствами.

Петр Великий не ввел никаких новых начал в областное управление: он только привел в порядок существующее. Попытка его установить правильное разделение областного управления, которое прежде того все сосредоточивалось в руках воевод, была преждевременна и потому не удалась. После его смерти воеводы попрежнему соединили всю власть в своих руках; но управление получило уже правильную организацию. Результатом преобразования было, следовательно, систематическое устройство управления. Этим определяется его значение, которое прямо вытекало из потребностей того времени и из характера государственных учреждений XVII века. Преобразования Петра Великого составляют третью эпоху в развитии областных учреждений Московского государства: в XVI веке установлены были общественные повинности и устроено основанное на них земское начало; в XVII веке развито было правительственное начало; в XVIII веке весь государственный организм получил правильное, систематическое устройство.

Нам кажется, что не только достоинство этих прекрасных страниц зависит исключительно от тех элементов, которые принадлежат здесь самому г. Чичерину, но кажется также, что эти самостоятельные элементы, если и не совершенно освобождены от чуждых примесей, то уже заметным образом преобладают над ними. Остальное совершится временем, и совершится, как видно по силам, какие обнаруживает автор, в непродолжительном времени.

Г. Чичерин посвятил свою книгу «памяти Тимофея Николаевича Грановского», которого, в превосходном, полном глубокого чувства предисловии, называет своим наставником и руководителем. Грановский, вероятно, гордился таким учеником, как г. Чичерин, и исследование, посвященное теперь памяти благого учителя, как «дань искренней любви и признательности» — достойная дань.

Дворяне-благотворители. Сказание В. Порошина. СПб. 1856.

Вероятно, многим из читателей случалось слышать рассказы о замечательном поступке князей Ширинских-Шихматовых, отпустивших на волю своих крестьян. Имея в руках акты, относящиеся к этому прекрасному поступку, г. Порошин справедливо

поставил себе священною обязанностью обнародовать эти документы, заслуживающие полного внимания, и объяснить их сведениями, которые доставлены ему были, по его настоятельной просьбе, одним из братьев, совершивших подвиг высокой справедливости. «История, — говорит г. Порошин, — не имеет целью что-либо доказывать; но она освещает природу мира и человека, свойство вещей и образ их действия. Показывая, что было на самом деле, она убедительно решит вопрос о том, что возможно или не возможно; а последствия событий, ею же развиваемые, свидетельствуют и о том, что должно быть. Когда последствия благоприятны, заключаем, что дело хорошо обдуманно, что оно зародилось от здравых, благих начал, и тем оцениваем самые эти начала». (Предисловие.) «Общее благо требует (продолжает автор), чтобы развитие народных сил и дарований не встречало напрасных преград; чтобы не тщетно сеял небесный сеятель; чтобы семена его, взойдя, не увядали, а множились; чтобы черствая земля их не подавляла: *sit illis terra levis!* *. Все, что способствует преуспеянию жизни человеческой, восстанавливая правду общежития, ведет гражданское общество к прямой его цели; а цель его — совершенствоваться и совершенствовать. Само собою разумеется, что общие, в этом деле, преобразования исходят, преимущественно, от власти, право-правлящей обществом; но и частные усилия, к тому же клонящиеся, заслуживают внимания и уважения» (стр. 16—17).

В 1803 году, положено было начало новому, в государстве Российском, званию «свободных хлебопашцев». По всеподданнейшему ходатайству графа Сергея Петровича Румянцева, ему и всему дворянскому сословию предоставлено было право «увольнять людей своих в это звание, по добровольному с ними соглашению и с утверждением за ними участка земли или и целой дачи». Тридцать лет спустя, по 8-й ревизии, считалось 65 190 муж. пол. душ свободных хлебопашцев, число, надо сознаться, слишком малое, во все не соразмерное с многолюдством некоторых других состояний народа. Итак, последствия не соответствовали ни ожиданиям графа Румянцева, ни тем «выгодам, для всех частей государственного хозяйства и политической силы», которые он, в высокой благонамеренности своей, учреждению сему приписывал. Знаем, что в жизни народа все совершается медленно, так медленно, что иногда лишь правнукам тех, которые начали преобразование, суждено покоиться под сенью чаемых от него великих наслаждений права, благоустройства или просвещения. Однако же, треть столетия не час, не день, и тридцать лет, в истории всякого учреждения, должны обозначить положительными фактами всю свойственную тому учреждению энергию.

К сожалению, о последствиях изданного в 1803 году закона есть только отрывочные, неполные сведения. Мы не можем показать здесь общее число всех отдельных случаев увольнения, ниже разнообразные условия, в силу которых оно последовало, ни обстоятельства, которыми сопровождалось, и чем в каждом месте кончалось. Можем только догадываться, что, во всех подобных случаях, до приведения дела в окончательный вид, довольно было толков, недоумений, разногласий между сторонами и соприкосновенными лицами. Были, конечно, и споры с прежним владельцем, еще более с его

* Да будет им земля легка! — Ред.

наследниками, при исполнении условий; наконец, вследствие их неисполнения со стороны крестьян, употреблена, вероятно, не раз крайняя строгость закона — обращение неисправных в прежнее положение, из которого они были уволены. Все это известно лишь немногим, в виде частных, преходящих случаев, обреченных забвению. Не менее темно, хотя крайне любопытно было бы знать, какое влияние имела на участвующие стороны эта перемена; какие произошли оттого, для них и для их сограждан, с течением времени, последствия в экономическом, нравственном и других отношениях. Важное для всех решение подобных вопросов очень трудно, если сообразить недостаток частных наблюдений, безгласность прямых в деле участников, недосуг тех, которые могли сделать про себя какие-либо заметы; наконец, разность взглядов и понятий о качестве, пользе и вреде общественных преобразований, о самой цели общежития.

Слабое действие закона 1803 года объяснить нетрудно. Нельзя, конечно, приписать это неполноте его или неясности. Напротив того, цель указана очень ясно; главные нормы увольнения определены логически; все существенно важное высказано в законе. Последующие указания мало чем его дополнили. Но, хотя указ был обнародован, он не в равной мере сделался известен обеим сторонам, которые имел в виду законодатель. По всем уважениям, право предложения условий было непосредственно ближе к одной из тех сторон, а она ни в своем прошедшем, ни в настоящем законоположении не находила особого повода к перемене. Новизна же легко возбуждает опасения.

В древнем Египте были письмена двоякого рода: священные и народные. Если бы у нас, в начале столетия, при заветном, монументальном языке закона, могло иметь место простое слово о предметах общественной жизни, нет сомнения, что оно, развивая с свойственным ему плодovitостью благие начала учреждения, доказало бы пользу его для всех и каждого, обсудило бы средства исполнения, в применении к каждой местности, победило бы равнодушие и нерешительность, от одного неведения проистекающие. Мы полагаем, что уже повсеместное оглашение состоявшихся в течение времени договоров, если б было сделано своевременно, могло бы быть сильным средством для возбуждения других к подобным действиям, служа им и напоминанием, и примером, и образцом. Таким образом, число воспользовавшихся законом ныне составляло бы уже не тысячи, а миллионы душ.

Один очень замечательный случай увольнения, сделавшись более других гласным, возбудил слегка любопытство многих, но, не быв достаточно обследован, мало принес доселе существенной пользы. В 1836 году, в Можайском уезде Московской губернии, два помещика, братья Павел и Алексей Александровичи, князья Ширинские-Шихматовы отпустили крестьян своей вотчины на волю, в звании свободных хлебопашцев.

В 1848 году г. Порошин обращался к кн. А. А. Ширинскому-Шихматову с просьбою о сообщении ему копии с увольнительной записи и объяснении относительно некоторых подробностей этого дела. Теперь, по кончине князя А. А. Шихматова, г. Порошин напечатал эту записку, ответы и завещание его, с объяснительными замечаниями. Из всего этого и составила интересная брошюра, о содержании которой мы отдаем отчет.

Из принадлежавших им 127 ревизских душ, князья Шихматовы уволили 88 душ, передав им и всю землю, состоявшую при двух деревнях, населенных этими крестьянами. Поместья эти были совершенно чисты от долгов, и крестьянам не приходилось делать никаких взносов за свое увольнение, кроме того, что при освобождении обязались они платить своим освободителям по

300 руб. сер. в год (по 3 руб. 40 коп. с души) до кончины этих бывших помещиков.

Остальные 39 душ, оставшиеся неуволненными по беспорядочности своей жизни или неустроенности хозяйства, были переселены из освобождаемых деревень в другое село.

Великой похвалы заслуживает также, что еще задолго до освобождения крестьян, с той самой поры (1817 г.), как братья-помещики поселились в своих деревнях, заведена была ими сельская школа для обучения мальчиков чтению, закону божью с христианским нравовучением, разным сведениям, полезным для общежития, четырем правилам арифметики и выкладке на счетах и письму. Учителем был один из помещиков, Алексей Александрович. По увольнении крестьян, князь А. А. Шихматов, постоянно живший в селе, продолжал заниматься обучением в школе, при помощи некоторых из бывших воспитанников.

Само собою разумеется, что благосостояние и нравственность поселян после их увольнения быстро и значительно улучшились. Доказательствами тому могут служить следующие факты: 1) народонаселение быстро возрастает (1,60% по среднему выводу за 11 лет); 2) из новорожденных не было ни одного незаконнорожденного.

Прощание помещиков с отпускаемыми на волю крестьянами (говорит г. Порошин) было, по свидетельству очевидцев, умирительно: «князя смиренно просили у крестьян прощенья, если в чем согрешили; многие тронуты были до слез» (стр. 46). Завещание князя Алексея Александровича, в котором он выражает «друзьям своим», как он называет бывших своих крестьян, последние свои желания и дает последние советы, написано с такою искреннею теплотою и таким понятным для простого человека языком, что одно уже могло бы служить достаточным свидетельством того, что завещатель и хотел и умел приносить пользу своим «друзьям»-поселянам.

Брошюра, изданная г. Порошиным, должна считаться довольно замечательным явлением в нашей литературе. Дай бог, чтобы она нашла себе отголосок в публике.

Сочинения Ульянова. В двух частях, с 16 картинками. СПб. 1856.

По всему заметно, что г. Ульянов не получил литературного образования, не имеет понятия о слоге, не знает, как ныне принято писать; он «сын природы». Неудивительно, что он пишет стихи, очень странные в наше время, — например:

Что так жалобно воркуешь,
Сизокрылый голубок?
Ты о чем, скажи, тоскуешь,
Свой повесивши носок? и т. д.

Правда, стихи эти не отличаются особенными достоинствами, имеют, конечно, свои недостатки; быть может, следует их считать даже совершенно плохими. Но что ж из того? Справедливо ли было бы смеяться над г. Ульяновым, человеком без литературного образования, когда сплошь да рядом пишутся почти такие же забавные произведения записными нашими поэтами, — и не только пишутся, но еще и нравятся иным также записным литераторам? Правда, из записных поэтов никто не напишет «Что так жалобно воркуешь» и т. д., напротив, они даже посмеются над такою старомодностью; но мы уверены, что у иных, даже очень высоко превозносимых поэтов, если поискать хорошенько, найдутся такие стихотворения, как, например:

Я тайну твою, друг, подметил случайно
И вздох твой летучий вполне разгадал.
Он в сердце моем, будто эхо, печально
Откликнулся. И вот что я в нем прочитал... и т. д.

или такие, как, например, «Песня воинам, взявшим Карс»:

Здравствуйте, ребяташки,
Здравствуйте, друзья,
С песенкою воинской
В стан пришел к вам я... и т. д.

За что же осуждать г. Ульянова? Правда, у него нет таланта; но один ли он виноват в этом грехе? Разве есть талант у иных стихотворцев, которыми многие восхищаются? Правда, у него нет и литературного навыка; но тем больше чести ему, что он без всякого образования пишет часто совершенно так же, как пишут иные поэты, которые и в университетах бывали, и в образованном кругу обращаются, и о свободном творчестве умеют поговорить или помолчать с многозначительною улыбкою.

Г. Ульянов, кроме лирических стихотворений, написал еще поэму в стихах и повесть в прозе.

«Сочинения» г. Ульянова надобно было бы причислить к серобумажной литературе; но у кого, после вышеизложенных соображений, достанет духу на такой строгий приговор?

Русская грамматика В. Классовского. СПб. 1856.

Г. Классовский, известный в качестве ученого сочинителя несколькими брошюрками о теории страстей, о душевных болезнях и грамматическими исследованиями в филологическом вкусе, оставил, как видим, ученые претензии на построение различных глубокомысленных теорий, — не знаем, на время ли или навсегда, и издал обыкновенную грамматику, вроде тех, какие были изда ны г. Ивановым, Половцевым и многими другими. Нельзя тому

не радоваться: новый труд г. Классовского, не возбуждая изумления, не заслуживает и насмешки. Жаль только, что в нем все еще слишком много тонкостей и мудростей: таковы следы прежней привычки! От души желая, чтобы г. Классовский остался на скромной, но безопасной дороге, на которую вступил, мы советуем ему при дальнейших педагогических трудах менее мучить детей излишними и до крайности тонкими подразделениями: детская грамматика чем проще, тем лучше. Недурно также было бы, если б он отбросил излишне оригинальные термины вроде: «вид бескратный начинательный», «вид бескратный окончательный», и т. д. Тогда его грамматические руководства будут столь же годны для преподавания, как грамматики г. Иванова или г. Половцева. Ученостью перед детьми щеголять не нужно, а хитрыми тонкостями мучить их не должно.

**Словарь сельско-хозяйственных растений. Составлен
И. Палимпсестовым. Одесса.**

Хозяева южной России, конечно, будут благодарны известному нашему агроному г. Палимпсестову за толстый том, который он составил для их пользы, переделав и применив к нуждам Новороссийского края известные сочинения «Le bon Jardinier» и «Neuestes Garten-Jahrbuch».

**Плен у Шамиля. Правдивая повесть Е. Вердеревского.
СПБ. 1856.**

Рассказ г. Вердеревского, печатавшийся первоначально в одном из петербургских журналов¹, включает в себе много интересных сведений и написан гораздо лучшим языком, нежели иной читатель может предположить, взглянув на длинное заглавие книги: «Плен у Шамиля. Правдивая повесть о восьмимесячном и восьмидневном (в 1854—1856 г.) пребывании в плену у Шамиля семейств: покойного генерал-майора князя Орбелиани и подполковника князя Чавчавадзе, основанная на показаниях лиц, участвовавших в событии. В трех частях. Соч. Е. А. Вердеревского».

Труды восточного отделения императорского Археологического общества. Часть 2-я. СПб. 1856.

Некоторые из статей, вошедших в состав этого тома «Трудов восточного отделения Археологического общества», были изданы отдельными брошюрами, например, биографии Френа и Дорджи

Банзаров; из других важно: «Обозрение памятников древности в Малой Азии», составленное ученым нашим путешественником П. А. Чихачевым; много интересного представляют «Исторические известия о Коканском ханстве, от Мухаммеда Али до Худаяр-Хана», г. Вельяминова-Зернова.

Сенсация и замечания г-жи Курдюковой за границею, дан л'Этранже. Три части. Издание второе. Тамбов. 1856.

Что за неожиданная встреча! Г-жа Курдюкова намерена воскреснуть от долгого и, как мы полагали, непробудного сна и восхищать новое поколение публики своими остроумными рассказами! Признаемся, никак не ждали мы дожить до такого чуда, как второе издание «Сенсаций г-жи Курдюковой»!

Ужели она воображает, что читатели ныне стали добродушнее прежнего и захотят слушать утомительную болтовню, от которой затыкали уши прежде? Напрасная надежда!¹

Жаль нам почтенную барыню, хотели мы замолвить о ней доброе слово, вздумали испытать, нельзя ли найти хотя какую-нибудь забаву в ее болтовне, начали вслушиваться... лучше было бы и не начинать! Ни искры остроумия или юмора, ни тени хитрого или наивного простодушия, ни капли смысла или наблюдательности! А претензий на остроумие гибель. И все остроумие вертится на смеси французских слов с русскими, и эта старая, слишком старая шутка с самодовольством растягивается на целые три книги, — правда, очень тощие, но все три книги! Ужасно! Читать три книги, чтобы дойти наконец до стихов:

Чтоб зевающий читатель
Не сказал: «канд финира-т-эль?»
Чего боже сохрани!
Знай же, «ке се фини».

Нет, уж в тысячу раз остроумнее «Энеида, вывороченная наизнанку» Осиповым, да и стихи у Осипова едва ли не лучше, нежели в «Сенсациях г-жи Курдюковой».

О выборе стихотворного размера. Начала логического образования слов. Москва. 1856.

Неизвестный автор употребил много труда на разрешение вопроса «о выборе стихотворного размера». К сожалению, он не подумал, что для решения частного вопроса нужно иметь основательные знания в той науке, которой принадлежит этот вопрос. Автор вздумал проследить отношения мысли к слову, чувства к ритму и не счел нужным приобрести основательное знакомство

ни с филологиею, ни с учением о версификации; он пускается также в философские рассуждения и, как по всему видно, не почел за нужное познакомиться и с этою наукою. Потому все его труды остались совершенно напрасными. Он воображает, что доказал, будто бы:

«Убеждать следует анапестом (потому что в слове убеждать — ударение на третьем от начала слоге).

Высказывать горе или ужас — хореем (потому что в словах горе, ужас — ударение на первом из двух слогов)», и т. д.

Стало быть, о Петербурге надобно писать анапестом, — в слове Петербург ударение на третьем от начала слоге, — о Лондоне — хореем, о Мексике — дактилем.

Но о чем же писать ямбом? как о чем? а «любовь» разве не ямбическое слово? Итак:

Если чувства излияния выражаются ямбом, то, вследствие родства между волною звуков и чувством, ямбические волны должны пробуждать в нас ощущения, подобные чувствованиям излияния, или, по крайней мере, должны располагать нас к таким чувствованиям; а потому объяснение в любви, написанное стихами ямба, легче всего найдет путь к сердцу. (Стр. 12, второй нумерации.)

После такого открытия, конечно, автор «может сказать, как Кузен: итак, мы решили предложенную себе проблему: выполнить условия науки, то есть вывести науку из наблюдений и дать ей прочное основание, то есть укрепить ее началом абсолютным, — другими словами, мы совершили два дела: нашли а posteriori правила, которые имеют значение а priori.» (Стр. 14, той же нумерации.)

Именно, так. А мы нашли правило а priori, которое подтверждается примерами а posteriori:

«Печатать книги о предметах, в которых ничего не понимаешь, значит жестоко компрометировать себя».

< ИЗ № 10 «СОВРЕМЕННОГО» >

Записки Сибирского отдела императорского Русского Географического общества. Книжка I. СПб. 1856.

Основание Сибирскому отделу Русского географического общества положено было в 1851 году. Вслед за учреждением особого отделения Общества, под именем Кавказского, в Тифлисе, предположено было открыть подобный отдел в Иркутске, из членов, имеющих постоянное пребывание в Восточной Сибири, и других, посторонних лиц, которые бы изъявили желание участвовать своими трудами в общем деле. Этот проект удостоился 6 июня 1851 года высочайшего утверждения, при чем разрешено

было выдавать ежегодно, в пособие Сибирскому отделу, 2 000 руб. сер. из государственного казначейства. Занятия членов и отдельные экспедиции, которые снаряжались отделом для изучения местностей, особенно интересных в географическом отношении, доставили значительное количество любопытных географических описаний и мелких заметок, которые отчасти уже нашли место в изданиях Общества. Наконец, постоянно увеличивавшееся число подобных материалов и другие обстоятельства еще в 1854 году подали мысль покойному секретарю Географического общества В. А. Милютину предложить Сибирскому отделу издание особенного сборника, в роде «Записок», издаваемых отделением Общества на Кавказе. Такое издание, исключительно посвященное сочинениям о Сибири, было бы постоянным органом деятельности этого специального отдела, и мысль о нем приведена была в исполнение. В вышедшей теперь книге мы имеем начало издания.

В «Записках» приняты три главные подразделения: 1) исследования и материалы; 2) летопись отдела, т. е. сведения о его занятиях со времени основания; 3) смесь, составляемая из мелких заметок и известий. Кроме того, в приложениях будут помещаемы подробные ведомости о добыче золота на частных приисках, метеорологические наблюдения и т. п.

Такова история и план издания. Успех других предприятий и достоинства прежних изданий Географического общества могут быть порукою, что и в настоящем случае должно ожидать если не всегда блестящих, то удовлетворительных результатов. Распространение сведений о таком крае, какова Сибирь, еще мало описанная и исследованная, страна с огромной будущностью впереди, есть дело, имеющее все права на внимание и сочувствие образованной публики; надеемся поэтому, что начатое издание найдет себе много читателей, живо интересующихся предметом.

В первом отделении вышедшей книги помещены следующие статьи: 1) «Описание реки Иркут от Тунки до впадения в Ангара», члена-сотрудника Н. Бакшевича; 2) «Описание Жиганского улуса», члена-сотрудника протоиерея Хитрова; 3) «Описание дороги от Якутска до Среднеколымска», действительного члена И. Сельского, и 4) «Краткий геогностический очерк прибрежий реки Амура», члена-сотрудника И. Аносова. Г. Бакшевич подробно описывает направление горных хребтов, имевших влияние на образование русла реки Иркут, и преимущественно занимается объяснением местности в геогностическом отношении; потому статья носит несколько специальный характер. К сочинению его приложена карта течения Иркут, с показанием горных пород, сопровождающих его берега. Заметим, впрочем, любопытное описание быта жителей села Тункинского, лежащего недалеко от главных верховьев реки. Жиганский улус, описываемый г. Хитровым, составляет часть Верхоянского округа и располо-

жен по берегам Ледовитого моря, по обе стороны реки Лены; он принадлежит к числу краев Сибири, наименее известных по описаниям путешественников и ученых. На огромном пространстве этого улуса население очень редко и простирается только до 2 700 человек якутов и тунгусов; русских около 200. Описание г. Хитрова, вероятно, исполненное по программе, отрывочно, но довольно полно указывает физические особенности страны. Жаль только, что автор поспешил на этнографические заметки, которые были бы, без сомнения, очень интересны. Якуты и тунгусы здешнего края, почти совершенно лишенного так называемых даров природы, находятся на низшей степени человеческого развития; в образе жизни их много патриархального, но эта патриархальность не всегда может возбуждать сочувствие к себе. Этот образ жизни и соседство туземцев имеют влияние и на русских, до такой степени, что, по словам г. Хитрова, «по физиономии, образу жизни, языку и нравам, здешних русских и тунгусов следует причислить к якутам (т. е. основному населению края): так во всем слились они с этими последними», — явление чрезвычайно занимательное. Заимствуем несколько эпизодов из статьи г. Хитрова о характере быта туземцев Жиганского улуса.

Из всех стран Якутской области — говорит автор — этот край наиболее отличается простотою нравов, чистотою, добросовестностью и патриархальною жизнью. В летнюю пору все вышесказанные племена (т. е. русские, якуты и тунгусы) по несколько семейств вместе кочуют с своими стадами оленей по болотистым и обнаженным тундрам близ берегов Ледовитого моря и питаются от промысла диких оленей. Два или три искусных стрелка каждый день отправляются с ружьями или луками к оленьим табунам и убивают по несколько штук. Воротясь домой, они извещают свой табор, что там и там подстрелены ими олени. Тотчас добычу привозят в табор, и мясо этих оленей разделяется по числу наличных членов, а кожа, по общему приговору, дается кому-нибудь одному. По-туземному, этот дар называется *нимат*. В праве на нимат соблюдается очередь, в которую не включается только сам промышленник. Таким образом, убьет ли он в течение лета сто штук, или одну — польза для него одинакова, т. е. он не получает себе ничего и не имеет никакого права нигде претендовать на то. Такой обычай основан у туземцев на тех понятиях о промысле божием, что стрелок убивает добычу не собственным искусством, а по соизволению божию, и не для себя, а для всех вообще, и если бы промышленник начал спор о том, то должен навсегда лишиться своего таланта в охоте. Звери будут убегать от него, глаз изменять ему, и самое оружие лишится своей силы. Другой, не менее оригинальный обычай существует между туземцами — помогать единоплеменникам. Случается, что волки нападают на стадо оленей, истребляют его наповал, и бедняк якут или тунгус, среди беспредельных и безжизненных тундр, подвергается опасности умереть от голода и холода. При первой возможности он обращается к своим родичам с просьбою о помощи. Они ему тотчас же дают до тридцати оленей, и бедняк живет опять своим домом и в своей семье, благодаря бога. Я знаю одного якута, которому такие пособия оказаны были три года.

Читая эти строки, невольно вспоминаешь споры некоторых из наших ученых с защитниками древнего русского родового или общинного быта, видящими в этих несозревших формах граж-

данственности явления беспримерные, которые могли быть созданы только славянской мыслью. На это мнение не без основания возражали те, которые думали, что подобные формы быта составляют довольно обыкновенную ступень в развитии общественного устройства, что они возможны у других народов столько же, сколько у наших предков, и что некоторые отличия их удовлетворительно объясняются разными внешними условиями. В наше время еще сохраняются эти формы у иных диких народов в различной степени развития; и их изучение могло бы дать верную точку зрения на предмет, который иначе предоставляется в жертву бесконечной логомахии. Из приведенного выше отрывка нельзя не видеть, что следы общинного быта до сих пор находятся в образе жизни якутов, и, притом, с такими строгими чертами, которым можно столько же удивляться, как и некоторым другим проявлениям общинного начала. Что это не зависит даже от особенного духовного развития, которое бы возвышало этих дикарей до такого понятия об общине, в этом убеждаемся, читая далее безыскусственный рассказ г. Хитрова.

Характер все вообще имеют вежливый и гостю стараются угодить сверх угощения подарками. Мужчины занимаются только звероловством и рыбною ловлею, а женщины и девицы исправляют более тяжкие работы, как-то: в зимнюю пору строят юрты, хватают их мхом, замазывают глиною и обмороживают снегом, рубят и колют дрова, носят воду и ходят за оленями... Особенных церемоний при родинах и поминках не бывает. Для первого случая убивают оленя и угощают соседей. К колыбели малютки (мужского пола) привешивают нож, огниво, лук, кремь и трут: этими вещами выражают эмблему ратного человека. Свекор во время родов не может быть в одной юрте с своею невесткою-родильницею; но он или она должны выйти в другую юрту, и очень нередко случается, что родильницу во время самых мук выводят в холодную ровдушную урасу (шалаш из жердков, покрытых древесной корой), где она, разрешившись уже от бремени, лежит до 5—6 дней... Есть и еще при этом обычаи, оскорбительные для чувства и благопристойности пола. На поминках также убивают оленя и мясом этого животного угощают всех присутствующих в печальной процессии. На годовщинах не бывает этой роскоши: тогда родственники теплят только перед иконами свечи и молят бога об успокоении души усопшего. В доме, где умрет человек, более уже не живут, опасаясь дьявольского наваждения.

Оставляем другие не менее характеристические черты быта якутов Жиганского улуса. В этих туземцах странным образом соединяются чрезвычайная грубость и неразвитость с большою чистотою нравов и добродушием. «Правда, — говорит автор, — по неимению на их языке грамоты, они не знают молитв и слабое имеют понятие о догматах православной веры; но зато в них преобладает вера». Статья г. Хитрова написана, сколько можно судить, с хорошим знанием предмета: автору близко знакомы и физические особенности страны и образ жизни туземного населения. Желательно, чтоб в статьях подобного рода обращалось более внимания на этнографическую сторону описываемого края:

она необходима для ученого географа, а для читателя-неспециалиста едва ли не более всего интересна.

В другом роде занимательна статья г. Сельского, которая составлена им по очерку пути из Якутска в Нижнеколымск, сообщенному г. Виноградовым. Это — заметки путешественника, который говорит только о том, что видел на пути: о дороге, горах, реках, переправах, станциях и отдыхах; но, несмотря на такое, повидимому, сухое и монотонное содержание, заметки читаются очень легко и с большим интересом. Автор очень обстоятельно рисует все трудности, встречаемые здесь смелым путешественником, который принужден ехать и по лесам, где должен лавировать в чаще кривых деревьев, и по крутизнам высоких гор, и по льду рек, который проламывается под ногами лошадей, и по болотам и выбунам, и, притом, ехать 2 500 верст верхом, потому что о санях или телеге здесь невозможно и думать, и, в заключение, вместо покойного отдыха, ночевать на открытом воздухе, при сорока градусах мороза: так называемые «поварни», играющие здесь роль станционных домов, едва ли удобнее ночлега под открытым небом, потому что путник страдает в них вдвойне, от холода и от дыма. Бедная и негостеприимная природа этого края делает самое путешествие подвигом со стороны человека: оттого рассказ приобретает почти романическую занимательность. В заключении своего описания автор говорит:

Среднеколымск от Якутска лежит прямо на северо-восток. По почтовому дорожнику считают от одного до другого места 2100 верст. Это исчисление неверно: тот, кто имел несчастье проезжать эти пустыни, снисходительнейшим образом полагает расстояние до 2500 верст, прибавляя в летнее время еще до 200 верст. Но что это за дорога! собрание нелюднейших подвигов, беспрестанных опасностей, неудобств всякого рода. Глубокие снега, пурги и едва выносимый холод — зимою; грязи, топи, бадараны (густо-грязные места), выбуны (места около озер, покрытые мхом и мелким кустарником, под которыми скрывается вода, иногда на значительную глубину) и комары — летом, утомят и гениальное терпение. Безлюдье, мертвый вид природы, опрокинутые скалы, россыпи гор, корявый лес, опаленный пожарами или вырванный ветром, бесчисленное множество горных рек и речек, тьма озер и болот, недостаток в самых необходимейших для жизни вещах, пища чисто-отшельническая, неимение крова для защиты от холода и дождей, жестокая стужа и жгучее солнце сменяют только мучения одного рода другими. Бурные реки грозят смертью, бадараны и выбуны — опасностями. Дымная, холодная поварня или вонючая юрта якута служат пристанищем, а во многих местах кров небесный заменяет кровы земные, и неисправность почтосодержателей венчает эту длинную роспись страданий... В десять и двадцать дней езды на душу непривычного находят мысли такие тяжелые, черные, что невольно содрогнешься от них в минуты спокойные.

Коротенький «Очерк прибрежий Амура» состоит из перечета геогностических наблюдений, произведенных автором на всем пространстве этой реки от истоков до устья; он определяет и течение Амура, его ширину, искривленья и т. д. Наблюдения г. Аносова приводят к самым благоприятным выводам о том,

какое значение может приобрести впоследствии край при-Амурский. Образцы горных пород здешней местности, по словам автора, представляют большую аналогию с забайкальской почвою и могут заключать в себе те же разнообразные богатства ископаемого царства, какими природа так щедро наделила Нерчинский край; но так как Амурская страна обладает лучшим климатом и лучшими средствами сообщений, то, без сомнения, она привлечет множество горных промышленников и заводчиков. «Берега Амура, — оканчивает автор, — могут принять миллионы обитателей, щедро награждая пришельцев богатствами из своих недр; а горные кряжи при заселении края дадут пищу деятельному уму и благодарный труд для горного поколения». Все эти выводы вполне согласны с теми ожиданиями, которые более и более распространяются в последнее время, и нет причин сомневаться, что надежды будут оправданы результатами.

В смеси помещены следующие небольшие статьи: «Воспоминание о Шелехове», знаменитом основателе первых русских поселений в Северной Америке и учредителе Российско-Американской Компании; кроме нескольких биографических сведений о нем, здесь помещено описание памятника, воздвигнутого в 1800 г. на могиле его в Иркутске, с надписями, сочиненными Державиным и Дмитриевым; «Ответ на вопрос Гумбольдта о появлении тигра в северной Азии», г. Сельского, который считает появление тигра в этом краю чистой случайностью, а не обыкновенным фактом, и приводит немногие примеры в пояснение своих мнений; «О древних развалинах, найденных около крепости Тунки в 1809», г. Мордвинова; «Взгляд на распространение православной веры в Якутской области»; «Описание сходящихся вершинами рек, впадающих в Охотское море и реку Колыму», г. Н. Чихачева, и, наконец, извлечение из отчета о действиях частных золотых промыслов Енисейского округа за 1854 год, с подробными ведомостями приисков, где указаны время открытия россыпей и начала разработки, их пространство в квадратных саженях, количество промытого песка, добыча золота и т. д.

Изложенное нами содержание первой книжки «Записок» может дать читателю понятие о достоинстве этого нового издания Географического общества: кроме чисто-географических материалов, имеющих научный интерес, оно представляет немало и общезамечательного чтения. Сообщая характеристики мало известных краев Сибири и описание местностей, привлекающих теперь всеобщее внимание, оно может восполнить заметный недостаток в нашей географической литературе, и если последующие выпуски «Записок» будут составлены так же, как вышедшая теперь книга, то можно вперед обещать им удовлетворительный успех в публике.

**Римские женщины. Исторические рассказы по Тациту.
П. Кудрявцева. С рисунками. Москва. 1856.**

В этой книге собраны статьи г. Кудрявцева, помещенные под тем же заглавием в «Прописях». Мы не имеем нужды повторять теперь единогласного мнения о мастерских рассказах г. Кудрявцева, которые живо передают читателю трагические судьбы последнего поколения Цезарей и в то же время прекрасно знакомят с знаменитым историком начала Римской империи. Книга г. Кудрявцева посвящена памяти Грановского. Это снова дало автору повод сказать несколько теплых слов о покойном профессоре, имя которого одинаково дорого и для его бывших слушателей и для товарищей, особенно тех, кто более других был близок к нему.

Собрание стихотворений В. Бенедиктова. Три тома. СПб. 1856.

Литературная карьера была несчастна для г. Бенедиктова. Главною бедою его, из которой произошли все последующие неприятности, надобно считать то, что первая книжка стихотворений, изданная им в 1835 году, доставила автору многочисленных почитателей и почитательниц. Каким образом могла она произвести такое впечатление, мы никогда не понимали и до сих пор не понимаем, потому что даже те качества, которыми восхищались поклонники г. Бенедиктова, вовсе не имеют чрезвычайного блеска, которым извинялось бы обольщение: великолепие в стихе нет, сладострастие в картинах женской красоты и чувственной любви очень холодно и вяло. Одного только нельзя отрицать: язык, действительно, исхищен и кудреват до неимоверности, а метафоры неправдоподобно смелы и бесчисленны. Только на этом и мог основываться успех. Но, как бы то ни было, успех этот был пагубен г. Бенедиктову, обратив на него внимание читателей с развитым вкусом и критики. Счастливы г. Тимофеев, г. Бернет, фон-Лизандер, Якубович и другие: они прошли незамеченными, за то и мало терпели от насмешек, — а г. Бенедиктову, по какому-то губительному счастью, суждено было наделать шуму, — и шум этот вызвал голос критики и образованной части публики... Завидна участь скромных лилий, поблекнувших в безвестности, т. е. Якубовича, Строилова, Гогниева и других.

Подвергся г. Бенедиктов и другому несчастию в самом начале своего поэтического поприща. Одному ученому ценителю изящного, знаменитому своими многочисленными промахами, почему-то вздумалось красноречиво объявить, что г. Бенедиктов есть по преимуществу поэт мысли¹. Это был самый странный из всех возможных промахов. Статья была так поразительна своею несообразностью с рассудком, что до сих пор никто из читавших ее

не может забыть о ней, хотя прошло с того времени уже двадцать один год.

Эти два пагубные обстоятельства, в которых г. Бенедиктов был нимало не виноват, нанесли ему бесчисленный и бесконечный вред. Являлся ли номер журнала, являлся ли какой-нибудь сборник с стихотворениями разных служителей Феба и, между прочим, стихотворениями г. Бенедиктова, — о стихах Коптева, Кропоткина, Крешева и т. д. или великодушно умалчивалось, или слегка упоминалось, что они плохи, — Коптев, Кропоткин, Крешев писатели темные: с них взыскивать нечего; но о стихах г. Бенедиктова нельзя было не говорить: ведь он писатель, имеющий толпу поклонников и поклонниц, раскупивших три издания первой части его стихотворений... И начинала критика разбирать новое стихотворение г. Бенедиктова... И каковы были эти разборы! Вот, например, отрывок из статьи «Отечественных записок», написанной о третьем томе «Ста русских литераторов»: ²

Г. Бенедиктов снабдил свой портрет пятью стихотворениями. Посмотрим на них и начнем с первого.

Лебедь плавает на воде «в державной красоте», и у него завязывается с поэтом преинтересный разговор; г. Бенедиктов спрашивает его:

Что так гордо, лебедь белый,
Ты гуляешь по струям?
Иль свершил ты подвиг смелый?
Иль принес ты пользу нам?

Лебедь отвечает г. Бенедиктову, что он «праздно нежится в водном хрустале», но что он недаром «упитан гордым духом на земле», а именно вот почему:

Жизнь мою переплывая, (?)
Я в водах омыт от зла, (?)
И не давит грязь земная
Мне свободного крыла.
Отряхнусь — и сух я стану;
Встрепенусь — и серебрист; (?)
Запылюсь — я в волны прыну;
Окунусь — и снова чист.

Читатель, может быть, спросит, что значит «переплывать свою жизнь», и, пожалуй, не найдет смысла в этой фразе; может быть, также не поймет, как можно омываться водою от зла кому-нибудь, а тем более лебедю, который, как животное, злу не причастен, а разве грязи, которую вода, действительно, имеет способность смывать; еще, может быть, читателю покажутся смешными последние четыре стиха, как риторическая стукотня пошлого тона, а второй стих непонятен. Но мы советуем вам не быть слишком строгими и придирчивыми и не забывать, что ведь все это говорит птица. Животное, которому простительнее, нежели людям, говорить вздор.

Далее, лебедь, видя, что г. Бенедиктов благосклонно слушает его болтовню и не останавливает его, утверждает решительную нелепость, будто человек никогда не слышивал лебединого крика (который поэты величают пением) на том основании, что

Лебединых сладких песен
Недостойн человек.

Вследствие сего обстоятельства, он, реченный лебедь, и поет только для неба, да и то лишь в предсмертный час свой. Но пение не мешает лебедю заблаговременно распорядиться своею духовною. Во-первых, он дает поэту «чудотворное» перо из своих «крылий»,

И над миром, как из тучи,
Брызнут молнии созвучий
С вдохновенного пера.

Теперь ясно, отчего одни поэты поют сладко, а другие так отвратительно; первые пишут лебединым пером, а вторые — гусиным. Конечно, если хотите, хороший поэт и гусиным пером будет писать недурно, но все не так, как лебединым, потому что, владея этим «чудотворным» орудием, он делается «певучим наследником» лебедя. *Avis au poëtes!* * Потом лебедь завещает для изголовья милой девы мягкий пух с мертвенно-остылой груди, в которой витал летучий дух!.. И этому пуху дева, в немую ночь, поверит, из-под внутренней грозы, роковую тайну пламенной слезы,

И, согрет ее дыханьем,
Этот пух начнет дышать
И упругим колыханьем
Бурным перьям отвечать.

Подумаешь, сколько хорошего может наделать один лебедь! А все отчего? оттого, что он отряхнется — и станет сух, встрепенется — станет серебрист, запылится — и поскорее в волны, окунется — и как ни в чем не бывал! Оттого он и песни поет небу и перо дарит поэту, а пух — красавице! А затем... но пусть он вам сам скажет, что будет с ним затем: он так хорошо говорит, что хочется и еще послушать его:

Я исчезну, — и средь влаги,
Где скользил я, полн отваги,
Не увидит мир следа;
А на месте, где плескаться
Так любил я иногда,
Будет тихо отражаться
Неба мирная звезда.

Но что же из всего этого? какой результат, какой смысл, какая мысль, какое, наконец, впечатление, в уме читателя? Ничего, ровно ничего, больше, чем ничего, — стихи, и только... Чего ж вам больше? Не все же гоняться за смыслом — не мешает иногда удовольствоваться и одними стихами.

Однажды, в поэтическую минуту, внимание г. Бенедиктова привлекла —

От женской головы отъятая коса,
Достойная любви, восторгов и стений,
Густая, черная, сплетенная в три грани,
Из страшной тьмы могил исшедшая на свет,
Не измененная под тысячами лет,
Меж тем, как столько кос, с их царственной красотою,
Иссеклось времени нещадною косою.

Надо согласиться, что было над чем попризадуматься, особенно поэту. Не диво мне, — говорит г. Бенедиктов, — что диадемы не гниют в земле:

В них рдело золото — прельстительный металл!
Он время соблазнит и вечность он подкупит —
И та ему удел нетления уступит.

* Вниманию поэтов! — Ред.

Эта удивительная фраза о соблазне времени и подкупе вечности золотом, как будто бы время — женщина, а вечность — подьячий, — эта несравненная фраза дает надежду, что г. Бенедиктов скажет когда-нибудь, что гранит и железо запугивают или застрашивают время и вечность, и эта будущая фраза, подобно нынешней, будет тем громче и блестящее, чем бессмысленнее. Итак, неудивительно, что золото не гниет в земле: но как же коса-то уцелела?

Ужели же она
Всевластной прелестью над временем сильна?
И вечность жадная на этот дар прекрасный
Глядела издали с улыбкой сладострастной?

Час от часу не легче! Вечность доступна обольщению, подкупу! вечность сладострастна! Какая негодница!.. Но что ж дальше? Дальше общие места по реторике г. Кошанского: где глаза этой косы, которые сводили с ума диктаторов, царей, консулов, мutilи весь мир, в которых были свет, жизнь, любовь, душа, в которых «пировало бессмертие» (?!!!...) и т. п. Где ж они?

И тихо выказал ослабленный скелет
На желтом черепе два страшные провала.

Откуда же взялся череп? Ведь дело о косе, «отъятой от женской головы»? Подите с поэтами! спрашивайте у них толку!..

В третьем стихотворении г. Бенедиктов бранит толпу, и надо сказать, довольно недурно, если б только он поостерегся от персидских метафор, вроде следующих: «полотно широкой думы пламенеет под краской чувства», «гром искрометной рифмы» и т. п. вычурностей пошлого тона. В четвертом стихотворении г. Бенедиктов рассказывает нам, как невинно и духовно взирает он на грудь «девы стройной»:

Любуясь красотой сей выси благодатной,
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной,
.....
Он чувство новое в груди своей питал;
Поклонник чистых муз — желаньем он сгорал
Удава кольцами вокруг милой обвиваться,
Когтями ястреба в пух лебедя впиваться.

Какие сильные, а главное, какие изящные и благородные образы!..

Нельзя не согласиться, что г. Бенедиктов — поэт столько же смелый, сколько и оригинальный. У него есть свои поклонники, и мелкие рифмачи даже пишут к нему послания стихами, в которых не знают, как и изъяснить ему свое удивление. Нашелся даже критик, который поставил его выше всех поэтов русских, не исключая и Пушкина. Само собой разумеется, что предмет поклонения всегда бывает выше своих поклонников; а так как почитателей таланта г. Бенедиктова даже и теперь тьма-тьмущая, то и нельзя не согласиться, что г. Бенедиктов есть в своем роде замечательное явление в русской литературе, как были в ней замечательны, например, Марлинский и г. Языков. Конечно, подобная «замечательность» ненадежна и недолговременна, но все же она имеет свое значение, потому что основана не на одном только дурном вкусе эпохи или значительной, по большинству, части публики, но также и на таланте своего рода. Но мы уже не раз говорили, что есть таланты, которые служат искусству положительно, и есть другие, которые служат ему отрицательно: произведения первых приводятся эстетиками, как примеры истинного и правильного хода искусства; произведения вторых служат для примеров ложного и фальшивого направления искусства. Это бывает не с одними лицами, но и с народами; для образцов изящного вкуса смело пользуйтесь греками, для образцов дурного вкуса смело обращайтесь к китайцам, и у последних берите только лучших художников и лучшие произведения. Муза г. Бенедиктова — женщина средней руки, если хотите, недур-

ная собою, даже хорошенькая, но с пошлым выражением лица, бойкая, вертлявая и болтливая, не без грации и достоинства, страшная щеголиха, но без вкуса; она любит белила и румяна, хотя могла бы обходиться и без них, любит пестроту и яркость в наряде и, за неимением брильянтов, охотно бременит себя стразами; ей мало серег: подобно индейской баядере, она готца носить золотые кольца даже в ноздрях. Все это относится только к выражению в поэзии г. Бенедиктова. Разложить стихотворение г. Бенедиктова на составные элементы, пересказать его содержание из него же взятыми и несколько не измененными фразами, всегда значит обратить его в пустоту и ничтожество («Отечественные записки», 1845 г., № 9, «Критика», стр. 13—15).

А вот другой отрывок из разбора Альманаха «Метеор»; он также из «Отечественных записок» за тот же год.

В «Метеоре» доставило нам истинное удовольствие, до слез развеселило нас стихотворение г. Бенедиктова: «Тост». Не можем отказать себе в наслаждении поделиться с читателями нашим весельем.

Чаши рдеют, словно розы,
И в развал их вновь и вновь
Винограда брызнут слезы,
Нервный сок (?) его и кровь.
Эти чаши днесь воздымем
И, склонив к устам края,
Влагу светлую примем
В честь и славу бытия,
Общей жизни в честь и славу,
За ее всесветный трон,
И всемирную державу
Поглотим струю кроваву
До осушки стеклянных дон!

Стихотворение это столько же огромно, сколько и прекрасно: всего нельзя выписать; ограничимся лучшим:

Жизнь, сияй! Твой светоч — разум.
Да не меркнет под тобой
Свет сей, вставленный алмазом
В перстень вечности самой!

Удивительно! Разум сперва является светочем жизни, потом уходит под жизнь и наконец делается алмазом и попадает в перстень вечности! Какая глубокая мысль — ничего не поймешь в ней! Господа современные русские стихотворцы, объясните нам смысл этой глубокой мысли: тысячи пудов российских стихотворений в награду.

Венчан лавром или миртом —
Наподобие сих чаш,
Буди налит череп наш
Соком дум и мысли спиртом!

Браво! брависсимо! Наподобие чаш, налить черепа живых (физически) людей соком дум и спиртом мысли: какая счастливая, оригинальная мысль! Жаль только, что она будет в подрыв откупам и погребам.

Пьем за милых — вестниц рая —
За красы их, начиная
С полных мрака и лучей
Зажигательных очей,
Томных, нежных и упорных,

Цветом всячески-цветных,
Серых, карих, адски-черных
И небесно-голубых!
За здоровье уст румяных,
Бледных, алых и багряных
Этих движущихся струй,
Где дыханье пламенеет,
Речь дрожит, улыбка млеет,
Пышет вечный поцелуй!
В честь кудрей благоуханных,
Легких, дымчатых, туманных,
Светло-русых, золотых,
Темных, черных, рассыпных,
С их неистовым извивом,
С искрой, с отблеском, с отливом,
И закрученных, как сталь,
В бесконечную спираль!

Далее поэт настаивает в своем намерении восхвалить юных дев и добрых жен,

Сих богинь огне-сердечных,
Кем мир целый проведен
Чрез святыню персей млечных,
Колыбели и пелен.
.....
Этих горлиц, этих львиц,
Расточительниц блаженства
И страдания цариц!

Молниеносными чертами рисует потом поэт географию и анатомию России:

Чудный край! через Алтай,
Бросив локоть на Китай,
Темя вспрыснув Океаном,
В Балт ребром, плечом в Атлант (!)
В полюс лбом, пятой к Балканам
Мощный тянется (?) гигант.

Потом поэт, придя в восторг, предлагает выпить сока дум и спирта мысли —

В славу солнечной системы,
В честь и солнца и планет,
И дружин огне-крылатых,
Длиннохвостых, бородатых,
Быстрых, бешеных комет.

Наконец ему показалось, что земля

Мчится в пляске круговой
В паре с верною луной, —

что «все миры танцуют»...

Жалеем, что не могли выписать этого дивного дифирамба вполне: в нем еще осталось столько соку дум и спирта мысли!.. Прав, тысячу раз прав г. Шевырев, доказавший, что до г. Бенедиктова в русской поэзии не было мысли и что Державин, Крылов, Жуковский, Батюшков, Пушкин — поэты без мысли. Да, только с появлением книжки стихотворений г. Бенедиктова русская поэзия преисполнилась не только мыслью, но и соком дум и спиртом мысли...» («Отечественные записки», 1845 г, № 5, «Библиография», стр. 13—15).

Не ужасны ли эти насмешки? Положим, что они справедливы; но чем же виноват г. Бенедиктов в том, что его стихотворения заслуживают таких насмешек?

Еще прискорбнее читать пародии на стихотворения г. Бенедиктова, потому что решительно не видишь, чем стихотворения его отличаются от пародий, на них написанных. Вот, например, пусть человек, которому бы не было памятно, какие из шести приведенных нами стихотворений — подлинные стихотворения, а какие — пародии на них, — пусть такой человек различит пародии от стихотворений:

I

Есть мгновенья дум упорных,
Разрушительно-тлетворных,
Мрачных, буйных, адски-черных,
Сих — опасных, как чума, —
Расточительниц несчастья,
Вестниц зла, воровок счастья
И гасительниц ума!

Вот в неистовстве разбоя
В грудь вломились, яро воя —
Все вверх дном! И целый ад
Там, где час тому назад
Ярким, радужным алмазом
Пламенел твой светоч, разум!
Где любовь, добро и мир
Пировали честный пир!
Ад сей — в ком из земнородных
От степей и нив бесплодных
Сих отчаянных краев,
Полных хлада и снегов —
От Камчатки льдяно-реброй
До берегов отчизны доброй, —
В ком он бурно не кипел?
Кто его — страстей изъятый,
Бессердечием богатый —
Не восцествовать посмел?
Ад сей — ревностью он кинут
В душу смертного. Раздвинут
Для него широкий путь
В человеческую грудь...
Он грядет с огнем и треском,
Он ласкательно язвит,
Все иным, кровавым блеском
Обольет и превратит
Мир в темницу, радость — в муку,
Счастье — в скорбь, веселье — в скуку
Жизнь — в кладбище, слезы — в кровь,
В яд и ненависть — любовь!
Полон чувств огнепалящих,
Вопиющих и томящих,
Проживает человек
В страшный миг тот целый век!

II

Нет, красавица, напрасно
Твой язык лепечет мне,
Что родилась ты в ненастной,
Нашей хладной стороне.
Нет, не верю: издалека
Ветер к нам тебя завлеч;
Ты жемчужина Востока,
Поля жаркого цветок!
Черный глаз и черный волос —
Все не наших русских дев,
И в речи кипит твой голос,
А не тянется в распев;
Вольной зыбью океана
Грудь волнуется твоя,
И извив живого стана —
Азиатская змея.

Ты глядишь, очей не жмуря,
И в очах горит смола,
И тропическая буря
Дышит пламенем с чела.
Фосфор — в бешеном сверканье —
Взгляды быстрые твои,
И сладчайшее дыханье
Веет мускусом любви, —
И какой-то силой скрытной
Ты, волшебница, полна,
Притягательно-магнитной
Сферой вся обведена.
Сын железа — северянин,
Этой силой отуманен,
На тебя наводит взор —
И пред этим обаяньем,
Ограждаясь расстояньем,
Еле держится в упор.
Лишь нарушья только мера,
Полшага ступи вперед,
Обятельная сфера
Так и тянет, так и жжет!
Нет, не верю: ты не близко
Рождена; твои черты
Говорят: султанша ты
Ты Зюлейка, одалиска,
Верх восточной красоты!

III

С эффектом громовым, победно и мягежно
Ты в мире пронеслась кометой неизбежной
И бедных юношей толпами наповал,
Как молния, твой взор и жег и убивал!
Я помню этот взгляд фосфорно-ядовитый
И локон смоляной, твоим искусством взбитый,
Небрежно падавший до раскаленных плеч,
И пламенем страстей клокочущую речь,
Духошной груди блеск и узкой ножки стройность.
Во всех движениях разгар и беспокойность

И припекавшие лобзаниями уста —
 Венец красы твоей, о дева-красота!
 Я помню этот миг, когда, царица бала,
 По льду паркетному сильфидой ты летала
 И как, дыхание в груди моей тая,
 Взирая на тебя, страдал и рвался я,
 Как ныне рвуся я, безумец одинокий,
 Над сей могилою, загложшей и далекой.

IV

Есть чувство адское: оно вскипит в крови
 И, вызвав демонов, вселит их в рай любви,
 Лобзания отравит, оледенит объятья,
 Вздох неги превратит в хрипящий вопль проклятья,
 Отнимет все — и свет, и слезы у очей,
 В прельстительных кудрях укажет свитых змей,
 В улыбке алых уст — гиены ослабление,
 И в легком шопоте — ехиднино шипенье.

Вот, вот прелестница! Усмешка по устам
 Ползет, как светлый червь по розовым листьям,
 Она — с другим — нежна! Увлажена ресница;
 И наглый взор его сверкает, как зарница,
 По прелестям ее, как молния, скользит
 По персям трепетным, впивается, язвит,
 По складкам бархата стремительно струится
 И в брызги адские у ног ее дробится;
 То брызжет ей в лицо, то лижет милый след.
 Вот руку подала! Изменницы браслет
 Не стиснул ей руки... Уж вот ее мизинца
 Коснулся этот лев из модного зверинца,
 С косматой гривой! Зачем на ней надет
 Сей светло-розовый мне ненавистный цвет?
 Условья нет ли здесь? В вас тайных знаков нет ли,
 Извинченных кудрей предательские петли?
 В вас, пряди черных кос, подернутые мглой?
 В вас, верви адские, залитые смолой,
 Щипцами демонов закрученные свитки,
 Снаряды колдовства, орудья вечной пытки?

V

О, как быстра твоих очей
 Огнем напитанная влага!
 От них — и тысячи смертей
 И море жизненного блага!
 Они, одетые черно,
 Горят во мраке сей одежды:
 Сей траур им носить дано
 По тем, которым суждено
 От них погибнуть без надежды.
 Быть может, в сумраке земном
 Их пламя для того явилось,
 Чтоб небо звезд своих огнем
 Перед землею не гордилось, —
 Или оттолк, где звезд ряды
 Крестят эфир лучей браздами,
 Упали белых дзе звезды

И стали черными звездами.
Порой в них страсть: ограждены
Двойными иглами ресницы,
Они на мир наведены
И смотрят ужасом темницы,
Где через эти два окна
Чернеет страшно глубина, —
И поглотить мир целый хочет
Та всеобъемлющая мгла,
И там кипящая клокочет
Густая черная смола;
Там ад; но муки роковые
Рад каждый взять себе на часть,
Чтоб только в этот ад попасть,
Проникнуть в бездны огневые,
Отдаться демонам во власть,
Истратить разом жизни силы,
Перекипеть, перегореть,
Кончаясь, трепетать и млеть
И, как в бездонных две могилы,
Все в те глаза смотреть, смотреть.

VI

Вот она, звезда Востока,
Неба жаркого цветок!
В сердце девы страстноокой
Льется пламени поток!

Груды бьются, будто волны,
Пух на девственных щеках
И, роскошной неги полны,
Рдеют розы на устах;

Брови черные дугою
И зубов жемчужный ряд,
Очи — звезды подо мглою —
Провозвестники отрад!

Все любовью огнистой,
Сумасбродством дышит в ней,
И курчаво-смолянистый
На плече побег кудрей...

Дева юга! Пред тобою
Бездыханен я стою:
Взором адским, как стрелою,
Ты пронзила грудь мою!

Этим взором, этим взглядом —
Чаровница — ты мне вновь
Азиатским злейшим ядом
Отравила в сердце кровь!

Из этих шести стихотворений три принадлежат г. Бенедиктову, другие три написаны как пародии на его манеру. Но читатель, не знавший предварительно, которые именно стихотворения относятся к первому, которые к последнему классу, наверное, не

будет в состоянии избежать ошибок при различении подлинных стихотворений от пародий. Это очень огорчительно.

Двадцать лет постоянно быть предметом бесчисленных разборов, подобных тем, какие приведены выше — судьба, которая может поселить сострадание в душе самого сурового судьи.

Нам очень тяжела была необходимость говорить о стихотворениях г. Бенедиктова, потому что мы не видели возможности изменить суждение, которое бесчисленное количество раз было произнесимо различными журналами о достоинстве его произведений. Но мы надеялись, что найдем, по крайней мере, какую-нибудь возможность смягчить это суждение. Из сожаления о грустной судьбе этих стихотворений, мы перечитывали изданные теперь три тома, расположив себя к величайшей снисходительности, проникнувшись желанием найти в них что-нибудь, кроме недостатков, которые столько раз уже были замечаемы другими рецензентами.

Наши поиски не были совершенно напрасны: мы нашли три или четыре стихотворения, в которых г. Бенедиктов, оставляя обыкновенные свои темы, обращается мыслью к событиям, совершающимся вокруг нас, — из мира «извинченных кудрей», «фосфорных очей» и адских страстей, выражаемых натянутыми метафорическими гиперболами, переходит в мир чувств, знакомых обыкновенным людям. Нам приятно было убедиться, что г. Бенедиктов иногда выказывает в этих случаях чувства и желания, достойные уважения. Особенно примирительно может действовать на читателей та пьеса, которую заключаются в третьей части оригинальные произведения г. Бенедиктова.

СТАНСЫ ПО СЛУЧАЮ МИРА

Вражды народной кончен пир,
Пора на отдых ратоборцам!
Настал давно желанный мир, —
Настал, — и слава миротворцам!

Довольно кровь людей лилась...
О, люди, люди! вспомнить больно!
От адских жерл земля тряслась
И бесы тешились... довольно!

Довольно черепы ломать,
В собрате видеть душегубца,
И знамя брани подымать
Во имя бога-миролюбца!

За мир помолимся тому,
Из чьей десницы все приемлем,
И вкупе взмолимся ему,
Да в лоне мира не воздремлем!

Не время спать, о братья, — нет!
Не обольщайтесь настоящим!

Жених в полнощи грядет:
Блажен, кого найдет не спящим.

Царь, призывая вас к молебне
За этот мир, любви словами
Совет вас к внутренней борьбе
Со злом, с домашними врагами.

В словах тех шлет он божью весть —
Не пророните в них ни звука!
Слова те: вера, доблесть, честь,
Законы, милость и наука.

Всем будет дело. Превозмочь
Должны мы лень, средь дел бумажных
Возросшую. Хищенье — прочь!
Исчезни племя душ продажных!

Ты, малый труженик земли,
Сознай, что в деле нет безделки!
Не мысли, что грехи твои
За тем простительны, что мелки!

И ты, сановник, не гордись!
Не мни, что злу ты недоступен,
И неподкупным не зовись,
Коль только златом неподкупен!

Не лихоимец ли и ты,
Когда своей чиновной силой
Кривишь судебные черты
За взгляд просительницы милой?

Коль гнешь рычаг своих весов
Из старой дружбы, из участия,
Иль по ходатайству больших,
Или за взятку сладострастья?

Всяк труд свой в благо обращай!
Имущий силу делать — делай!
Имущий словеса — вещай,
Греми глаголом правды смелой!

Найдется дело и тебе,
О, чувств и дум зернометатель!
Восстань и ты к святой борьбе,
Вития мощный и писатель!

Восстань, — не духа злобы полн,
Восстань не буйным демагогом,
Не лютым двигателем волн,
Влекущим к гибельным тревогам:

Нет! гласом добрым воззови,
И зов твой, где бы ни прошел он,
Пусть духом мира и любви
И в самом громе будет полон!

Огнем свой ополчи глагол
Лишь на нечестие земное,
И — с богом — ратуй против зол!
Взгляни на общество людское:

Увидишь язвы в нем; им дан
Лукавый ход по жилам царства,
И против этих тайных ран
Нет у врачей земных лекарства.

Пороков мало ль есть таких,
Которых яд полмира губит,
Но суд властей не судит их
И меч закона их не рубит!

Ты видишь: бедного лиша
Последних благ в последнем деле,
Ликуя, низкая душа
Широко дремлет в тучном теле.

Пышней, вельможней всех владык,
Добыв чертог аристократа,
Иной бездушный откупщик
По горло тонет в грудах злата.

Мы видим роскошь без границ
И океан долгов бездонных,
Мужей, дошедших до темниц
От разорительниц законных.

Нередко видим мы окрест
И брачный торг — укор семействам,
И юных жертвенных невест,
Закланых дряхлым любодейством.

Зрим в вертоградах золотых,
Среди цветов, в тени смоковниц,
Любимцев счастья пустых
И их блистательных любовниц.

Толпа спешит не в храм творца:
Она спешит, воздев десницу,
Златого чествовать тельца
Иль позлащенную телицу.

Но есть для вас, сыны греха,
Но есть для вас, земли кумиры,
И гром и молния стиха,
И бич карающей сатиры, —

И есть комедии аркан, —
И, как боец, открыв арену,
Новейших дней Аристофан
Клеона вытащит на сцену.

Глас божий, мнится, к нам воззвал
И указывает перст судьбины,
Да встанет новый Ювенал
И сдернет гнусные личины!

Правда, художественного достоинства в этой пьесе довольно мало: она растянута, некоторые удары автора не попадают в цель, и вообще пьеса кажется прозой, переложенною в стихотворный размер; но первые и некоторые из средних строф заслуживают похвалы по мысли, а в последних трех даже выражение замечательно сильно. Из другой пьесы подобного содержания — «К России», написанной г. Бенедиктовым также в последнее время, недавно были приведены в «Современнике» лучшие строфы («Соврем[енник]», 1855, № 12, «Заметки о журналах»). В третьем томе есть еще пять-шесть стихотворений, которые хотя не имеют особенных достоинств, но лучше других тем, что написаны языком не слишком напыщенным. Эти немногие стихотворения и особенно пьеса «К России» и «Стансы по случаю мира», вероятно, оправдают нас перед читателями в том, что мы хотим высказать свое мнение о степени таланта г. Бенедиктова без насмешек над напыщенностью его языка, который уже слишком достаточное число раз бывал в наших журналах предметом шуток.

Несмотря на все наше желание смотреть на произведения, г. Бенедиктова самыми благорасположенными глазами, мы никак не можем видеть в них хотя бы слабых следов поэзии. Чувства в них нет; они носят на себе слишком очевидные признаки, что все в них — придуманное, сочиненное; от самых сладострастных картин веет холодом; на самых гиперболических выражениях лежит тяжелый отпечаток недостатка фантазии. Поэтическая фантазия состоит не в том, чтобы придумывать небывалые метафоры и гиперболы, — иначе, в известной книге «Не любю не слушай» было бы гораздо больше поэзии, нежели в Шекспире и Гомере. Она не состоит и в том, чтобы описывать подробно все принадлежности женского организма: иначе, в «Руководстве к повивальному искусству» опять-таки было бы гораздо больше поэзии, нежели в Шекспире и Гомере. Поэтическая фантазия состоит в том, чтобы предмет немногими чертами изображался живо и точно; а этого качества решительно нет в стихотворениях г. Бенедиктова. Хотя бы даже оставить без внимания все натянутые и неловкие выражения, все-таки стихотворения г. Бенедиктова остаются холодны, картины его сбивчивы и безжизненны. Потому надобно, к сожалению, решительно сказать, что поэтического таланта у г. Бенедиктова мало.

Такое заключение, повидимому, неутешительно, — но только повидимому; на самом же деле, оно очень успокоительно и совершенно примиряет нас с стихотворениями г. Бенедиктова. По нашему убеждению, нельзя упрекать его ни в чем, напрасно преследовать его насмешками и т. д. — все это совершенно бесполезно. Напрасно говорить, что он злоупотреблял своим талантом или шел по ложному пути — для него не было никакой дороги в царстве поэзии. Прежде, когда у него были почитатели, из числа

людей с неразвитым вкусом, конечно, нужно было разоблачать недостатки его произведений, чтобы вывести этих заблуждавшихся людей из ошибки, вредной для их развития. Но теперь эта надобность, кажется, уже миновалась. Время успеха давно прошло для г. Бенедиктова.

Но, однако же, некогда успех его был громаден в известной части публики, — должен же был на чем-нибудь основываться этот успех? Мы уже сказали, на чем он основывался: на неразвитости вкуса. Прибавим и другую причину — стихотворения г. Бенедиктова привлекали своими физиологическими подробностями. Они возбуждали интерес точно такого же рода, как та картинка, на которую засмотрелся Акакий Акакиевич, идя по Невскому проспекту: дама надевает на ногу чулок — предмет интересный, хотя бы рисунок и был довольно плох.

Статья наша окончена. Остается только сказать, что из шести стихотворений, приведенных нами, г. Бенедиктовым написаны второе, четвертое и пятое, а стихотворения, поставленные на первом, третьем и шестом месте — пародии.

Стихотворения графини Ростопчиной. Том второй. СПб. 1856.

Рассматривая первый том нового издания произведений поэтессы, мы подробно высказали свое мнение как о характере ее произведений, так и о степени ее таланта. Не имея теперь сказать об этих предметах ничего нового, мы только выпишем из второго тома стихотворений графини Ростопчиной несколько пьес: мы берем их почти без выбора, потому что выбор бесполезен.

ЗВЕЗДЫ ПОЛУНОЧИ

Кому блестите вы, о звезды полуночи?
Чей взор прикован к вам с участием и мечтой,
Кто вами восхищен? Кто к вам подымет очи,
Не засоренные землей?

Не хладный астроном, упитанный наукой,
Не мистик астролог вас могут понимать!
Нет! для изящного их дума близорука:
Тот испытует вас, — тот хочет разгадать.

Поэт, один поэт с восторженной душою,
С воображением и страстным и живым
Пусть наслаждается бессмертной красотой
И вдохновением пусть вас почитит своим!

Да женщина еще, — мятежное создание,
Рожденное мечтать, сочувствовать, любить, —
На небеса глядит, чтоб свет и упование
В душе пугливой пробудить.

ПАХИТОС

*Fumer... rêver...
et puis... on va
si loin alors!**
X. X.

Пахитос, — отрада лени,
Европейский наргиле, —
Страсть новейших поколений,
Повод дедушкам к хуле, —
Пахитос!.. предмет раздора
И в гостиных и в семьях, —
Соучастник разговора,
И наперсник наш в мечтах, —
Дым твой полон откровений,
Много тайн в твоей золе,
Пахитос, отрада лени,
Европейский наргиле!

Львиц причудливое зная,
Ты безгрешно тешишь их,
Ты игрушка им, — и пламя
На замен огней других!
Друг испанки черноокой,
Ты при счастье, средь скорбей
Жизни праздной, одинокой
Сокращаешь скуку ей!
Ты пристал и ручке нежной,
И коралловым устам,
Думе грустной и мятежной
И смеющимся глазам!

Я не львица удалая,
Не испанка под фатой, —
Но блаженствую, вдыхая,
Пахитос, чад легкий твой!
Мне сдается, суеверной,
Что разрозненным друзьям
Ты символ в дали безмерной,
Связь двум мыслям, двум мечтам...
Дым твой полон откровений,
Много тайн в твоей золе,
Пахитос, отрада лени,
Европейский наргиле!

ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР

Полночь звучит... Сюда несите чашу,
Благоуханный дайте ром...
Все свечи вон!.. Пусть жженка прихоть нашу
Потешит радужным огнем!
Зовите табор к нам!.. Чтоб песнью чудно-шумной
Нас встретил иступленный хор.
Чтоб дикой радостью, чтоб удалью безумной
Был поражен и слух и взор!

* Курить... грезить... и тогда так далеко уходишь! — Ред.

Велите петь цыганке черноокой
 Про страсть, про ревность, про любовь,
Про всё, про всё, что в жизни одинокой
 Волнует ум, сжигает кровь!..
И мы послушаем тот вечный сердца ропот, —
 И оживится холодный прах,
Забывших нами снов — проснется страстный шопот
 В давно заглухнувших сердцах!..

Давно, мои друзья, любимых песен звуки,
 Давно не тешили меня;
Но русской речи склад в чужбине, в дни разлуки
 Припоминала часто я.

О, как хотелось мне любимое веселье
 Лет свежей юности вкусить
И, после странствия, возврата новоселье
 Подобным пиром огласить!

Оно исполнилось, тоскливое желанье, —
 Поют мне песни старины!
Простонародных слов и ладов сочетанья
 Кипучей жизнью как полны!..

В восторженной душе очнулося бывшее
 С минувшей радостью, тоской, —
И сердце, как тогда, безумно молодое
 Забилось с прежней быстротой.

Внимаю жадно им, знакомцам забытым,
 Люблю радушный их привет,
И предпочту его поклонам знаменитым,
 В которых правды, смысла нет!
Здесь есть поэзия, в поющей сей картине
 Есть страсть, есть воля, есть порыв;
Разнообразный хор таинствен, как судьбина, —
 Как беззаботность, он гульлив.

Для чувства робкого, для тайных упований
 Поет он сладкий гимн любви;
Для сердца грустного в нем отклик есть страданий, —
 Что хочешь, каждый назови!..
И нас немного здесь, — но каждый понимает
 По-своему ответный глас;
И верно, углубясь в мечту, припоминает
 Какой-нибудь заветный час...

Предаться можем мы свободно увлеченью
 Очаровательных минут:
Ни взор завистливый, ни злость, ни осужденье
 В наш тесный круг не попадут,
И мы доверчиво друг другу смотрим в очи,
 Без опасенья, без препон...
Жаль, быстрые часы блаженной этой ночи
 Промчатся, как чудесный сон!

НА ЛАВРОВЫЙ ВЕНЕЦ.

*подписанный мне земляками в саду виллы
д'Эсте, в Тиволи*

Не мне, друзья, не мне венец лавровый...
Такая честь не подобает мне!
Дар вашей дружбы я принять готова, —

Им радуюсь в душевной глубине, —
Но, как символ таинственно-высокий,
Мне чужд сей лавр!.. мне до него далеко!..

Смотрите, где мы!!.. Вот стоят палаты
Старинные, чудесные... и в них
Когда-то двор державный и богатый
Торжествовал пиры князей своих, —
Род д'Эсте угощал своих клевретов,
Воителей, художников, поэтов.

И вспомните, чьи стопы ходили
По сим аллеям!.. чей здесь глас звучал...
Чьи песни здесь Элеонору чтили!
Здесь страстный Тассо жил... любил... мечтал!..
Не мнится ль вам, что под лавровой сенью
Мы встретимся с его туманной тенью?..

Скажите: там, меж тополей шумящих,
Как будто шорох не слышали вы?..
Меж мраморных фонтанов, здесь блестящих,
Вы не видали облик головы?..
О, тише!.. Воздадимте в умиленьи
Страдальцу и певцу благоговенья!

Что́ я пред ним?.. Что́ я в стране сей славной?..
Дитя сует и баловень мечты, —
Поэт полупустой и легконравный,
Любящий бал, наряды и цветы...
Лишь женщина... во всем значеньи слова!..
Не мне друзья, не мне венец лавровый.

ПЕСНЬ ВОЗВРАТА *

Я с гордостью свой путь припоминаю, —
Его с восторгом детским соверша:
В стране красот классических была я, —
И там сказали мне: «Ты хороша!»
В отчизну мысли и ума пришла я, —
И там поэта пылкая душа
Нашла друзей, ценителей, хваленья...
И поняла, что в славе есть значенье.

Довольна я!!.. Да, женщина, поэт
Равно своей поездкой насладились;
Обоих угостил широкий свет,
Обоих ожиданья совершились!
Воспоминанья двух прожитых лет
Мне дороги... с душой моей сдружились,
Как сладкий, чудный, незабвенный сон;
Лишь жаль, что слишком скоро прерван он!..

* Пьеса эта довольно велика по объему; оттого мы могли привести только некоторые строфы. Кстати заметим, что она написана в 1846 году, через семнадцать лет после начала поэтической деятельности графини Ростопчиной.

ОТВЕТ НЕКОТОРЫМ БЕЗЫМЕННЫМ СТИХОТВОРЕНИЯМ (1854)

Сам бог сказал: «Чти мать свою!»
И грех тебе, о сын лукавый,
Когда, враг материнской славы,
Позоришь бранию неправой
Ты мать родимую твою!
Когда в лжемудрости надменной
И честь и совесть погубя,
Разишь рукою дерзновенной
Грудь, вскормившую тебя!..

И грех и стыд вам, лже-поэты,
Клеветники Руси святой,
Что в день и в час сей роковой
Одни в разладе вы с толпой,
Ее любовью не согреты;
Что вас она не увлекла
Восторгом православной битвы,
Что нечестивая хула
Ответ ваш на ее молитвы!..

И грех и стыд, и горе вам,
Что смеет ваш язык коварный,
Ваш злобный стих высокопарный,
Шептать укор неблагодарный
Отчизны преданным сынам;
Что с вражьей зоркостью ока
Окинув Русь во все концы,
В ней лишь предлоги для упрека,
Добра в ней не нашли, слепцы!

Она же, наша Русь святая,
Вас не казнит, не проклянет, —
Но лихом вспомнит вас народ!
Из века в век, из рода в род
Пройдет молва о вас худая,
Позорным прозвищем клеймить
Вас будет верное преданье
И малым детям в поруганье
Век имя ваше будет жить!..

В поэтическом отношении все выписанные нами стихотворения могут быть названы одинаковыми. Но относительно содержания первая пьеса отличается от других тем, что в ней одна мысль кажется сомнительною: гр. Ростопчина, быть может, не совершенно близка к истинным понятиям о вещах, утверждая, что астрономы не смотрят на звезды.

< ИЗ № 11 «СОВРЕМЕННОГО» >

Стихотворения Н. Некрасова. Москва. 1856.

Читатели, конечно, не могут ожидать, чтобы «Современник» представил подробное суждение о «Стихотворениях» одного из своих редакторов.

Мы можем только перечислить здесь пьесы, вошедшие в состав изданной теперь книги. Вот их список:

«Поэт и гражданин», «В дороге», «Влас», «В деревне», «Огородник», «Извозчик», «Так, служба, сам ты в той войне», «На улице», «Вино», «Тройка», «Забывтая деревня», «Школьник», «Псовая охота», «Гадающей невесте», «Пьяница», «Нравственный человек», «Маша», «Секрет», «Княгиня», «Прекрасная партия», «В больнице», «Колыбельная песня», «Отрадно видеть, что находит», «Филантроп», «Современная ода», «Отрывок из путевых записок графа Гаранского», «Саша», «Муза», «Новый год», «Ты всегда хороша несравненно», «Памяти приятеля», «Перед дождем», «Тяжелый крест достался ей на долю», «Ах, были счастливые годы», «Блажен незлобивый поэт», «В неведомой глуши, в деревне полудикой», «Мы с тобой бестолковые люди», «Свадьба», «Воспоминание», «Письма», «14 июня 1854 года», «Петербургское утро», «Пускай мечтатели* осмеляны давно», «Самодовольных болтунов», «Чуть-чуть не говоря: ты сущая ничтожность», «За городом», «Безвестен я, я вами не стяжал», «Влюбленному», «Еду ли ночью по улице темной», «Я за то глубоко презираю себя», «Так это шутка», «Несжатая полоса», «Я посетил твоё кладбище», «Старые хоромы», «Да, наша жизнь текла мятежно», «Застенчивость», «Внимая ужасам войны», «Я сегодня так грустно настроен», «Когда из мрака заблужденья», «Старики», «На родине», «Буря», «Последняя элегия», «Давно отвергнутый тобою», «Если мучимый страстью мятежной», «Отрывок», «Сознание», «В черный день», «Я не люблю иронии твоей», «Т...ву», «Прости», «Как ты кротка, как ты послушна», «Замолкни, Муза мести и печали».

Читатели заметят, что многие из этих пьес не были еще напечатаны. Некоторые из бывших напечатанными являются ныне в виде более полном, нежели как были напечатаны прежде.

Из тех, которые не были напечатаны, мы приведем здесь пьесы: «Поэт и гражданин», «Забывтая деревня», «Отрывки из путевых записок графа Гаранского»¹.

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

Гражданин (входит)

Опять один, опять суров,
Лежит — и ничего не пишет.

Поэт

Прибавь: хандрит и еле дышит —
И будет мой портрет готов.

Гражданин

Хорош портрет! Ни благородства,
Ни красоты тут нет, поверь,
А просто пошлое юродство,
Лежать умеет дикий зверь...

Поэт

Так что же?

Гражданин

Да глядеть обидно.

Поэт

Ну так уйди.

Гражданин

Послушай: стыдно!
Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...

Поэт

Положим, я такая редкость,
Но нужно прежде дело дать.

Гражданин

Вот новость! Ты имеешь дело.
Ты только временно уснул,
Проснись: громи пороки смело...

Поэт

А! Знаю: «вишь куда метнул!»
Но я обстреленная птица...
Жаль, нет охоты говорить *(берет книгу)*
Спаситель Пушкин! — вот страница!
Прочти — и перестань корить.

Гражданин *(читает)*

«Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновения,
Для звуков сладких и молитв».

Поэт *(с восторгом)*

Неподражаемые звуки!..
Когда бы с Музою моей
Я был немного поумней,
Клянусь, пера бы не взял в руки!

Гражданин

Да, звуки чудные... Ура!
Так поразительна их сила,
Что даже сонная хандра
С души поэта соскочила.
Душевно радуюсь — пора!..
И я восторг твой разделяю,
Но, признаюсь, твои стихи
Живее к сердцу принимаю...

Поэт

Не говори же чепухи!..
Ты рьяный чтец, но критик дикий.
Так я, по-твоему — великий,
Повыше Пушкина поэт?
Скажи, пожалуйста?!

Гражданин

Ну, нет!

Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагородны и обидны,
Твой стих тягуч. Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны.
В ночи, которую теперь
Мир доживает боязливо,
Когда свободно рыскал зверь,
А человек бродил пугливо, —
Ты твердо светоч свой держал;
Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно.
Дрожащей искрою, впотьмах,
Он чуть горел, мигал, метался...
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!

Нет, ты не Пушкин. Но покуда
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Гроза молчит; с волной бездонной
В сиянии спорят небеса,
И ветер ласковый и сонной
Едва колеблет паруса, —
Корабль бежит красиво, стройно,
И сердце пугников спокойно,
Как будто вместо корабля
Под ними твердая земля...
Но гром ударил; буря стонет,
И снасти рвет и мачту клонит, —
Не время в шахматы играть,
Не время песни распевать!
Вот пес — и тот опасность знает
И бешено на ветер лает:
Ему другого дела нет...
А ты что делал бы поэт?
Ужель в каюте отдаленной
Ты стал бы лирой вдохновенной
Ленинцев уши улаживать
И грохот бури заглушать?

Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
Наперечет сердца благие,
Которым родина свята.
Бог-помощь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.
Одни — стяжатели и воры,
Другие — сладкие певцы,

А третьи... третьи — мудрецы:
Их назначенье — разговоры.
Свою особу ограждая,
Они бездействуют, твердя:
«Неисправимо наше племя,
Мы даром гибнуть не хотим,
Мы ждем: авось поможет время
И горды тем, что не вредим!»
Хитро скрывает ум надменной
Себялюбивые мечты,
Но... брат мой! кто бы ни был ты,
Не верь сей логике презренной!
Страшись их участь разделить,
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!..
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойной
К отчизне холоден душой —
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убеждение, за любовь,
Иди и гини безупречно —
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

А ты, поэт, избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что неимущий хлеба
Не стоит вещей струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди:
Не умер бог в душе людей,
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!
Будь гражданин! служи искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви;
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоём труде заблещут сами
Их животворные лучи.
Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
А из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень!..

Поэт

Ты кончил? чуть я не уснул.
Куда нам до таких воззрений!
Ты слишком далеко шагнул.
Учить других — потребен гений,
Потребна сильная душа,
А мы с своей душой ленивой,
Самолюбивой и пугливой,
Не стоим медного гроша.
Спеша известности добиться,

Боимся мы с дороги сбиться
И тропкой торною идем,
А если в сторону свернем —
Готовься хоть бежать со света!..
Куда жалка ты, роль поэта!
Блажен безмолвный гражданин:
Он, музам чуждый с колыбели,
Своих поступков господин,
Ведет их к благородной цели,
И труд его успешен, спор...

Гражданин

Не очень лестный приговор.
Но твой ли он? тобой ли сказан?
Ты мог бы правильной судить:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын. —
Ах, где же он? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантатор,
Кто гражданин страны родной?
Где ты? откликнись! Нет ответа.
И даже чужд душе поэта
Его могучий идеал!
Но если есть он между нами,
Какими плачет он слезами!..
Ему тяжелый жребий пал,
Но доли лучшей он не просит:
Он как свои на теле носит
Все язвы родины своей.

.
.
Гроза шумит и к бездне гонит
Надежды шаткую ладью,
Поэт клянет, или хоть стонет,
А гражданин молчит и клонит
Покорно голову свою;
Когда же... но молчу. Хоть мало,
И в наши дни судьба являла
Достойных граждан: знаешь ты
Их участь — прсклони колени!
Лентяй! смешны твои мечты
И легкомысленные пени;
В твоём сравнении смыслу нет.
Вот слово правды беспристрастной:
Блажен болтающий поэт
И жалок гражданин безгласной.

Поэт

Немудрено того добить,
Кого уж добивать не надо.
Ты прав: поэту легче жить —
В правдивом слове есть отрада.
Но был ли я причастен ей?
Ах, в годы юности моей
Печальной, бескорыстной, трудной,

Короче: очень безрассудной —
Куда ретив был мой Пегас!
Не розы — я вплетал крапиву
В его размашистую гриву
И гордо покидал Парнас;
Без отвращения, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни;
В суды, в больницы я входил.
Не повторю, что там я видел...
Клянусь, я честно ненавидел,
Клянусь, я искренно любил!
И что ж?.. мои послышав звуки,

.
.
.

Что было делать? Безрассудно
Винить людей, винить судьбу...
Когда б я видел хоть борьбу,
Бороться стал бы, как ни трудно,
Но... впрочем, главная беда:
Я молод, молод был тогда!
Лукаво жизнь вперед манила,
Как моря вольные струи,
И ласково любовь сулила
Мне блага лучшие свои —
Душа пугливо отступила...
Но сколько б ни было причин,
Я горькой правды не скрываю
И робко голову склоняю
При слове: честный гражданин.
Тот роковой, напрасный пламень
Доныне сожигает грудь,
И рад я, если кто-нибудь
В меня с презрением бросит камень.
Бедняк! и из чего пограл
Ты долг священный человека?
Какую подать с жизни взял,
Ты — сын больной большого века?..
Когда бы знали жизнь мою,
Мою любовь, мои волнения...
Угрюм и полон озлобления
У двери гроба я стою...

Ах! песнею моей прощальной
Та песня первая была!
Склонила Муза лик печальной
И, тихо зарывав, ушла.
С тех пор не часты были встречи:
Украдкой, бледная, придет
И шепчет пламенные речи
И песни гордые поет.
Зовет то в города, то в степи,
Заветным умыслом полна;
Но
И мигом скроется она.
Не вовсе я ее чуждался,
Но как боялся! как боялся!
Когда мой ближний утопал
В волнах существенного горя —

То гром небес, то ярость моря
Я добродушно воспевал.
Вичуя маленьких воришек
Для удовольствия больших,
Дивил я дерзостью мальчишек
И похвалой гордился их.
Под игом лет душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И Муза вовсе отвернулась,
Презренья горького полна.
Теперь напрасно к ней взываю —
Увы! сокрылась навсегда,
Как свет, я сам ее не знаю
И не узнаю никогда.
О, Муза! гостьею случайной
Являлась ты душе моей,
Иль песен дар необычайной
Судьба предназначала ей?
Увы! кто знает? рок суровый
Все скрыл в глубокой темноте.
Но шел один венок терновый
К твоей угрюмой красоте...

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

I

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку леса попросила;
Отвечал: нет лесу, и не жди — не будет!
«Вот приедет барин — барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу» — думает старушка.

II

Кто-то по соседству, лихонемец жадный,
У крестьян землицы косячек изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером —
«Вот приедет барин: будет землемерам!»
Думают крестьяне: «скажет барин слово —
И землю нашу отдадут нам снова!»

III

Полюбил Наташу хлебопашец вольный;
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. «Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!» говорит Наташа.
Малые, большие — дело чуть за спором —
«Вот приедет барин!» повторяют хором...

IV

Умерла Ненила; на чужой земле
У соседа-плута — урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты,

Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина все нету... барин все не едет!..

V

Наконец однажды среди дороги
Шестернею дугом показались дроги:
На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом — новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету — и уехал в Питер.

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК
ГРАФА ГАРАНСКОГО

(Перевод с французского: Trois mois dans la Patrie. Essais de Poésie et de Prose, suivis d'un Discours sur les moyens de parvenir au développement des forces morales de la Nation Russe et des richesses naturelles de cet État. Par un Russe; comte de Garansky. 8 vol. in—4°. Paris. 1836.)

Я путешествовал недурно: русский край
Оригинальности имеет отпечаток;
Не то, чтоб в деревнях трактиры были — рай,
Не то, чтоб в городах писцы не брали взятки, —
Природа нравится громадностью своей.
Такой громадности не встретите нигде вы:
Пространство широко раскинутых степей.
Лугами здесь зовут; начнутся ли посевы —
Не ждите им конца! Подобно островам
Зеленые леса и серые селенья
Пестрят ровнину их, и любо видеть вам
Картину сельского обычного движенья...
Подобно муравью трудолюбив мужик;
Ни грубости их рук, ни лицам загорелым
Я больше не дивлюсь: я видеть их привык
В работах полевых чуть не по суткам целым.
Не только мужики здесь преданы труду,
Но даже дети их, беременные бабы,
Все терпят общую, по их словам, «страду»,
И грустно видеть, как иные бледны, слабы!
Я думаю, земель избыток и лесов
Способствует к труду всегдашней их охоте;
Но должно б вразумлять корыстных мужиков,
Что изнурительно излишество в работе.
Не такова ли цель — в немецких сюртуках
Особенных фигур, бродящих между ними?
.....
..... Какие реки здесь!
Какие здесь леса! Пейзаж природы русской
Со временем собыет, я вам ручаюсь, спесь
С природы рейнской, не только что с французской!
Во Франции провел я молодость свою;
Пред ней, как говорят в стихах, все клонит вью,
Но все ж по совести и громко признаю,
Что я не ожидал найти такой Россию!

Природа не дурна: в том отдаю ей честь, —
Я славно ел и спал, подьячим не дал штрафа...
Да, средство странствовать и по России есть —
С французской кухнею и с русским титулом графа!
Но только худо то, что каждый здесь мужик
Дворянский гонор мой, спокойствие и совесть
Безбожно возмущал; одну и ту же повесть
Бормочет каждому лукавый их язык:
Помещик не живет, а немец-управитель
Непьющий человек, но

Ужели господа в России таковы?
Я к многим заехал: ниные, точно, грубы —
Муж ты своей жене, жена супругу вы,
.

Но есть премилые: прилично убран дом,
У дочерей рояль, а чаще фортепьяно,
Хозяин с Францией и с Англией знаком,
Хозяйка не заснет без модного романа;
Ну все как водится у развитых людей,
Которые глядят прилично на предметы
И вряд ли мужиков трактуют, как свиней...

Я также наблюдал — в окно моей кареты —
И быт крестьянина: он нищеты далек!
По собственным моим владеньям проезжая,
Созвал я мужиков; составили кружок
И гаркнули: «ура!» С балкона наблюдая,
Спросил: «довольны ли?..» кричат: «довольны всем!»
— И управителем? — «Довольны...» О работах
Я с ними говорил, поил их — и затем,
Бекаса подстрелив в наследственных бологах,
Поехал далее... Я мало с ними был,
Но видел, что мужик свободно ел и пил,
Плясал и песни пел; а немец-управитель
Казаля между них отец и покровитель...

Чего же им еще?.. А если, точно, есть
Любители
Которые, забыв гуманность, долг и честь,
Пятнают родину и русское дворянство —
Чего же медлишь ты, сатиры грозный бич?..
Я книги русские перебирал все лето:
Пустейшая мораль, напыщенная дичь —
И лучшие темны, как стертая монета!
Жаль, дремлет русский ум. А то чего б верней?
Правительство казнит открытого злодея,
Сатира действует и шире и смелей,
Как пуля находить виновного умея,
Сатире уж не раз обязана была
Европа (кажется, отчасти и Россия)
Услугой важною

<ИЗ № 12 «СОВРЕМЕННОГО»>

Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения.
С портретом А. С. Пушкина. СПб. 1856¹.

Детей обыкновенно хвалят, но хвалят более по привычке, по какой-то нежной лести, нежели по ясному убеждению в их доброте, уме и других хвалимых качествах. В самом деле, мы не всегда умеем ценить по достоинству, например, ум детей, — по крайней мере, мы вообще слишком мало доверяем ему, — мы или мучим его затверживанием сухих правил и мертвых слов, смысла которых не объясняем детям, «потому что они еще дети, не поймут они этого», или, когда хотим доставить им приятное чтение, болтаем с ними о таких вещах и таким языком, что умное дитя тотчас же заметит в наших словах притворное ребячество и будет подсмеиваться над этим неловким и скучным ребячеством. Мы думаем, что детский рассудок слаб, что детский ум непроницателен; о, нет, напротив, он только неопытен, но, поверьте, очень остер и проницателен. Ведь научается же двенадцатилетний мальчик понимать алгебраические отвлеченности, которые и взрослому не всякому объяснишь. Если детский ум в состоянии понять квадратные уравнения, бесконечные дроби, ньютонов бином, то можно ли сомневаться в том, что он поймет такие живые, объясняемые наглядными примерами понятия, как, например, поэзия, литература, поэт, и т. д.? Ведь согласитесь, что из нас, взрослых людей, найдется вдесятеро больше имеющих сносное понятие о поэзии, искусстве, нежели имеющих хотя какое-нибудь понятие о неполных квадратных уравнениях? Стало быть, первые понятия гораздо легче охватываются пониманием, нежели последние. Да, нужно только умеючи приняться за дело, и с детьми можно говорить и об истории, и о нравственных науках, и о литературе, так что они будут не только узнавать мертвые факты, но и понимать смысл, связь их. В этом отношении мы вообще недовольны книгами для детского чтения: они слишком — извините за выражение — оскорбляют детей недоверчивостью к их уму, отсутствием мысли, приторными сентенциями. К чему эта преднамеренная пустота, преднамеренное идиотство? Детям очень многое можно объяснить очень легко, лишь бы только объясняющий сам понимал ясно предмет, о котором взялся говорить с детьми, и умел говорить человеческим языком. С этой стороны, мы довольны книжкою, заглавие которой выписали. Надобно детям узнать, кто был Пушкин и что он писал. Да почему же надобно знать это? Потому, что он был великий поэт, — и книжка объясняет своим читателям, что такое просвещение, литература, поэзия, поэт, великий человек, и объясняет эти понятия в их настоящем смысле, нисколько не искажая их, и посмотрите, как доступно уму двенадцатилетнего ребенка это объяснение таких возвышенных предметов:

«Пушкин — великий поэт», говорит каждый из нас, и эти слова так важны, что надобно постараться как можно лучше вникнуть в смысл их и объяснить их: что такое значит «великий поэт»? почему великие поэты пользуются общим глубоким уважением? и почему Пушкина все считают великим поэтом?

Объяснив себе это, мы увидим, как необходимо каждому из нас ближе познакомиться с жизнью Пушкина и его сочинениями.

Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для человека. Без образования люди и грубы, и бедны, и несчастны. Чтобы убедиться в этом, стоит только припомнить рассказы путешественников о дикарях. Краснокожие индейцы жили и отчасти еще живут в тех же самых землях, которые заняты теперь Северо-Американскими Штатами: посмотрите же, какая разница между краснокожими, малочисленными, нуждающимися во всем необходимом для жизни, и многочисленными, богатыми, имеющими все в изобилии северо-американцами! И отчего вся эта разница? Только оттого, что северо-американцы — народ образованный, а краснокожие туземцы — дикари. Другой пример, более близкий к нам: Россия теперь государство могущественное и богатое, потому что русские, благодаря Петру Великому, стали народом образованным; а всего только пятьсот лет тому назад русские были угнетаемы и разоряемы татарами, потому что были еще мало образованы.

Но не довольно того, что просвещение приносит народу и благосостояние, и могущество: оно доставляет человеку такое душевное наслаждение, с которым ничто не может сравниться. Каждый образованный человек чувствует это и всегда скажет, что без образования жизнь его была бы очень скучна и жалка.

Теперь будет совершенно ясно, как важна для всеобщего блага литература, если мы скажем, что из всех средств для распространения образованности самое сильное — литература. Народ, у которого нет литературы, груб и невежествен; чем более усиливается и совершенствуется, или, как принято говорить, развивается литература, тем образованнее и лучше становится народ.

Образованным человеком называется тот, кто приобрел много знаний и, кроме того, привык быстро и верно соображать, что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо, или, как выражаются одним словом, привык «мыслить», и, наконец, у кого понятия и чувства получили благородное и возвышенное направление, то есть приобрели сильную любовь ко всему доброму и прекрасному. Все эти три качества — обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств — необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле слова. У кого мало познаний, тот невежда; у кого ум не привык мыслить, тот груб или тупоумен; у кого нет благородных чувств, тот человек дурной.

В детстве, в первую пору молодости, человек учится в школах; уроки наставников имеют ту цель, чтобы сделать юношу образованным человеком. Но когда он выходит из школы, перестает учиться, его образование поддерживается и совершенствуется чтением, то есть, вместо прежних наставников, которых слушал мальчик и юноша, взрослый человек имеет одну наставницу — литературу.

Чтоб исполнить, как должно, свою великую обязанность — быть руководительницею людей на пути образования, литература, как мы уже знаем, должна давать ему различные знания, развивать в нем привычку мыслить и поддерживать в нем любовь ко всему прекрасному и доброму. Каждая хорошая книга до некоторой степени исполняет все эти условия; но некоторые книги имеют главною своею целью сообщить уму читателя различные познания — это книги, принадлежащие к так называемой ученой литературе, например, сочинения по истории, по естественным наукам и пр.; другие книги пишутся с тем намерением, чтобы действовать главным образом на воображение и сердце читателя, возбуждая в нем сочувствие к доброму и прекрасному, — это книги, принадлежащие к так называемой изящной литературе.

Между полезными действиями, какие производят на читателя книги того и другого рода, есть очень много общего; особенно сходны все хорошие книги в том, что непременно возбуждают в читателе желание думать о том, что справедливо, прекрасно и полезно для людей. Сходны они между собою и в том, что хорошая ученая книга, действуя более всего на ум, действует также и на сердце; а произведения изящной литературы, преимущественно обращаясь к сердцу читателя, в то же самое время не остаются бесполезны и для его ума, которому сообщают верные понятия о человеческой жизни. Но, несмотря на это значительное сходство, изящная литература очень резко отличается от ученой. Одну сторону этого различия мы уже знаем: главная цель ученых сочинений, как мы сказали, та, чтобы сообщать точные сведения по какой-нибудь науке, а сущность произведений изящной словесности — в том, что они действуют на воображение и должны возбуждать в читателе благородные понятия и чувства. Другое различие состоит в том, что в ученых сочинениях излагаются события, происходившие на самом деле, и описываются предметы, также на самом деле существующие или существовавшие; а произведения изящной словесности описывают и рассказывают нам в живых примерах, как чувствуют и как поступают люди в различных обстоятельствах, и примеры эти большею частью создаются воображением самого писателя. Коротко можно выразить это различие в следующих словах: ученое сочинение рассказывает, что именно было или есть, а произведение изящной литературы рассказывает, как всегда или обыкновенно бывает на свете.

Довольно нам и этих двух замечаний, чтобы видеть, до какой степени изящная литература различна от ученой, хотя есть у них и много общего.

Можно теперь спросить: которая же из двух отраслей литературы важнее? которая больше приносит пользы людям? которая больше содействует распространению и усовершенствованию просвещения? На это образованный человек будет отвечать: обе они равно важны, равно полезны людям. Ученая литература спасает людей от невежества, а изящная — от грубости и пошлости; то и другое дело одинаково благотворно и необходимы для истинного просвещения и для счастья людей.

Теперь надобно только сказать, что хорошие писатели по части изящной литературы называются поэтами, и мы поймем, какой высокий смысл заключается в этом слове. Поэты — руководители людей к благородному понятию о жизни и к благородному образу чувств: читая их произведения, мы приучаемся отвращаться от всего пошлого и дурного, понимать очаровательность всего доброго и прекрасного, любить все благородное; читая их, мы сами делаемся лучше, добрее, благороднее*.

И если Пушкин, в самом деле, великий поэт, то нельзя не согласиться, что он один из тех людей, которые сделали наиболее добра своим соотечественникам, один из тех людей, которых каждый русский наиболее обязан уважать и любить.

Интересно предисловие этой книги, заключающее в себе мысль, очень оригинальную и, по нашему мнению, верную.

В настоящей книге взрослый читатель не найдет для себя ничего нового о Пушкине. Ее цель — служить для юношества началом знакомства с вели-

* Прежде называли поэтами только стихотворцев, а поэзией только одни стихи. Теперь поняли, что поэтическими произведениями должно называть все хорошие сочинения по части изящной литературы, все равно, стихами ли они писаны или прозою. Впрочем, до сих пор «поэтами» называют в особенности тех писателей, у которых особенно много или воображения, или задушевной теплоты; те произведения изящной словесности, в которых холодный рассудок преобладает над воображением и теплотою чувства, не принято называть «поэтическими». (Примечание автора.)

ким русским поэтом. С этой целью в ней рассказана а) жизнь поэта, по существующим ныне печатным материалам, при чем составитель отдавал предпочтение фактам, рельефно представляющим трудолюбивую, благородную и могучую личность Пушкина; б) представлен краткий очерк произведений Пушкина и в) помещено в «Приложении» несколько мелких стихотворений и отрывков из поэм Пушкина, выбранных, разумеется, согласно назначению книги.

Таким образом составленная книга о Пушкине, по нашему мнению, может служить полезным и занимательным чтением русского юношества как мужеского, так и женского полов.

Из всего вышесказанного видно, что издатель имел в виду детей. И, однако ж, книга не названа детскою. Это сделано не без намерения. Кто потрудится перенестись мыслию к собственному детству и отрочеству, тот, верно, вспомнит, как в то время хотелось ему казаться *большим* и как отталкивало его одно название *детский*. Нам случалось видеть детей, особенно в поре перехода к отрочеству, которые именно поэтому не читали хороших книг, тогда как с жадностью бросались на книги сомнительного достоинства, лишь бы на них не стояло: *для детей*.

Итак, мы думаем, что родители и наставники, которые, приобретя нашу книгу, вырвут из нее этот листок прежде, чем отдадут ее в руки своим питомцам, поступят весьма благоразумно: они придадут ей в глазах своих питомцев двойной интерес.

Портрет Пушкина, приложенный к книжке, гравирован на стали в Лондоне. Внешний вид книжки можно назвать изящным.

Для легкого чтения. Повести, рассказы, комедии, путешествия и стихотворения современных русских писателей. Том IV.
СПБ. 1855.

Успех «Легкого чтения» возрастает с изданием каждого нового тома, как и надобно было ожидать. Нет сомнения, что вышедший теперь четвертый том будет сильно содействовать дальнейшему увеличению успеха сборника, предпринятого г. Давыдовым; за то ручается выбор пьес, вошедших в состав этой части «Легкого чтения». В ней заключаются: «Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих», г. Даля; «Агарь», стихотворение г. Полонского; «Десять дней в Севастополе», г. Берга; шесть стихотворений графа А. Толстого; «Где тонко, там и рвется», комедия г. Тургенева; «Портретист», повесть г. Станицкого; «Бобыль», рассказ г. Григоровича; восемь стихотворений г. Щербины; «Зюльма», рассказ г. Ковалевского.

В пятом томе, который, вероятно, не заставит долго ждать себя, обещаны: два стихотворения Пушкина (не вошедшие в издания его сочинений); «Неудавшаяся жизнь», повесть г. Григоровича; «Помещик», рассказ г. Тургенева; «Идеалист», повесть г. Станкевича; «Признания труженика», стихотворение Н***; «Недосказанная фраза», рассказ г. П—ва; «Рыбная ловля», поэма г. Майкова; «Нянюшка», сцены г. Михайлова.

История России в рассказах для детей. Сочинение Александры Ишимовой. *Издание четвертое, исправленное и пополненное. Три части. СПб. 1856.*

Известность этой книги так велика, что отзыв о новом ее издании может состоять только из простого извещения: каждый из наших читателей, вероятно, когда-нибудь имел в руках «Историю России» г-жи Ишимовой: кто не помнит, как хорошо соответствует весь характер рассказа ее о событиях нашей родины эпиграфу книги, взятому из Жуковского:

О родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благославляя!

О золоте и серебре. Сочинение Н. Тарасенко-Отрешкова. *Часть первая. СПб. 1856.*

Г. Тарасенко-Отрешков (камер-юнкер двора его величества императора всероссийского, статский советник, член императорского вольного Экономического общества, Московского общества сельского хозяйства и общества Южной России, как означает он сам себя на заглавном листе книги) решился, по выражению Сумарокова, «своими трудами принести честь своему отечеству» пред лицом всей Европы, и потому издал в Париже на французском диалекте первую часть своего сочинения «О золоте и серебре, происхождении их и пр., и пр.» — заглавие книги так же длинно, как и обозначение ее автора. (См. «Совр[еменник]», № 7, библиография.) Это похвально. Не желая обидеть и своих соотечественников, не знающих по-французски, он издал теперь ту же самую первую часть по-русски. Это еще похвальнее. Но всего похвальнее было б, если б он первую часть напечатал только по-французски, а вторую — только по-русски. Тогда, без всякого сомнения, все русские, восхищенные второю частью, выучились бы по-французски, чтобы прочитать первую, а все французы, очарованные первой частью, выучились бы по-русски, чтобы прочитать вторую.